ДАРВИНИЗМ
и
МАРКСИЗМ

СБОРНИК СТАТЕЙ

ЭНГЕЛЬСА, ВОЛЬТМАНА, УНТЕРМАНА, КАУТСКОГО, ФЕРРИ, ЛОРИА, ПАНЕКУКА, ЭВЕЛИНГА, ТИМИРЯЗЕВА, ДИНЕ-ДЕНЕСА, ГЕРКНЕРА, БЮХНЕРА, ДИЦГЕНА

ПОД РЕДАКЦИЕЙ И С ПРЕДИСЛОВИЕМ
М. РАВИЧ-ЧЕРКАССКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ
ХАРЬКОВ — 1923

ДАРВИНИЗМ
и МАРКСИЗМ.

СБОРНИК СТАТЕЙ

под редакцией М. РАВИЧА-ЧЕРКАССКОГО

ЭНГЕЛЬСА, ВОЛЬТМАНА, УНТЕРМАНА, КАУТСКОГО, ФЕРРИ, ЛОРИА, ПАНЕККУКА, ЭВЕЛИНГА, ТИМИРЯЗЕВА, ДИНЕ-ДЕНЕСА, ГЕРКНЕРА, БЮХНЕРА и ДИТЦГЕНА.

С портретами: Ч. Дарвина, К. Маркса и Ф. Энгельса.

Государственное Издательство Украины.
Харьков—1923.

Р. Ц. № 192. Гор. Симферополь.

1-я Государственная типо-литография «Крымполиграфтреста».
Зак. № 2450. (10.000 экз.).

ПРЕДИСЛОВИЕ.

За последнее время обнаружился, наряду с сильной тягой к книге вообще, огромный интерес к марксистской литературе, при чем не все вопросы марксизма пользуются одинаковым успехом.

Пройденный нами за последние пять лет путь, а особенно последний этап этого пути, известный под названием новейшей экономической политики, прекращение гражданской войны внутри Советских Республик—дают возможность оглянуться назад, критически проверить проделанную революцией работу, изучить причины великих побед и временных неудач.

Сейчас брошюры или книги, трактующие означенные вопросы поверхностно, никем не читаются. Выросшая за время революции пролетарская интеллигенция ищет „корней“, изучает „основы“, и чем толще книга, чем глубже и серьезнее ее содержание, тем упорнее и основательнее ее штудируют в коммунистических университетах, курсах политической грамоты, марксистских кружках, группами и в одиночку.

Мы уже отметили, что не все вопросы, связанные с марксизмом, изучаются одинаково усердно. Мы не ошибемся, если скажем, что первое место среди этих вопросов как по количеству выпускаемых книг, так и по интересу, проявляемому читателем, занимает исторический материализм.

Достаточно только перечислить названия тех книг, которые выпущены за последнее время по этому вопросу, чтобы понять, как марксизм в его философской основе углубляется, упрочиваясь в умах нашей интеллигенции. Такие прекрасные книги по историческому материализму, как Горева, Гортера, Моринга или Покровского, в достаточной степени заполнили, насытили потребность, но они уже больше не удовлетворяют читателя с серьезными запросами. Наряду с ними в самый короткий период выпущены „Теория исторического материализма“ Бухарина, „Введение в философию“ Деборина, „Исторический материализм“ Лабриола, „Исторический материализм“ (киевский сборник), „Исторический материализм“ (сборник статей под редакцией Семковского), его же „Марксистская хрестоматия“, книжки Сарабьянова, Тюменева и др.

Кроме перечисленных книг, выходит специальный журнал, посвященный вопросам философского обоснования марксизма,— „Под знаменем марксизма“.

Все эти книги печатаются в десятках тысяч экземпляров, перепечатываются вторыми изданиями в Центре и, независимо от этого, в провинции и расходятся с невероятной быстротой. Вокруг наиболее оригинальных и интересных из этих трудов кипят затяжные дискуссии как в прессе, так и в читательской среде.

Но, как это ни странно, во всех этих огромной ценности трудах о марксизме, об историческом материализме—или совершенно обходится вопрос о связи марксистской теории общественного развития с вопросами новейшего естествознания, или он упоминается вскользь.

А, между тем, едва-ли можно считать изучение марксизма не только законченным, но и вообще серьезным и достаточно глубоким, если не постичь хотя-бы элементарно-исторической и философской связи марксизма с дарвинизмом и последнего с гегельянством, если не осмыслить тех великих явлений, которые находят свое разрешение только в области естествознания.

Трудно себе представить человека, стоящего на высоте современной даже буржуазной культуры, с твердым, последовательным миросозерцанием без знакомства если не с естественными науками в их содержании, то, по крайней мере, с их выводами.

Буржуазия в свое время призывала естествознание на помощь в ее борьбе против феодализма и его служанки—церкви.

Отсюда та бешеная ненависть, которую питали и теперь питают служители церкви к дарвинизму.

Капиталистическая буржуазия, победив феодальную и духовную реакцию, столкнулась лицом к лицу с мощной силой, пролетариатом, об‘единенным в могучие организации, вооруженным всеми достижениями науки как в области обществоведения, так и в области естествознания.

Для борьбы с естественно-научным мировоззрением буржуазия выдвигает разнообразные метафизические теории, пускает мистическую пыль в глаза пролетариата и современной интеллигенции, освобождающихся постепенно из-под гнета церкви и верований в сверх‘естественные силы.

Тем крепче за выводы естественных наук должны ухватиться пролетариат и новые слои интеллигенции. Мы должны использовать оружие борьбы буржуазии против феодальной реакции для борьбы с буржуазией, ее философией, ее мистикой, ее идеологией во всех областях знания.

В то же время мы должны усвоить ту глубочайшую связь, какая существует между научными социализмом и естествознанием и заключается в единстве марксистского и естественнонаучного миросозерцания.

Перед нами два ярких документа, доказывающих, что те пробелы, на которые мы указываем в начале нашего предисловия, начинают чувствоваться. Первый документ—письмо тов. Троцкого в № 1 журнала „Под знаменем марксизма“. В этом письме тов. Троцкий пишет: „Зависимость сознания от классовых интересов и отношений этих последних от хозяйственной организации ярче, открытее, грубее всего проявляется в революционную эпоху. На ее незаменимом опыте мы должны помочь рабочей молодежи закрепить в своем сознании основы марксистского метода. Но этого мало. Само человеческое общество уходит и своими историческими корнями и своим сегодняшним хозяйством в естественно-исторический мир. Надо видеть в нынешнем человеке звено всего развития, которое начинается с первой органической клеточки, вышедшей, в свою очередь, из лаборатории природы, где действуют физические и химические свойства материи. Кто научился таким ясным оком оглядываться на прошлое всего мира, включая сюда человеческое общество, животное и растительное царство, солнечную систему и бесконечные системы вокруг нее, тот не станет в ветхих „священных“ книгах, в этих философских сказках первобытного ребячества, искать ключей к познанию тайн мироздания“....

Второй документ—ст. т. Ленина в № 2—3 того же журнала „О значении воинствующего материализма“. Вот что пишет тов. Ленин: „Кроме союза с последовательными материалистами, которые не принадлежат к партии коммунистов, не менее, если не более важен для той работы, которую воинствующий материализм должен проделать, союз с представителями современного естествознания, которые склоняются к материализму и не боятся отстаивать и проповедывать его против господствующих в, так называемом, „образованном обществе“ модных философских шатаний в сторону идеализма и скептицизма“.

Мы считаем, что эти указания двух величайших вождей коммунистического движения не случайно совпадают во времени и должны стать для нас руководящими.

К сожалению, однако, нам не удалось сделать всего того, что мы хотели бы. Доступ к источникам западно-европейской литературы по нашей теме до сих пор закрыт, и поэтому в сборнике отсутствуют очень важные статьи авторитетных ученых и исследователей.

Все же нам удалось подобрать довольно солидную коллекцию работ по интересующему нас вопросу, при чем огромное большинство статей написано столь же убежденными марксистами, сколько и дарвинистами.

Статья *Энгельса* „О дарвинизме“ представляет собой три отрывка из его работ: „Анти-Дюринг“, „От утопии к науке“ и „Людвиг Фейербах“.

Две статьи *Вольтмана* взяты из его труда „Исторический материализм“. Есть на русском языке исчерпывающая вопрос работа Л. Вольтмана „Теория Дарвина и социализм“. К ней мы отсылаем читателя, желающего обстоятельно ознакомиться с различными течениями в дарвинизме.

Две статьи *Унтермана* взяты из его „Диалектических этюдов“.

Статья *Каутского* взята и несколько переработана из книги „Этика и материалистическое понимание истории“.

Статья *Энрико Ферри* скомбинирована из нескольких глав его работы „Коллективизм и положительная наука“.

Статья *Дитцгена* взята из сборника его статей под названием „Философия социал-демократии“.

Статья *Панеккука*, насколько нам известно, впервые появляется на русском языке в нашем сильно сокращенном и несколько свободном переводе.

Статья *Дине-Денеса*, о которой дает прекрасный отзыв т. Ленин в своем труде „Материализм и эмпириокритицизм“, рассматривает не только дарвинизм, но и состояние всего естествознания в целом его отношения к марксизму.

Статья *Лориа* представляет собой часть книжки его под названием „Социализм“. Лориа, конечно, не марксист в том смысле, что он сам никогда не считал себя учеником или последователем Маркса. Совершенно неосновательно Рубакин свалил его в кучу

ревизионистов рядом с Вольтманом, Давидом и др. Ахилл Лориа, подобно Марксу и Энгельсу, считает историю борьбой классов. Он даже присваивает себе первенство открытия материалистического понимания истории. Энгельс, не отрицая правильности его теории в целом, нападает на Лориа за его ошибки в исторических суждениях и за то, что он „низвел теорию Маркса на уровень филистерства".

Статья *Геркнера*—одна глава, сильно сокращенная из его большой работы „Рабочий труд в Западной Европе". Геркнер, хотя и не марксист, но под предлагаемой нами его статьей может подписаться любой марксист. Он резко опровергает попытки применения к общественным классам методов социальной антропологии и теории черной и белой кости.

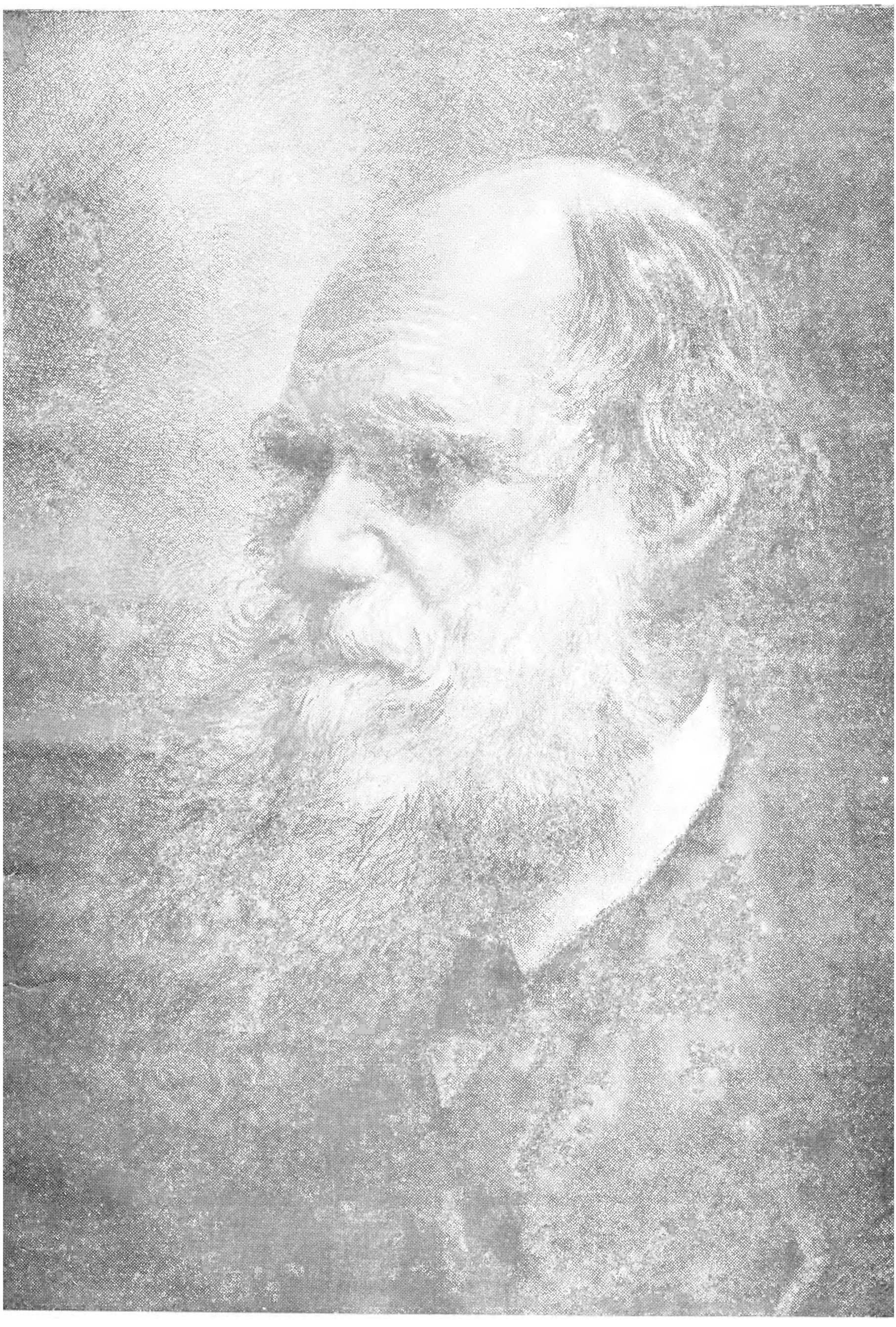
Если говорить о филистерской голове, о тупости патентованного ученого из среды официальных социал-реформаторов и немецкой профессуры, то это применимо, как ни к кому другому, к автору статьи „Дарвинизм и социализм", *Людвигу Бюхнеру*. Именно, как продукт официального академического творчества, статья эта, хотя и устаревшая, имеет значение. „Опровергая" марксизм, Бюхнер примиряет дарвинизм с собственным, одному ему принадлежащим секретом „спасения человечества".

Статью *Вал. Рожицына* мы намеренно поместили самой последней, хотя это противоречит общему плану расположения статей в сборнике: статьи марксистов и не-марксистов выделить в отдельные группы. Последние четыре статьи принадлежат авторам, в равной степени чуждым марксизму. Статья *Вал. Рожицына*, несмотря на ее марксистскую выдержанность, в виду ее как бы итогового содержания, помещается там, где обычно занимает в сборниках место, так называемое, послесловие.

Я смотрю на свою работу, как на скромное начало, которое послужит побуждением для создания чего-нибудь большего, более разработанного для широких слоев рабочей интеллигенции.

В разработке и систематизации материалов мне оказали существенную помощь В. В. и Е. В. Френкель, что считаю долгом здесь отметить.

М. Равич-Черкасский.



Чарльз Дарвин.

Энгельс Фридрих.

О дарвинизме.

Из своих научных путешествий Дарвин вывел взгляд, что виды животных и растений меняются, а не представляют собой нечто постоянное, неизменное. На основании своих опытов Дарвин нашел, что разведение животных и растений одного и того же вида искусственно вызывает различия значительнее тех, которые встречаются у видов, вообще, признанных разными. Таким образом, с одной стороны, была в известной степени доказана изменчивость видов, а с другой—возможность общих предков у разновидных организмов. Затем Дарвин исследовал, нет ли в природе таких причин, которые без сознательного намерения заводчика должны бы с течением времени вызвать в живых организмах подобные же изменения, какие вызывает искусственный подбор. Причины эти он нашел в непропорциональности, существующей между колоссальным количеством созданных природой зародышей и ничтожным числом действительно достигающих зрелости организмов. Но так как каждый зародыш стремится к развитию, то по необходимости возникает борьба за существование; борьба эта ведется не только в виде непосредственного физического преодоления или с'едания, но также в виде борьбы за место и за свет и ведется также у растений. И очевидно, что в этой борьбе имеют наибольше шансов достичь зрелости и расплодиться те индивиды, которые обладают какою-либо, хотя бы очень ничтожной, но дающей им в борьбе известное преимущество, индивидуальной особенностью. Эти индивидуальные особенности имеют поэтому своей тенденцией наследственно переходить от поколения к поколению и, повторившись в ряде индивидуумов одного и того же вида, усиливаются в одном направлении; между тем, как необладающие такой особенностью индивиды легче гибнут в борьбе за существование и постепенно исчезают. Так, постепенно изменяется вид в силу естественного подбора, при котором выживают наиболее приспособленные.

Дарвин утверждает, что его теория борьбы за существование —это теория народонаселения политико-экономa Мальтуса, примененная ко всему животному и растительному миру. Как ни велик промах, сделанный Дарвиным, так неосмотрительно применявшим учение Мальтуса, однако, каждому с первого взгляда ясно,

что вовсе не нужно смотреть через Мальтусовские очки, чтобы увидеть в природе борьбу за существование, увидеть разительное противоречие между бесчисленной массой зародышей, столь расточительно создаваемых природой, и ничтожным числом тех из них, которые, вообще, могут созреть, противоречие, которое на самом деле в большинстве случаев разрешается борьбой за существование, при том борьбой подчас весьма ожесточенной. Подобно тому, как закон заработной платы остался в силе, пережив давно забытые аргументы Мальтуса, на которые опирался Рикардо, так и борьба за существование может происходить в природе, не считаясь с мальтузианской интерпретацией. Кроме того, и организмы в природе имеют также свои „законы народонаселения“, законы эти еще почти совершенно не исследованы, но выяснение их будет иметь решающее значение для теории развития видов. А кто дал решительный толчек исследованиям в этом направлении. Не кто, как Дарвин.

Дарвин, говоря о естественном подборе, не останавливается на причинах, вызвавших изменения в отдельных индивидуумах, и толкует, прежде всего, о том, как подобные индивидуальные отклонения мало-помалу сделались отличительными признаками роста, рода или вида. Для Дарвина в данном случае идет речь не столько об отрицании этих причин, которые отчасти совершенно неизвестны, отчасти же известны лишь в самых общих чертах, сколько о рациональной форме, в которую выливаются их действия, получают постоянное значение. То обстоятельство, что Дарвин приписал своему открытию чрезмерно обширное поле действия, сделал его исключительным, единственным рычагом изменения видов и пренебрег причинами повторных индивидуальных модификаций из-за общевидовой формы, представляет, конечно, недостаток, который Дарвин разделяет с большинством тех, кто создает действительный прогресс. При том, если Дарвин выводит свои индивидуальные изменения из ничего, применяя для этого исключительно лишь „мудрость заводчика“ (полемическое выражение Дюринга, М. Р.), то отсюда следует, что и заводчик должен создавать свои изменения форм животных и растений также *из ничего*. Кто же дал толчек к исследованию вопроса, откуда, собственно, берутся эти изменения и диференцирования. Опять-таки не кто иной, как Дарвин.

В последнее время, в особенности благодаря работам Эрнста Геккеля, понятие естественного подбора расширено и изменение видов об'ясняется, как результат взаимодействия, приспособления

и наследственности, при чем приспособление выставляется изменяющей, а наследственность сохраняющей стороной процесса.

Ни Дарвин, ни его сторонники среди естествоиспытателей не думают сколько-нибудь умалять крупные заслуги Ламарка: именно они первые восстановили его значение; но мы не должны забывать, что во времена Ламарка наука еще далеко не располагала необходимым материалом, чтобы суметь ответить на вопрос о происхождении видов иначе, как только антиципически, так сказать, пророчески. Между тем, с тех пор не только накопился огромный материал из области морфологии, как и анатомии, ботаники, зоологии, но и возникли две совершенно новые науки, не существовавшие во времена Ламарка и имеющие в данном вопросе решающее значение. Исследования развития растительных и животных зародышей положили начало науке эмбриологии, а исследования сохранившихся в различных слоях земной поверхности органических остатков повели к основанию другой новой науки—палеонтологии. Оказывается, что существует своеобразное соответствие между постепенным развитием органических зародышей в зрелые организмы и между последовательным рядом следующих друг за другом в истории земли растений и животных. И именно это соответствие послужило вернейшим основанием для теории развития. Но сама теория эта еще очень молода; поэтому, несомненно, что дальнейшие исследования в этой области внесут еще весьма значительные модификации в нынешние даже строго дарвинистические представления о ходе развития видов.

(„Анти-Дюринг").

Старый метод исследования и мышления, который Гегель называет „метафизическим", занимался преимущественно *вещами*, как данными, неизмененными состояниями; этот метод, пережитки которого и до сих пор сильны в умах людей, для своего времени имеет историческое оправдание. Прежде, чем приняться за исследование процесса, надо было исследовать отдельные предметы. Надо было прежде узнать, что такое данный предмет, и только потом рассматривать происходящие в нем изменения. Естественные науки прошли именно этот путь. Старая метафизика, рассматривавшая вещи, как данные, вечные, возникла из естествознания, которое изучало всю природу и живую и мертвую, как вечную, неизменную. Когда же изучение отдельных вещей сделало возможным решительный прогресс, переход к систематическому исследованию перемен, происходящих в природе с отдельными вещами, тогда и в области философии пробил смертный час старой

метафизики И, действительно, естествознание до конца прошлого столетия было преимущественно *собирательной* наукой, наукой о неизменных вещах; в нашем же столетии оно является наукой, приводящей *в порядок* все добытое наукой о процессах, о возникновении и развитии этих вещей и о связи, соединяющей процессы природы в одно великое целое. Физиология, исследующая явления животного и растительного организма, эмбриология, изучающая процесс развития организма от зародыша до зрелого состояния, геология, занимающаяся исследованием постепенного образования поверхности земного шара,—все они дети нашего века.

Значительнее всего три следующие великие открытия, благодаря которым наше знание общей связи явлений природы сделало гигантские шаги. Первое—открытие клеточки, этой основной единицы, благодаря размножению и диференцированию которой развиваются все животные и растительные организмы; таким образом, с одной стороны, было доказано, что развитие и рост всех высших организмов следует этому всеобщему закону, а, с другой стороны, в способности клеточки к изменению был указан путь, по которому не только совершается индивидуальное развитие организмов, но и их видовые изменения. Второе—открытие закона о превращении энергии, доказавшее нам, что все действующие и, прежде всего, в неорганической природе, так называемые, силы—механическая сила и ее дополнения, так называемая, потенциальная энергия, теплота, лучеиспускание (свет или лучистая теплота), электричество, магнетизм, химическая энергия—все они суть только различные формы проявления всемирного движения, которые в известных соотношениях переходят одна в другую, при чем на место известного количества одной, исчезающей, появляется определенное количество другой; таким образом, все движение в природе сводится к беспрерывному процессу превращения одной формы в другую. Наконец, третье открытие сделано Дарвином; он впервые систематически доказал, что постоянно окружающие нас органические продукты, включая и человека, являются продуктами долгого процесса развития немногих одноклеточных зародышей, которые, в свою очередь, возникли из образовавшейся химическим путем протоплазмы или белка.

Благодаря трем этим великим открытиям и общему прогрессу естественных наук, мы получили возможность понять взаимную связь явлений природы не только в отдельной какой-либо области, но и ту связь, которая об'единяет отдельные области между собой. Таким образом, с помощью данных, доставленных эмпири-

ческим естествознанием, мы можем дать ясную картину общей связи явлений природы в довольно систематической форме. Такие картины мира прежде рисовались, так называемой, натур-философией. Но она заменяла известную ей еще действительную связь явлений фантастической, воображаемой; недостаток фактов она возмещала помышлениями своей фантазии, словом—пополняла пробелы в действительных знаниях воображением. При этом было высказано много гениальных мыслей, было предугадано много позднейших открытий, но и много нелепостей появилось на свет; впрочем, иначе и быть не могло. Но теперь достаточно посмотреть на результаты изучения природы диалектически, т. е. в смысле их собственной внутренней связи, чтобы получить удовлетворительную для настоящего времени „систему природы“. Теперь диалектический дух, даже против воли, навязывается естествоиспытателям, прошедшим метафизическую школу, а, вместе с тем, натур-философия окончательна устранена. Теперь всякая попытка возродить ее была бы не только излишня, она была бы регрессом, шагом назад.

То, что можно было сказать о природе, которую мы теперь познали, как процесс исторического развития, можно сказать также и об истории общества, во всех ее разветвлениях, а равно и о всей совокупности наук, занимающихся человеческими и божескими предметами. И в этой области философия истории, права, религии и т. д. состояла в том, что на место действительной связи явлений, которую можно выяснить путем фактического анализа, подставлялась связь, измышленная самими философами. История как в целом, так и в отдельных ее отраслях понималась, как постепенное проявление идей, и, конечно, всякий философ указывал при этом на излюбленную им идею. История, согласно такому представлению, бессознательно, но с необходимостью идет к некоторой идеальной, заранее намеченной цели. Так, например, Гегель приписывал истории осуществление его „абсолютной идеи“; по его мнению, постоянное стремление к ней составляет внутреннюю связь исторических явлений. Место действительной, еще неизвестной связи явлений заняло новое, бессознательное или постепенно приходящее к сознанию мистическое предвидение. В этой области предстояло сделать то же, что и в области понимания явлений внешней природы,—устранить искусственно созданную связь явлений и найти действительную. Эта задача в конце-концов должна была привести к открытию всеобщих законов движения, господствующих в истории человеческого общества.

(„Людвиг Фейербах“).

Природа есть пробный камень диалектики, и современное естествознание, представившее для этой пробы чрезвычайно богатый, с каждым днем увеличивающийся материал, тем самым доказало, что в природе, в конце-концов, все совершается диалектически, а не метафизически, что она движется не в вечно однородном, постоянно сызнова повторяющемся круге, а переживает действительную историю. Здесь, прежде всего, следует указать на Дарвина, который нанес сильнейший удар метафизическому взгляду на природу, доказав, что весь современный органический мир, растения и животные, а, следовательно, также и человек, суть продукты процесса развития, длившегося миллионы лет. Но так как и до сих пор можно по пальцам перечесть естествоиспытателей, научившихся мыслить диалектически, то это противоречие добытых научных результатов с вышеизложенным метафизическим способом мышления вполне об'ясняет ту безграничную путаницу, которая господствует теперь в теоретическом естествознании и одинаково приводит в отчаяние как учеников, так и учителей, как писателей, так и читателей.

(„Развитие социализма от утопии к науке“).

Отношение Энгельса к дарвинизму.

В своих воспоминаниях Либкнехт рассказывает, что Маркс один из первых понял значение исследований Дарвина и связь их с собственными своими исследованиями. В анализе первого тома „Капитала“ я указал биологические, естественно-научные основания, на которых построены экономически-исторические учения Маркса. Хотя Маркс самым способом изложения указал на близкое родство своего собственного и Дарвинова метода, но сам он не высказался об этот в систематически-философском смысле. Это было предоставлено Энгельсу.

У могилы Маркса (17-го марта 1883-го года) Энгельс в своей надгробной речи высказал следующие достопамятные мысли: „*Как Дарвин открыл закон развития органической природы, так Маркс открыл закон развития человеческой истории.* Вот простой факт, скрытый до сих пор под идеологическими оболочками: люди *прежде всего должны есть, пить, иметь жилище и одеваться*,—прежде, чем они смогут заниматься политикой, наукой, искусством, религией и т. д.; следовательно, производство непосредственных материальных средств существования, стало-быть, каждая стадия экономического развития данного народа или данной эпохи составляют основание, из которого развились государственные учреждения, правовые воззрения, искусство и даже религиозные представления людей этой эпохи, из которого они должны поэтому быть об‘ясняемы, а не наоборот, как делалось до сих пор!“

В этой формулировке поражает то, что на первый план выдвигается *экономическая потребность* в общечеловеческом смысле *физиологической* потребности еды, питья и т. д., а также то, что производство средств существования для удовлетворения этих потребностей составляет основание интеллектуального развития. Здесь не упоминаются классовые интересы и классовая борьба, в других формулировках стоящие на первом плане.

В примечании ко второму предисловию „Коммунистического Манифеста“ от 1883-го года, вскоре после смерти Маркса, высказывается подобная же мысль: теория Маркса, по мнению Энгельса, призвана обеспечить *исторической науке* такой же успех, какой теория Дарвина обеспечила *естествознанию.*

Связь дарвинизма и марксизма, биологического и экономического материализма, Энгельс исследовал подробнее в посмертной отрывочной статье, носящей характерное название: „Участие труда в очеловечении обезьяны“ (Der entheil der Arbeit an der Menschverdung des Affen); издатель этой статьи относит время ее появления к началу 80-х годов.

Вспомним, что в анализе процесса труда Маркс стоит на совершенно биолого-генетической точке зрения, так как выводит труд из инстинктивно-побудительной деятельности животных, из функций организма, и видит деятельность с помощью орудий уже предсуществующей у „некоторых видов животных“. Энгельс обсуждает эту же проблему, но он старается глубже, до корней, проникнуть в нее, указывая, что „труд (который вместе с природой является источником всего богатства) сам создал людей из каких-то животных“. Вследствие изменения образа жизни, поколение человеко-подобных обезьян, отличающихся особенно высоким развитием, приблизительное описание которого дал нам Дарвин, было вынуждено на продолжительное время принимать прямостоячее положение, что дало свободу руке и приспособило ее к труду. Высокое развитие человеческой руки возникло, благодаря труду целых тысячелетий. „Рука ни одной обезьяны никогда не приготовила даже самого грубого каменного ножа“.—„Таким образом, рука не только орган труда, но и продукт его. Только благодаря труду, благодаря приспособлению к все новым отправлениям, благодаря унаследованию приобретенного таким образом развития мускулов, связок и, в более долгие промежутки времени, костей, а также благодаря постоянно возобновляющемуся применению этого унаследованного улучшения к новым, все более сложным отправлениям,—только, благодаря всему этому, рука человека достигла того совершенства, при наличности которого она могла создать картины Рафаэля, статуи Торвальдсена, музыку Паганини“. Вместе с трудом начинается господство над природой. Речь возникла из труда и вместе с ним. *Труд, речь и общество*—вот основание всего человеческого развития. „Благодаря тому, что рука, орган речи и мозг оказывают содействие не только отдельной особи, но и всему обществу, люди стали способны совершать все более сложные отправления, ставить все более высокие цели и достигать их. Сам труд от поколения к поколению становился другим, более совершенным, более многосторонним. К охоте и скотоводству присоединилась обработка земли, к последней прядение и ткачество, обработка металлов, гончарное искусство, судоходство. Вместе с торговлей и промыслами появились, наконец, ис-

кусство и наука, а племена превратились в нации и государства. Развились право и политика, а вместе с ними *фантастическое отражение человеческих вещей в человеческой голове: религия.* Перед всеми этими результатами, которые представляются, прежде всего, как продукты головы, и, повидимому, господствуют над человеческими обществами, более скромные произведения работающей руки отступили на задний план,—тем более, что уже на очень ранней стадии общественного развития (например, уже в простой семье) руководящая трудом голова могла заставить другие, а не свои руки, выполнять этот управляемый ею труд. Голове, развитию и деятельности мозга была приписана вся заслуга быстрого прогресса цивилизации; люди привыкли поэтому *об'яснять свои действия из своего мышления, вместо того, чтобы об'яснять их из своих потребностей* (которые, конечно, отражаются в голове, доходят до сознания). Таким-то образом возникло современем то *идеалистическое миросозерцание,* которое господствует в особенности со времени гибели античного мира. Оно господствует тем более, что даже материалистические естествоиспытатели дарвиновской школы не могли еще составить себе ясного представления о происхождении человека, так как, находясь под тем же идеологическим влиянием, они не признают роли, которую играл при этом *труд.*

Эти положения важны постольку, поскольку развитие духовной жизни сводится к естественному общественному разделению труда между головной и ручной работой. На общественном дифференцировании *мышления* и *деятельности* основывается затем философское различие идеалистического и материалистического миросозерцания. Уже на первоначальных стадиях общества признается высокая заслуга за умственным трудом и с последним связывается момент господства. Таким образом, открыт новый промежуточный член между экономией и идеологией. Но цитируемая статья ясно показывает, насколько родственна *материалистическая диалектика учению о естественном развитии* и как она все более приближается к нему.

Уже в „Анти-Дюринге" (1877) Энгельс признал с незначительными оговорками учение Дарвина о развитии и защищал его от необоснованных нападок Дюринга; он указывал на тот колоссальный расцвет, которым естествознание обязано толчку со стороны дарвиновой теории. Точно также в „Людвиге Фейербахе" Энгельс связывает составляющее эпоху учение Дарвина со всем современным естествознанием, а методологическое совпадение его теории—с диалектическим материализмом.

Тимирязев К.

Ч. Дарвин и К. Маркс.

В 1859 году появилось „Происхождение видов“ Дарвина и „Zur Kritik der Politischen Oekonomie“ Маркса. Это не простое только хронологическое совпадение; между этими двумя произведениями, относящимися к столь отдаленным одна от другой областям человеческой мысли, можно найти сходственные черты, оправдывающие их сопоставление, хотя бы в форме этого краткого очерка. Как заключительная страница книги Дарвина, так и замечательная, блестящая пятая страница предисловия книги Маркса представляют поразительные по своей ясности и лаконичности итоги основного хода их идей. Как первая книга была завершением более, чем двадцатилетней деятельности Дарвина, так и вторая была, по собственному признанию Маркса, „путеводной нитью“ для последовавшей более, чем двадцатилетней его деятельности, прерванной только его смертью еще в полном расцвете его умственных сил. Остановимся на беглой параллели этих двух произведений, которые оставили глубокий след в истории девятнадцатого и начинающегося двадцатого века,—конечно, оставят его и в последующих веках.

О Дарвине говорили, что он—„величайший революционер в современной науке, или, вернее, в науке всех времен“ (Уотсон), что „отрадно было видеть, как из затишья своей скромной рабочей комнаты в Дауне он приводил умы всех мыслящих людей в такое движение, которому едва ли найдется второй пример в истории“ (Рейлей). О том революционном движении, которое, исходя из убогой каморки в Дин-Стрите (в Лондоне), охватило не только „сознание“, но и „бытие“ всего человечества, излишне распространяться в переживаемый момент, какого еще, несомненно, не знала история.

В чем же заключалась общая сходственная черта этих двух революций, одновременно появившихся в 1859 году? Прежде всего в том, чтобы всю совокупность явлений, касающихся в первом случае всего органического мира, а вовтором—социальной жизни человека и которые теология и метафизика считали своим исключительным уделом, из'ять из их ведения и найти для всех этих явлений об'яснение, заключающееся „в их материальных усло-

виях, констатируемых с точностью естественных наук" (Zur Kritik der Politischen Oekonomie).

Как Дарвин, усомнившись в пригодности библейского учения о сотворении органических форм, к которому так или иначе прилаживалась теологически или метафизически настроенная современная ему наука, нашел действительное об'яснение для происхождения этих форм в „материальных условиях" их возникновения, так и Маркс, как он сам пояснил, усомнившись в человеческой метафизической „философии права", пришел к послужившему ему „путеводной нитью" во всей его последующей деятельности выводу, что правоотношения и формы государственности об'яснимы ни сами из себя, ни из, так называемого, человеческого духа, а берут основание из „материальных условий жизни". Оба учения отмечены общей чертой искания начального исхода об'яснения исключительно в „научно-изучаемых", „материальных" явлениях, что у Маркса определенно выразилось в обозначении всего его научного направления словами: „экономический материализм" и „экономическое понимание истории". Способ производства материальной жизни и определяет тот „реальный базис", на котором возвышаются, „как надстройки", „все юридические, политические, религиозные, художественные, философские, выражаясь кратче,— идеологические формы". Но „на известных ступенях своего развития эти материальные производительные силы общества вступают в столкновение с ранее существовавшими производственными отношениями", и эти последние „из форм развития производительных сил превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной *революции*. С этой переменой экономической основы рушится и вся громадная ее надстройка". Я продолжаю эти цитаты классических афоризмов Маркса вплоть до слова *революция*, потому что вокруг него чаще всего вертится спор об отношении учения Дарвина к учению Маркса. Говорят, дарвинизм это учение об эволюции, а эволюция будто бы прямая противоположность революции. У Дарвина слово революция не встречается и, вероятно, потому, что в биологии это слово вызывало еще свежее воспоминание о „Revolutions du globe" Кювье, под которой разумелись вымышленные геологами катаклизмы, совершавшиеся будто бы с быстротой какой-нибудь театральной частой перемены декораций и сопровождавшиеся исчезновением целых населений земли и сотворением новых. Но зато у единственного, унаследовавшего качества своего отца сына Дарвина, Джорджа, известного астронома,—мы встречаем подробное развитие мысли о научной, гомологической связи (а не простой риторической только аналогии)

между понятиями о революции как в сфере явлений политических, так и в сфере явлений космических и просто механических.

В своих об'яснениях и Дарвин и Маркс исходили из фактического изучения настоящего, но первый, главным образом, для об'яснения темного прошлого всего органического мира, Маркс же, главным образом, для предсказания будущего, на основании „тенденции" настоящего, и не только предсказания, но воздействия на него, так как, по его словам, „философы занимаются тем, что каждый на свой лад об'ясняют мир, а дело в том, как его изменить". Но и здесь следует сделать оговорку—указать, что Дарвин, дав не „свое" философское, а основанное на изучении действительности об'яснение, заставил людей обратить внимание на тот процесс созидания новых органических форм (искусственный отбор), которым они пользовались полусознательно, помог довести его до тех изумительных результатов, до которых он доведен например, Бербанком—этим современным рабочим-чудотворцем, творцом новых органических форм.

Основным исходным материальным фактором, определяющим историческое развитие человечества, Маркс признает факторы экономические, все остальное является „идеологической надстройкой". Главным фактором развития органических форм Дарвин признает исторический процесс, метафорически названный им „естественным отбором" (Элиминация, Огюста Конта) и вытекающий из закона перенаселения, обыкновенно называемого законом Мальтуса. Это, как известно, ставилось Дарвину в укор Чернышевским и особенно Дюрингом, но пред'являвшие это обвинение, очевидно, не знали или забыли, что сам Мальтус заимствовал свой закон у натуралистов, применявших его уже ранее к растениям и животным (Линней, Франклин). Но в чем же заключается это явление естественного отбора? В приспособлении организмов к условиям их существования, в нем, как об'ясняет Дарвин на первых же страницах своей книги, заключается ключ к пониманию органического мира, об'яснение его основной загадки. Это слово „приспособление" стало лозунгом современной биологии; биологии становилось понятным только то, что приспособлено, потому что ему становилось понятным его историческое происхождение. Геккель, мастер на составление новых названий, для всей этой области биологии, изучающей явления приспособления, предложил новое название—*экология*. Этому слову повезло особенно в Америке, где, например, рядом с физиологией растений утвердилась новая наука *экология*. Но это слово от того греческого корня,

как и *экономия, экономика.* Вместо того, чтобы придумывать новые слова, не лучше ли было сохранить старое, указывающее на полное сходство понятий. Поэтому я уже несколько лет тому назад предложил назвать эту часть ботаники просто—*экономикой растений.* Таким образом, и у Дарвина и у Маркса мы встречаемся с полным сходством исходных факторов изучаемых ими исторических процессов, проявляющихся даже в полном тождестве их словесного обозначения. И здесь и там мы встречаемся с экономическим использованием условий своего существования.

Но сходство этим не ограничивается: оно распространяется и на ближайшие продукты этого экономического процесса. По Марксу, на первых же стадиях развития деятельность человека при переходе его от животного выразилась в изобретении орудий производства: „изготовление рабочих орудий... специфически характеризует человеческий процесс труда... вот почему Франклин определяет человека, как: a tool making animal, т. е. как животное, изготовляющее рабочие орудия труда" (К. Маркс. „Капитал" т. I). К. Каутский, передавая эту мысль Маркса, пользуется свойствами немецкого языка для удачной игры слов: животные могут finden (находить) орудия в природе и только человек умеет их erfinden (открывать, изобретать). Рутерфорд в одной из своих последних речей очень наглядно изобразил эти первые ступени человеческой изобретательности: дело сводилось к последовательному сосредоточению того же запаса энергии в наименьшем пространстве,— дубина обрушивалась на более или менее значительную поверхность, топор или нож уже ограничивали действие одной линией и, наконец, копье или стрела сосредоточивали его в одной точке.

Но в чем же состоялся процесс приспособления животных и растений к условиям их существования, как не в выработке органов, т. е. орудий. И здесь опять простое словесное сближение делает это очевидным. В былое время, еще в начале XIX века, русские ученые называли организмы, организованные тела—телами „орудийными". К об'яснению, почему живые существа являются телами орудийными-организмами, сводилась по Дарвину главная задача естествоиспытателя, желавшего себе об'яснить их происхождение. Уже в первом дошедшем до нас наброске его теории он говорит: „Мы должны смотреть на каждый сложный механизм или инстинкт, как на длинный исторический итог полезных приспособлений, подобный произведениям искусства" (Darwin. The foundations of the origin of species. 1842. Рукопись найдена и издана только в 1909 г.). Следовательно, основой для об'яснения Дарви-

ном происхождения органических форм и Марксом форм человеческого общества являются экономические условия существования, а одним из первых продуктов этой деятельности является выработка орудий. Но точно ли это направление деятельности характеризует только первые шаги первобытного человека? Не с тем же явлением встречаемся мы и на высших ступенях этой деятельности? Бекон, в котором Маркс и Энгельс видят первого провозвестника того мировоззрения, которое легло в основу их исторического материализма (Karl Marx und Friedrich Engels. „Die heilige Familie"), Бекон, этот вестник (buccinator), возвестивший миру пришествие „царства человека", т. е. царства науки и победы человека над природой, так характеризовал современное ему направление деятельности возникшей новой опытной науки: „Nec manus nuda nec intellectus sibi permissus maltum valet; instrumentis et auxiliis res perficitur" („Голая рука и разум, сам себе предоставленный, многого не стоят, делается дело *орудиями* и другими пособиями"). И не только на заре зарождения современной науки, а и в период ее полного развития в XX веке встречаемся мы с тою же мыслью. Известный физик Винер в своей замечательной речи: „Расширение области чувственных восприятий" указывает, что важнейшие успехи физики тесно связаны с изумительным усовершенствованием инструментов, представляющих только как бы подражание органам чувств, этих, по меткому выражению И. П. Павлова, „анализаторов" внешнего мира. Наконец, едва ли не с большей рельефностью высказал ту же мысль со свойственным ему остроумием Больцман, говоря о Кирхгофе, как изобретателе спектроскопа: „Он сделал из глаза как бы совершенно новый орган". Таким образом, интересуемся ли мы происхождением всего органического мира или человеческого общества, в основе мы встречаемся с экономическим процессом производства,—будет ли то первоначальное производство органического вещества растением, или венец деятельности человека—производство знания-науки, один из первых вопросов сводится к изучению происхождения органов или орудий этого производства. Такова аналогия между историческим материализмом и дарвинизмом в той области, где их об'екты совершенно различны: у одного—человек, у другого—мир животных и растений. Но есть еще часть дарвинизма, где и об'ект изучения у них тот же. Через двенадцать лет после появления „Происхождения видов" и „Zur Kritik" вышло „Происхождение человека" Дарвина. Не ограничиваясь биологической стороной вопроса, Дарвин перешел и на социологическую почву, поскольку рассмотрение ее было необходимо для доказательства происхо-

ждения человека от животного типа,—и в двух замечательных главах ответил, что все умственное и нравственное превосходство над животным (вся идеологическая надстройка, как выразился бы Маркс) берет начало в двух материальных особенностях—в развитии высшей области нервной системы, в головном мозге, и его результате—развитии умственных способностей и в развитии „социального инстинкта“, присущего и высшим животным. Таким образом, социальный инстинкт, общественность, и у него, как и у Маркса, является исходным началом естественно-исторического процесса развития умственного и нравственного облика человечества. Недаром многие английские и немецкие писатели считают Дарвина основателем новейшей реалистической школы этики. Развитие нашей параллели между дарвинизмом и марксизмом в этом отношении потребовало бы более места, чем может быть отведено здесь, и вышло бы за пределы 1859 г., о котором собственно здесь идет речь.

Таковы некоторые черты сходства в основных идеях этих двух великих произведений, появление которых так удивительно совпало и, следовательно, исключает всякую возможность непосредственного влияния. И Маркс и Дарвин в естествознании видели единственную прочную основу своих революционных учений, призванных встряхнуть до самой глубины и „сознание“ и „бытие“ всего человечества. Не ясно ли, что именно в науке, в естествознании, а не в мистических и метафизических словоизвержениях, не в бессмысленных футуристических потугах или призывах вернуться „на путь свободной классической эротики“, не в этих всех пережитках позорно издыхающей буржуазной культуры должна быть заложена основа идущей ей на смену культуры пролетарской—культуры будущего. Это предсказывал еще в 1831 году Огюст Конт, говоря, что из всех классов пролетариат наиболее способен понять и воспринять тот умственный переворот, который несет с собой положительная философия—философия науки.

Эвелинг Э.

Чарльз Дарвин и Карл Маркс.

(ПАРАЛЛЕЛЬ).

Маркс и Дарвин—вот две личности, с именем которых неразрывно связано XIX столетие, и, я думаю,—мы не ошибемся, если скажем, что они являются весьма характерными и для переживаемой нами эпохи. Каждый из них сделал в области разрабатываемой им науки определенные открытия, которые не только внесли переворот в отдельные отрасли знания, но, более того,—произвели коренной переворот во всем человеческом миросозерцании, во всей человеческой жизни. Ниже мы производим несколько замечаний об их произведениях, их научных методах, их жизни и их характерах.

I. Их произведения.

В этой статье мы можем, конечно, говорить только о наиболее выдающихся произведениях Дарвина и Маркса. Более подробное исследование и оценка этих произведений лежат вне рамок нашей статьи. Первым произведением Дарвина было: „The naturalist's voyage round the Wold" („Путешествие естествоиспытателя вокруг света").

В 1831 году 22-хлетний Дарвин предпринял в качестве естествоиспытателя путешествие на пароходе „Beagle", продолжавшееся 5 лет. В течение этого времени он сделал значительное количество наблюдений. Некоторые из них по возвращении на родину он опубликовал в своей известной книге, которую он считает своим первым „литературным детищем".

Вслед за опубликованием „Путешествия естествоиспытателя вокруг света" появилось несколько сочинений Дарвина из области геологии. То были две книги: „Геологические наблюдения над вулканическими островами" („Geological Observations on Vulcanic Jslands") и „Геологические заметки о Южной Америке" („Geological Observations on South-America")—теперь обе эти книги можно иметь в одном томе—и знаменитое сочинение о коралловых рифах. Первые два из только что упомянутых трудов содержат богатый статистический материал и несколько в высшей степени интересных гипотез. В третьей формулируется известная теория, которой Дарвин об'ясняет происхождение и связь между тремя фор-

мациями коралловых рифов, известных под названием лагун, коралловых архипелагов и аттолей.

Согласно этой теории, морское дно, на котором возникали и возникают рифы, погружалось и погружается очень медленно. Хотя потом и появилась другая теория, усердно пытавшаяся опровергнуть Дарвиновскую, тем не менее, последняя вышла победительницей, оправдав себя в очень многих случаях.

Считаю лишним перечислять здесь дальнейшие произведения Дарвина в их хронологическом порядке. Мне кажется более подходящим разбить их по группам, соответственно разрабатываемым в них вопросам. В первую группу входят труды по ботанике. Из них видное место занимают следующие труды: „Оплодотворение орхидеев", „Движение и образ жизни ползучих растений", „Насекомоядные растения", „Значение самооплодотворения и оплодотворение путем скрещения в мире растений", „Различные формы цветков на растениях одного и того же вида" и „Способность растений к передвижению". Каждый из этих трудов проливает яркий свет на важнейшие вопросы ботаники, отличается полнотой оригинальных наблюдений и формулирует чрезвычайно важные теории.

Дарвин издал четыре сочинения по зоологии. Три из них представляют исчерпывающие предмет монографии: „Усоногие раки", „Ископаемые Lepadida", „Ископаемые Balanida".

Эти сочинения являются памятниками терпеливого исследования. Каждая из многочисленных разновидностей гиропедеий и морских желудей сецировалась, а таковая секция сопряжена с огромными затруднениями, и срисовывалась. Отдел о гиропедиях и морских желудях прошлого разработан очень обстоятельно в этих трудах. Много света пролито на сложение и жизненные привычки этих животных. Относительно этих монографий с полной справедливостью утверждали, что их одних достаточно, чтоб признать в Дарвине одного из виднейших ученых нашего столетия.

Они являются единственными произведениями, для понимания которых требуется специальная подготовка, и потому они недоступны широкой публике. Но если не считать этих трудов, то можно сказать, что Дарвин не написал ни одного произведения, которое не являлось бы доступным пониманию даже людей, не получивших специально-научного образования. Само собою разумеется,—геологи и биологи извлекут гораздо больше пользы от чтения таких произведений, чем лица, неполучившие специального образования в этих областях.

Во всяком случае, каждый мало-мальски интеллигентный человек может без особого труда читать и понимать все сочинения Дарвина, за исключением „Cirripedien“.

Четвертое произведение Дарвина по зоологии: „Образование растительного слоя под влиянием деятельности дождевых червей“ —последнее опубликованное им произведение.

Этот труд не очень об'емист, но заключает в себе значительное количество очень интересных опытов и выдвигает важные теории о зависимости между деятельностью дождевых червей и образованием растительного слоя, наиболее благоприятного для растительности.

Вспоминаю, как я однажды с детской наивностью обратился к Дарвину с вопросом, зачем он занимается столь незначительными животными, как черви. Я никогда не забуду его ответа и выражения лица, сопровождавшего этот ответ: „Я изучал их жизненные привычки в течение сорока лет“,—возразил он.

В четырех трудах Дарвин изложил свою теорию развития. Разумеется, все его научные труды более или менее непосредственно посвящены проблемам зарождения и развития животно-растительного организма и разрешению этих проблем при помощи теории развития. Но только что упомянутые четыре произведения специально и самым основательным образом разрабатывают этот в высшей степени важный вопрос. Первое из них знаменитая „Теория происхождения видов“.

Этот труд был издан в 1859 году. В нем основывается сделанное Дарвином открытие, что бесчисленные виды растений и животных произошли не благодаря такому-же количеству отдельных актов творения, но что они постепенно развивались из прежних форм животно-растительных организмов. Год выхода в свет этого произведения (1859) необходимо твердо помнить, особенно принимая во внимание то удивительное стечение обстоятельств, о котором мы скажем ниже. „Теория происхождения видов“ была встречена взрывом негодования и возмущения. Многие ученые не хотели сначала соглашаться ни с единым словом новой теории. Духовенство всех церквей об'явило эту теорию мерзкой и дикой, воплощением безбожия и порочности.

Бездарные писаки, неспособные разобраться и неимеющие никакого права высказывать суждения по столь сложному и трудному вопросу, цинично присоединили свой голос к общему негодующему хору. Повсюду, даже в салонах, рассуждали об этой

книге и высказывали о ней суждения лица, никогда не прочитавшие из нее ни единой строчки. Я вспоминаю, как в ранней молодости мне пришлось услыхать следующее восклицание из уст одного довольно известного проповедника: „Как, верить в Дарвина! Никогда. Да я не читал ни единого слова из его произведений".

А что теперь говорят об этом произведении или, вернее, что начали говорить о нем с 1879 года, когда оно, так сказать, достигло своего совершеннолетия. Весь мир признал этот труд классическим произведением. В настоящее время ни один ученый ни в одном государстве не найдет ни единого возражения против „теории развития" Дарвина. Ученый мир признал теорию Дарвина и сделал ее исходным пунктом для обоснования современных исследований и дальнейшего развития его учения.

Духовенство с удивительной легкостью примирилось с „теорией происхождения видов" и пытается приспособить ее к теологическому миросозерцанию.

Только самые невежественные священники решаются еще и в настоящее время возвышать свой голос против Дарвина. Что касается широкой публики, то она, конечно, в этом отношении слепо следует за своими духовными пастырями. В настоящее время было бы очень трудно найти человека, обладающего средним умом и образованием, который бы ничего не хотел знать о Дарвиновской теории развития.

По выходе в свет „Теории происхождения видов" Дарвина часто упрекали за то, что это произведение представляет плод черезчур поспешной работы. Изложенные в этом произведении окончательные выводы сделаны, по мнению некоторых, черезчур поспешно, автор якобы был очень заинтересован возможно скорее придти к таким заключениям. А знают ли утверждающие это, сколько лет работал и думал исследователь, прежде чем опубликовал эту книгу. В 1831 году вступил он на борт корабля „Beagle". В 1859 году вышла в свет „Теория происхождения видов". Двадцать восемь лет работал он над этим произведением. А сколько можно найти в настоящее время авторов, которые готовы в значительно более короткий срок написать сочинения по важнейшим вопросам. Впрочем, это создающее эпоху сочинение не было бы опубликовано и в 1859 году, если бы друзья автора убедительными просьбами не заставили бы его опубликовать это сочинение. В виду слабого в то время здоровья Дарвина, друзья опасались,

как бы он не умер, не успев поделиться с миром своим замечательным открытием.

Последнее может служить также ответом и на другое возражение против этого произведения, а именно, что произведение это содержит в себе мало фактов, доказывающих теорию Дарвина. Впрочем, подобного рода возражения самым решительным образом были опровергнуты изданием другого произведения: „Изменения животных и растений в состоянии приручения". Два об'емистых тома этого произведения содержат в себе огромное множество наблюдений Дарвина и других ученых над развитием растений и животных, которые подверглись модифицирующему влиянию людей. Эти наблюдения представляют исходный пункт теории развития животно-растительных организмов.

Но и после того, как эта общая теория была всеми признана, раздавались еще возражения, что теория эта не имеет решительно никакого значения для развития человека. Человек всегда настоятельно стремился занять особое положение, с высоты которого он мог бы, в сознании собственного величия, созерцать ниже его стоящие животные существа. Теория эволюции, говорили, быть может, и верна для растений, но не для человека. На эти претензии Дарвин ответил изданием своего произведения „Происхождение человека".

Это произведение является, быть может, самым популярным из всех его трудов. Здесь собраны бесчисленные факты, которые привели Дарвина к убеждению, что человеческий род не представляет продукта особого творческого акта, но является результатом целого ряда превращений низших форм в более высокие. Со времени опубликования „Происхождения человека" число доказательств в пользу приводимого здесь взгляда бесконечно возросло и за исключением единственного только ученого, быть может, не найдется ни одного более или менее видного естествоиспытателя, который не был бы приверженцем Дарвиновской теории.

В 1871 и 1872 годах Дарвин написал „Выражение ощущений у человека и животных". Здесь Дарвин излагает и анализирует различные способы, посредством которых человек, а равно животные выражают свои душевные волнения. Автор доказывает, что способы, которыми человек пользуется для выражения гнева, радости, болезни и т. д., коренятся в определенных простых анатомических особенностях и отношениях и психологических явле-

ниях, которые можно наблюдать не только у человека, но и у других животных.

Теперь я перехожу к произведениям Маркса. Его многочисленные статьи в журналах всех стран точно так же, как и его мелкие произведения, я оставляю здесь в стороне и упомяну сперва о его „Критике политической экономии“. Этот труд заключает в себе зародыш его позднейшего знаменитого сочинения „Капитал“. Мне кажется нелишним отметить, что „Теория происхождения видов“ и „Критика политической экономии“ вышли в свет в одном и том же году; оба эти сочинения были опубликованы в 1859 году. Удивительное совпадение. Два произведения, которые должны были произвести коренной переворот, первое—в области биологии, второе—политической экономии, и более того—во всем миросозерцании, во всей духовной жизни XIX столетия, оба появились в одном и том же году.

В 1867 году вышел в Германии первый том „Капитала“. Второй и третий том этого знаменитого труда изданы были после смерти Маркса Энгельсом.

2. Их научные методы.

Существует пять фаз, через которые должен пройти труд научного исследования: наблюдение, опыт, записывание, размышление и формулирование теории. Дарвин и Маркс оба являются яркими представителями того типа ученых, научные труды которых проходят названные пять стадий. Как я уже упомянул, Дарвин в течение двадцати восьми лет производил наблюдения и опыты над растениями и животными прежде, чем выступил со своим открытием, основанным на массе добытого им фактического материала. Вполне добросовестно записывал он результаты наблюдений и опытов: в его рабочем кабинете в Дауне находились всегда, кроме книг, микроскопы и всевозможные колбы и реторты, которыми он пользовался для своих опытов, и множество памятных книжек, в которые он заносил все, что уме приходилось наблюдать или читать, и все, что ему удавалось констатировать на основании произведенных опытов. Записанное в этих тетрадях он потом разрабатывал и формулировал в виде теории или, правильнее выражаясь, в виде целого ряда теорий. Эта высшая и последняя ступень научного исследования доступна только наиболее одаренным натурам. Многие обладают способностью наблюдать, производить опыты, записывать и обдумывать; но только немногим умам доступно формулирование общих теорий, т. е. из множества собранных фактов и отмеченных явлений выводить еди-

ный, всем общий и всех их об'единяющий принцип, соткать, если можно так выразиться, золотую нить, которая связала-бы бесчисленное множество мелких фактов и явлений, внести таким образом порядок в общий хаос. Эти теории часто неправильно называются „законами природы". Самым худшим результатом этой неправильности является то, что широкие слои публики, благодаря такому названию, видят нечто общее между законами природы и государственным законом. Единственное, что, может быть, является общим обоим этим понятиям,—это слово „закон". Закон природы—это обобщение, т. е. словесное выражение определенных, выведенных на основании наблюдений следствий или результатов естественных явлений и процессов. Государственный закон—это распоряжение государственной власти, которое должно регулировать взаимные отношения людей. Поэтому только при самом поверхностном обобщении можно придти к выводу, что „закон природы" предполагает законодателя. Во избежание возможности подобного заключения следовало бы отказаться от выражения „закон природы" и говорить только о теориях.

Маркс, в свою очередь, наблюдал факты экономической жизни и социальные явления прошлого и настоящего. Нельзя, конечно, сказать, что он производил эксперименты. В этом отношении условия, в которые поставлены политико-эконом и естество-испытатель, существенно разнятся: последний может производить непосредственные опыты, первый лишен этой возможности. К счастью, история и общество освобождают его от необходимости производить эту работу. Если политико-эконом внимательно изучает историю прошлого, если он подробно исследует социальные условия современной жизни, то он, несомненно, наталкивается на множество уже законченных опытов, которые он может использовать; так, например, история Рима, крепостное право, феодальное владычество, открытие Америки, зачатки капиталистического хозяйства, то незначительное количество пищи, которым может довольствоваться человек для поддержания своего существования, биржа, привиллегированные акционерные общества, брачный рынок, денежный рынок, скотный рынок и т. д. и. т. д. Политико-эконом отмечает как результаты своих собственных наблюдений, так и результаты опытов, произведенных для него историей и обществом, затем он разрабатывает материал и, наконец, приступает к обобщениям.

Я уже выше упомянул, что только более одаренные ученые способны к обобщению. Но существуют теории, формулировать

которые может только в высокой степени одаренный ум и тонко развитая способность мышления. Я имею в виду теории, которые, являясь продуктом изучения эволюции, революционируют не только отдельную науку, но и все человеческое миросозерцание, как целое. Такие великие грандиозные теории, конечно, редки. Они оказывают влияние на самую жизнь человечества. Существует много прекрасных научных теорий, которые, тем не менее, не могут быть отнесены к этому разряду. Так, например, удивительное открытие русского химика Менделеева и англичанина Ньюландса—периодическая система элементов. Как ни прекрасна и ни достойна удивления эта теория, тем не менее, она не оказывает никакого влияния на миросозерцание массы. То же самое можно сказать об упомянутой уже теории Дарвина о коралловых рифах. Но время от времени человеческий ум создает грандиозную возвышенную теорию, которая сперва вызывает негодование самых широких масс, всего даже человечества, затем заставляет убедиться в ее справедливости и, наконец, производит коренной переворот во всем человеческом миросозерцании. Например, открытие Коперника, что не маленькая, незначительная земля, а солнце находится в центре нашей планетной системы; или открытие Галилея, что не солнце движется вокруг земли, а земля вокруг солнца. Оба эти великие теории появились вскоре одна вслед за другой. В нашем столетии выступили почти одновременно Маркс и Дарвин. Попробуем теперь разобраться, какие из их теорий в общем процессе развития идей произвели коренной переворот не только в области разрабатываемой каждым из этих выдающихся умов отрасли знания, но и во всем человеческом миросозерцании.

Может ли, вообще, какая-либо из формулированных Дарвином теорий увековечить его имя в памяти потомства. Конечно, может. Разумеется, такой теорией не является ни одна из его специфических геологических, ботанических или зоологических теорий, так как, как бы велико ни было значение этих теорий, они могут интересовать преимущественно только специалиста и только они могут быть оценены по достоинству. Такой, прежде всего, может быть только теория, которая влияет на ум и фантазию масс, действует на их чувство и воображение, революционирует их. Вероятно, большинство моих читателей будет того мнения, что с этой точки зрения подобными теориями являются „Теория естественного подбора“ или „Теория борьбы за существование и выживание более сильных“. Я, однако, не могу согласиться с этим мнением. Я не нахожу последнюю наиболее выдающейся из теорий Дарвина.

Как бы прекрасна эта доктрина сама по себе ни была, теперь уже находится, однако, вне всякого сомнения, что, кроме естественного подбора, имеется много других различных факторов, которые, хотя и не имеют того же значения, что и естественный подбор, и в сравнении с ним занимают второстепенное место, тем не менее, вместе с ним должны быть приняты во внимание при об'яснении происхождения видов растений и животных.

Теория, которая особенно увековечит в памяти потомства имя Дарвина, это—теория эволюции. В этой теории Дарвин решительно и окончательно формулировал великий принцип непрерывности процессов и явлений. Конечно, и до него были великие мыслители, начиная с Лапласа и кончая Ламарком, которые сознавали существование этого принципа. Конечно, многие намекали в робкой, нерешительной и туманной форме на то, что в природе вещей происходит постоянный процесс развития. Но до выступления Дарвина со своей теорией господствовал в обществе и даже в самой науке взгляд, что все в природе определяется и регулируется извне какой-то великой силой или, правильней, великими силами; что все вещи имеют свое начало; различные формы материи и различные формы движения также определяются и регулируются извне; что можно предполагать конечное уничтожение материи и силы. Дарвину удалось доказать ошибочность такого взгляда. Он доказал, что материя и сила вечны и не могут быть ни сотворены, ни разрушены; что явления и процессы, совершающиеся во вселенной, поскольку они нам известны, непрерывны.

Доказав это относительно происхождения видов растений и животных и происхождения человека, он тем самым провел, обосновал и утвердил мысль, что вся жизнь есть не что иное, как беспрерывное развитие. Он положил последний камень того великого здания, фундамент которого был заложен еще много столетий тому назад древним греческим философом Гераклитом в его известном изречении: „все течет".

Имеется ли формулированная Марксом теория, которая должна, несомненно, увековечить его имя в памяти потомства. Конечно, имеется. Он, как и Дарвин, формулировал целый ряд сравнительно менее значительных теорий. Так, например, установленное им различие между заработной платой и ценностью затраченной рабочей силы. Я лично считаю наиболее важной из доктрин Маркса „теорию прибавочной ценности". Конечно, известно, что и до Маркса политико-экономы имели уже представление о прибавочной ценности, точно так и до Дарвина биологи имели

представление о теории развития. Но одному только Марксу удалось ясно формулировать теорию прибавочной стоимости, всесторонне исследовать ее, обосновать и дать нам тем самым ключ к пониманию социально-экономических отношений точно так же, как теория эволюции дает нам ключ к пониманию биологических процессов.

Теорию прибавочной ценности я подробно выяснил в другом месте. Поэтому я теперь вкратце займусь другой теорией Маркса, хотя она по своему значению и уступает „теории прибавочной ценности". Я имею в виду его материалистическое понимание истории. Как бы это ни казалось странным, но Энгельс самостоятельно, независимо от Маркса, дошел до такого же понимания истории. Тем не менее, он сам всегда утверждал, что Маркс обосновывал и разрабатывал эту теорию совершенно независимо от результатов его собственных исследований и затратил на эту работу неизмеримо больше труда. Материалистическое понимание истории утверждает, что важнейшим основным фактором, действующим в развитии народа или общества, являются хозяйственные отношения, т. е. те способы, при помощи которых народ или общество производит и обменивается своими продуктами. Если мы хотим выяснить себе, почему социальные отношения в Риме, Испании, в Англии носили в данное время тот или другой определенный характер, мы должны, согласно материалистическому пониманию истории, исследовать условия производства и обмена товаров у древних римлян, испанцев, англичан. Необходимо твердо помнить, что, по теории Маркса, экономические условия являются только в последнем счете движущими силами исторического развития. Это необходимо особенно подчеркивать в виду того, что некоторые из наших товарищей в чрезмерном увлечении этой теорией провозглашают всюду экономические условия единственным двигателем исторического развития. Но, являясь действительно первичной движущей силой, эти условия приводят в действие другие факторы, которые являются, так сказать, рефлексами первых, которые, в свою очередь, оказывают определенное воздействие на первичные, породившие их факторы—экономические условия, и, таким образом, получается сложная сеть отношений, действий и взаимодействий между первыми и вторыми. Далее, хотя искусство, наука, литература, религия, обычаи и законы развиваются в зависимости от экономических условий данной страны, тем не менее, необходимо считаться и с их историческим влиянием на социальное развитие.

По мнению многих наших противников,—теории Маркса и Дарвина непримиримы. Особенно учение о естественном подборе, утверждают они, находится в самом резком противоречии с социалистическим миросозерцанием. Это утверждение мне кажется совершенно неосновательным. По моему мнению, между дарвинизмом и марксизмом вовсе нет никакого противоречия. Социализм, по моему мнению, является логическим следствием исторического процесса развития, а в учении Дарвина я вижу весьма солидное научное обоснование этого процесса. Я укажу еще на то, что Маркс, отличавшийся, вообще, большой любовью к чтению, был основательно знаком со всеми произведениями Дарвина. Нельзя, однако, сказать того же о знакомстве Дарвина с произведениями Маркса. Я позволю себе привести здесь письмо Дарвина к Марксу, которое представляется мне очень интересным и характерным. В 1873 году Маркс послал великому естествоиспытателю второе издание первого тома своего „Капитала“. Он получил в ответ на это следующее письмо:

„1-е октября 1873 года.

Милостивый Государь. Я благодарю Вас за честь, которую Вы оказали мне присылкой Вашего великого произведения. Я от всей души желал бы достичь большого понимания глубоких и важных политико-экономических вопросов и тем самым оказаться более достойным этого подарка. Как ни различны области наших исследований, я думаю, что мы оба серьезно стремимся к распространению знания и что знание, в конце концов, несомненно, будет способствовать счастью человечества. Остаюсь преданный Вам

Чарльз Дарвин“.

Унтерман Эрнест.

Биологическое и экономическое разделение труда.

Первое разделение потомков одних и тех же прародителей на общества животных и людей было вызвано, как мы видели выше, биологическим развитием. Биологическое превосходство дало людям возможность изобретать и усовершенствовать орудия и тем самым легло в основу развития экономических сил, все больше и больше углублявших пропасть между обществами людей и животных.

С этих пор технический прогресс стал основой исторического развития человеческого рода (это должно быть понято, конечно, с известными лишь ограничениями).

Льюис Морган, совершивший целый переворот в антропологической науке своим образцовым сочинением о „Первобытном обществе“, разделял развитие человеческих обществ на три великих периода: на период дикого состояния, период варварства и период цивилизации, при чем в основание этого деления он положил технический прогресс. Период дикого состояния и период варварства он разделил на низшую, среднюю и высшую стадию в зависимости от соответствующих технических изобретений человека. Более подробные сведения об этом можно найти в его книге „Первобытное общество“ и в произведении Энгельса „Происхождение семьи“.

Этот технический прогресс был чрезвычайно важен для поднятия человечества на более высокую ступень, но он долгое время не проникал достаточно глубоко в биологические основания человеческого общества и не мог дать техническим силам перевеса над биологическими.

На протяжении всего периода дикого состояния в течение многих тысячелетий, вплоть до средней стадии периода варварства, биологические силы являлись основой для примитивного разграничения биологического и технического разделения труда. Половое разделение труда между мужчиной и женщиной стало в человеческом обществе естественным базисом для первого экономического разделения труда между мужчиной и женщиной.

Это примитивное разделение труда между обоими полами встречается даже в настоящее время у человеческих племен, которые живут еще в стадии варварства или не вышли еще из дикого состояния. Оно существовало у американских индейцев, находившихся на этой стадии развития, когда Колумб и его непосредственный преемник вступили впервые на американскую почву.

Фридрих Энгельс, опираясь на собранный Морганом материал, описывает это разделение труда между мужчинами и женщинами американских индейских племен следующими словами: „Разделение труда крайне примитивно, оно существует только между полами. Муж выступает на войну, отправляется на охоту и рыбную ловлю, добывает сырой материал для пищи и приготовляет себе необходимые для всего этого орудия. Жена присматривает за домом и за изготовлением пищи и одежды, варит, ткет, шьет. Каждый из них полный хозяин в своей области: муж в лесу, жена дома. Каждый из них считается собственником изготовленных и применяемых им орудий: муж считает своей собственностью оружие, приспособления для охоты и рыбной ловли, жена—принадлежности домашнего обихода“.

Это является единственной, имеющей историческое значение формой экономического разделения труда в человеческом обществе, формой, которая основывается на биологическом разделении труда. В переходный период от низшей к высшей стадии варварства она уступает свое место дальнейшим формам экономического разделения труда, покоящимся не на биологической, а на технической основе. По мере того, как эта примитивная форма разделения труда уступала свое место другим формам, биологическое разделение труда стало попадать в зависимость от экономического, женский пол был первой жертвой под гнетом экономических сил, вследствие перехода от естественного биологического базиса к техническому.

Женщина—„первое человеческое существо, впавшее в рабство. Женщина стала рабыней еще раньше, чем существовал самый институт рабства. Всякая социальная зависимость и всякое порабощение коренится в экономической зависимости порабощенного от поработителя“ (Бебель „Женщина и социализм“).

Средняя стадия варварства, согласно Моргану, начинается с приручением домашних животных. Уход и приручение этих зверей выпало на долю мужчины. А так как представители каждого пола владели на правах собственности теми предметами, которые они произ-

водили, то стада очутились во владении мужчин. Благодаря этому, их богатство стало гораздо значительнее, чем богатство женщин. А, вместе с тем, с их богатством возрастало также и их могущество. Стада нуждались в обширных земельных пространствах для пастбы; чем больше развивалось скотоводство, чем сильнее увеличивались человеческие семьи, чем больше, вследствие этого, раздвигались границы старых организаций, тем все теснее становились старые общественные формы. Вместе со своими географическими границами человек стал также раздвигать и свои примитивные общественные границы.

„Из массы варваров стали выделяться пастушеские племена: *первое, великое, общественное разделение труда*... Из первого великого разделения труда возникло первое великое разделение общества на два класса: господ и рабов, угнетателей и угнетаемых“ (Фр. Энгельс).

Переходный период от средней к высшей стадии варварства составляет, следовательно, ту эпоху, когда человеческие общества принимают все свойства, типичнее всего отличающие их хозяйство от хозяйства животных.

Мы имеем здесь, таким образом, чрезвычайно удобный пример для сравнения общественного разделения труда у людей и у животных.

Еще задолго до того, как пастушеские племена отделились от остальных человеческих племен, были открыты наряду с примитивным разделением труда между полами то тут, то там и другие формы разделения труда. Но эти формы не коснулись биологического, естественного базиса разделения труда. Когда, например, некоторые мужчины научились заострять свои грубые, сделанные из камня, орудия, то отдельные индивидуумы приобретали особую ловкость в исполнении этой работы; им всецело поручали эту деятельность, освободив их от всякой остальной работы.

Заостренные стрелы американских индейцев изготовлялись специальными работниками. „Каждое племя имеет свою мастерскую, в которой изготовляются эти стрелы, в этих мастерских заняты исключительно особенно ловкие рабочие, имеющие разрешение приготовлять эти стрелы для надобностей всего племени“.

Одни из них занимаются изготовлением луков, другие—стрел, третьи—посуды (женщины все заняты выделкой глиняной посуды), есть, наконец, и такие, которые охотятся и ловят рыбу.

Совершенно ясно, что эта специализация и разделение труда, существующая рядом с разделением труда между обоими полами и касающаяся только мужчин, покоится совсем не на биологическом развитии мужчин. Она не происходит от того, что занятые выделкой стрел рыбаки или охотники развивали особые физические органы, а только от того, что они приобретали особенную ловкость в применении тех же органов при совершении известных технических работ. Правда, эта ловкость вызывает на сцену появление биологических способностей, но экономический фактор имеет здесь же гораздо большее значение, чем какой бы то ни было биологический орган.

Различие между животным и человеческим разделением труда становится здесь уже вполне заметным. На низких ступенях человеческого развития различие это не выступает так ярко. Но уже там можно проводить различие между биологическими функциями обоих полов и теми экономическими функциями, которые выпадают на долю каждого пола в отдельности.

Поскольку разделение на полы влечет за собою выполнение различных экономических функций, постольку биологическое и экономическое разделение труда одно и то же как у животных, так и у людей. В этом отношении у нас нет основания спорить с Геккелем, когда он говорит: „У диких первобытных народов, которые до сегодняшнего дня остались на низшей ступени развития, отсутствует вместе с культурой и разделение труда или же оно ограничивается, как у большинства животных, различием в работах, производимых тем или другим полом“.

Но здесь дарвинист-буржуа уже начинает смешивать половое и экономическое разделение труда и на этом смешении строит самые курьезные аналогии. Несколько страниц дальше мы читаем: „Существует очень много видов животных, у которых разделение труда живущих совместно индивидуумов ограничивается, как у самых диких первобытных народов, самой примитивной социальной формой, а именно: различными занятиями и образованием полов—браком. Но существуют также такие виды животных, у которых разделение труда живущих общественной жизнью индивидуумов идет гораздо дальше и приводит даже к организации тех высших социальных союзов, которые мы называем *государствами*“.

Здесь нам совершенно не выясняют, что собственно относится к биологической и что к экономической „деятельности и развитию“. Термин „брак“ автор относит как к первому, так и ко второму. И это затушевывание типических различий при помощи од-

ного выражения, обозначающего преимущественно половые функции, дает удобный повод распространить эту же неясность и на понятие „государства“, этим самым устраняются все важные признаки, отличающие общества животных от обществ людей, к счастью, только на бумаге.

Социальное разделение труда у животных, живущих „государствами“, покоится на *биологической вариации.* На это указал уже Дарвин. „Выгоды, вытекающие из диференциации в структуре обитателей одной и той же местности, на самом деле того же характера, как и выгоды физиологического разделения труда между частями одного и того же животного организма“.

Возьмем для примера зонтичного муравья, живушего в Южной Америке, по имени Oecodoma cepholotes... Работники этого вида состоят из трех сословий. Главную часть составляет сословие работников с небольшим телом и с небольшой головой. Работники, играющие более важную роль, представляют собой два типа: один имеет гладкую полированную голову с глазами на лбу, другой тип, живущий под землей, не имеет глаз.

Этот последний, согласно мнению Бэтса, выполняет в глубинах колонии неизвестную функцию.

Как оказалось впоследствии, эта неизвестная функция заключается в возделывании грибных садов. Мы говорим об этом, однако, только между прочим, так как это нисколько не меняет интересующего нас факта.

То, что относится к этим муравьям, относится также ко всем видам муравьев. И не только к муравьям, но и ко всем обществам насекомых, у которых встречается социальное разделение труда. Каждый учебник биологии описывает эти различные сословия. Так, например, общества пчел „монархии“, общества муравьев „республики“. Но всегда и везде форма этих обществ определяется биологическими вариациями. Королевы, трутни, работницы снабжены у пчел различными органами и различным образом сложены. Королева создана для выполнения обязанности зачатия, кроме того, она должна класть яйца. Трутни могут выполнять только одну общественную функцию, а именно—оплодотворить королеву. Одни только работницы имеют органы для собирания цветочной пыли, меда и для изготовления восковых ячеек.

Геккель знает это, конечно, очень хорошо. Он даже сам говорит: „Различие в характерах Дарвин называет в четвертой главе своей знаменитой книги „О происхождении видов“ той формой

разделения труда, которая встречается у живущих на одном и том же месте индивидуумов, принадлежащих к одному и тому же виду; это разделение труда приводит их, благодаря борьбе за существование, к образованию новых подвидов и даже целых видов. Это различие в характерах индивидуумов имеет свое основание, как морфологический процесс, в физиологическом разделении труда, подобно, так называемому, разграничению или диференциации органов, являющейся самой важной проблемой сравнительной анатомии".

Сочинение Геккеля снабжено также прекрасными, чрезвычайно убедительными картинами, которые наглядно изображают органическую диференциацию различных сословий при разделении труда у животных.

Но он не приводит ни малейшего доказательства ни словами, ни иллюстрациями, которое убедило-бы нас, что экономические классы в человеческих обществах имеют свое основание в физиологических вариациях, ведущих к новым видам и подвидам и предписывающих в силу органических неизбежностей определенным людям всегда одну и ту же работу.

Нищий имеет ту же физиологическую организацию, как и король. Ведь излюбленный прием королей в сказках и былинах переодеваться в одежду нищих и завоевывать себе любовь дочери какого-нибудь нищего.

Ничто подобное никогда не могло бы произойти в государстве пчел или муравьев. Человеческой королеве физиологическая организация не мешает выполнить работу прачки. Кто был в Самое, тот знает, что там он может отдать стирать белье свое женщинам королевской крови. И некоторые историки рассказывают нам даже о современных прачках в самой Европе, ставших затем королевами, при чем сравнение далеко не всегда было в пользу королев с синей (т. е. гнилой) кровью.

Нам достаточно посмотреть лишь на нервного Гогенцоллерна, на жирного властелина Англии, чтобы моментально придти к заключению, что эти люди занимают свое выдающееся положение вовсе не вследствие своих личных физиологических способностей.

Иван и Петр во всех отношениях представляют из себя гораздо лучших людей, чем эти коронованные куклы. Люди вроде Рекфеллера, Круппа, Штумма, Моргана, Подбельского и других из „лучших и благороднейших" кровопийц народа отнюдь не являются и не были типами, отличающимися особенными умствен-

ными или физическими способностями. Среди рабочих каждой страны и каждой расы попадаются гораздо более здоровые организмы и гораздо более светлые головы. Да ведь известно, что приведенные здесь и иже с ними не могут привести в пользу своего господства никаких иных доводов, помимо того, что Бог милостью своею пожаловал их этим высоким чином.

До сих пор, однако, никто из них не представлял этой удивительной грамоты, подписанной Святым Духом и подтвержденной Святым Петром.

Правда, трутни человеческие тоже посвящают себя делу продолжения своего рода, но они не могут ссылаться на смягчающие их вину обстоятельства, как трутни из пчел.

Напротив, с человеческим родом дело обстояло-бы гораздо лучше, если бы человеческие трутни не размножались.

Не говоря уже о том экономическом ущербе, который они наносят человеческому роду, они оставляют в числе своих потомков значительное количество калек, сумасшедших, преступников от рождения и уродов.

Геккель не только обходит полным молчанием эти всем известные физиологические факты, хотя он с ними очень хорошо знаком. Но он открещивается далее от своего дарвинистского воспитания еще тем, что ничего не сообщает о той революции, при помощи которой работники среди пчел каждый год отделываются от своих паразитов, при этом для большинства трутней из пчел дело кончается далеко не так хорошо, как это кончится для большинства трутней из людей, когда работники из людей будут делать свою революцию. Геккель, повидимому, совершенно забыл, что старая королева тайком покидает свое государство всякий раз, когда молодая королева своим писком дает знать, что она собирается выползти из куколки.

Да, если-бы человеческие королевы были столь-же корректны! И молодая королева не терпит никаких соперниц.

Тут дело обстоит просто: или убирайся вон или прощайся с жизнью. Как многому можно было-бы научиться у государства пчел, не будучи дарвинистом-буржуа!

И мало того, что Геккель совершенно упускает из виду все те биологические различия, которые разграничивают разделение труда у животных и у людей, он также не обращает внимания на те экономические причины, которые способствуют возникновению

экономических классов и хозяйственных систем у людей. Как раз те биологические факты, которые он приводит, должны были ему, дарвинисту, подсказать, что подобные явления у людей места не имеют и что поэтому ему следует об'яснять экономические классы, существующие у людей, иными, а не биологическими причинами.

Но это ему даже в голову не приходит. „Существуют, впрочем, породы муравьев, у которых все работники стали солдатами и которые осуществили уже в жизни культурный идеал человечества новейшего времени, а именно—современное милитаристическое государство.

Эти государства, всецело состоящие из солдат, вынуждены заставить рабов выполнять домашние работы или-же жить исключительно грабежем и хищничеством.

Последнее делают, например, известные южно-американские муравьи-хищники из породы „Eciton“ . . . . .

И здесь у каждого вида мы встречаем четыре различных формы: крылатых самцов и самок и два типа бескрылых работников, очень различной формы и величины. Маленькие работники, составляющие значительное большинство государства *эцитонов*, служат все в качестве рядовых солдат.

Более крупные работники, однако, отличающиеся, главным образом, очень большой головой и поразительным жевательным аппаратом, командуют армией в качестве офицеров. Обыкновенно один офицер приходится на целый отряд в тридцать солдат“.

Это, конечно, преподносится не только, как естественно-научное описание, но и как квинт-эссенция аттического остроумия. Но остроумно это или нет, фактом остается то, что нельзя было бы у людей отличить офицеров от простых рядовых солдат, если бы не было у них набитых ватой сюртуков, серебряных или золотых лент, поясов, аксельбантов или эполетов.

Что же касается поразительного жевательного аппарата, то это безусловно верно. Но этим у нас нельзя осуществлять своего господства, разве только в том случае, что вся экономическая и политическая власть господствующих классов станет на защиту больших желудков и пустых голов.

„Еще более замечательны, чем милитаристические государства бразилианских *эцитонов*, государства рабов или, так называемые, „амазонские государства“, образуемые многими из наших туземных видов муравьев, в особенности ярко-красными и светлыми муравьями.

У этих муравьев мы встречаем только три сословия, наряду с крылатыми самцами и самками сословия бескрылых работников. Но эти последние работают не сами, они похищают у других видов муравьев из их гнезд (небольших черных) куколки, которых они затем воспитывают и которые должны сделать за них всю работу... Так, мы здесь в амазонских государствах немецких муравьев находим то же отношение рабства, которое в человеческих государствах Северной Америки было уничтожено только после последней войны".

Здесь мы имеем пред собою, так называемое, дарвиновское оправдание человеческого рабства на том, якобы, основании, что рабы представляют из себя низшую расу. Но это, ведь, полное отсутствие понимания хозяйственных причин, которые одни сделали возможным у людей рабство и которые в известное время сделали его опять невозможным. Ни малейшей тени той простой истины, которую высказал уже Адам Смит, что в действительности различия между природными способностями отдельных индивидов гораздо незначительнее, чем мы это думаем.

Эти столь различные способности, повидимому, отличающие представителей различных профессий, лиц, вступивших уже в зрелый возраст, являются не столько *причиной*, сколько *следствием* разделения труда.

Ни малейшего намека на ту ясную истину, которую каждый может видеть, и не будучи дарвинистом, и которую Маркс выразил в следующих словах: „В принципе носильщик в меньшей степени отличается от философа, чем цепная собака от борзой. Только разделение труда вырыло пропасть между ними". И это разделение труда вытекает из экономических условий.

Подобно тому, как Геккель в недостаточной степени оценивает значение экономических изменений для человеческого общества, он слишком пренебрежительно относится также и к отсутствию этих факторов у животных.

Он совершенно выбрасывает за борт все эти специфические различия и повсюду замечает лишь одно общее сходство.

История культуры человека учит нас, что прогрессивное развитие культуры тесно связано с тремя различными явлениями: 1—с ассоциацией индивидуумов в одно общество (образование союзов), 2—с разделением труда (эргономией) у социальных личностей и различным, вследствие этого, развитием этих последних, с расчленением форм (полиморфизмом), 3—с централизацией или интеграцией единого целого, с стройной организацией союза.

Те же самые *основные законы социологии* имеют также значение для всех других союзных формаций в органическом мире, они имеют, например, также значение для постепенного развития отдельных органов из тканей и клеток. Образование государств у человека непосредственно примыкает к образованию стад у родственных человеку млекопитающих животных.

Стада обезьян и копытчатых животных, толпы волков и лошадей, группы и стаи птиц, часто всецело находясь под господством какого-нибудь направляющего их животного, показывают нам пример различных стадий образования государств, точно также дело происходит у более развитых суставчатых животных (как, например, у различных видов насекомых), в особенности же с государствами муравьев и термитов, ульями пчел и т. д.

Повсюду здесь Геккель видит одно лишь: „идеальные узы общности интересов". Больше ничего. Ассоциация в стадах, толпах, стаях или нациях, государствах, провинциях, городах, разделение на органические сословия или на экономические классы, разделение труда между биологическими сословиями или между экономическими классами и ремеслами, в гнездах и ульях или на фабриках и мастерских, в городе и в деревне, рабство, вследствие физиологических причин, или рабство, вследствие экономических причин, как явление, сопровождающее и сопутствующее феодализму и капитализму, централизация биологических функций или политических функций, органическая общность интересов или экономические классовые противоречия, основные законы универсального развития или специфические основы биологического и экономического развития—что все это значит для дарвиниста-буржуа, если он может пользоваться неопределенными аналогиями и закрывать глаза на неприятные истины?

Что Геккель стал-бы говорить о пролетарском мыслителе, который стал бы смешивать в одну кучу биологические факты так же, как он смешивает социологические? Дарвинист-буржуа уже доходит до пределов своего познания, когда он касается человеческой истории.

Там, где буржуазный дарвинизм боязливо отшатывается назад, там, где буржуазная экономия теряет почву под ногами, появляется пролетарская наука и спокойно берется продолжать начатое ими дело.

„Анатомию буржуазного общества следует искать в политической экономии" (Маркс).

Эти слова раскрывают нам тайну, которой не поняли до сих пор ни буржуазные экономисты ни буржуазные дарвинисты. Если буржуазные дарвинисты с презрением смотрят на политическую экономию и не хотят признать ее наукой, то они в данном вопросе могут свести счеты с буржуазными своими коллегами, к науке которых это вполне подходит.

Для нас же все дело приняло совершенно другой оборот с тех пор, как Маркс выступил со своей работой. Он сделал из политической экономии науку и воздвиг ее на таком прочном фундаменте, что мы в настоящее время имеем гораздо меньше спекуляций и гораздо больше достоверных знаний в области общественных наук, чем в какой-либо другой науке, занимающейся исследованием явлений жизни. Особенно в биологии и общей естественной науке часто прибегают к неопределенным и недоказанным гипотезам. Это буржуазные дарвинисты должны намотать себе на ус.

Для нас, пролетарских дарвинистов, весь вопрос имеет совершенно другой характер. Маркс открыл специфические законы экономического и политического развития у людей. Он раскрыл различие между экономическим разделением труда и биологическим разделением труда. Но ему при этом и в голову не приходило игнорировать труды Дарвина. Напротив, он великолепно сумел связать свои теории с дарвиновскими, нисколько не умаляя значения ни тех ни других. Обратимся для примера к следующему месту:

„Мануфактура создает на самом деле виртуозность работника специалиста, воспроизводя и систематически развивая до крайних пределов в самой мастерской то естественное обособление ремесл, которое она встречает уже в самом обществе. С другой стороны, превращение известной специальной работы в жизненное призвание человека соответствует стремлению прежних обществ сделать известные промыслы наследственными, распределить их по кастам, или втиснуть их в цехи, раз определенные исторические условия создают несогласное с кастовой организацией разнообразие индивидуумов. Касты и цехи имеют свое основание в том же самом естественном законе, который регулирует подразделение растений и животных на виды и подвиды, с тем только различием, что на известной ступени развития наследственная преемственность каст или исключительность цехов провозглашается, как общественный закон“ (К. Маркс. „Капитал“).

Маркс, таким образом, вполне определенно говорит, что передача по наследству какой-нибудь определенной способности от

одного поколения к другому создавала определенные профессиональные группы точно так же, как естественный подбор передает дальше определенные изменения у растений и животных и создает новые виды и подвиды, но он говорит также, что при достижении известной ступени развития проявляется сила общественного закона и превращает эти естественные группы в застывшие касты и неподвижные цехи. Он делает здесь *диалектический синтез* дарвинизма и марксизма. Но это последнее и другие подобные места принимались буржуазными дарвинистами, как доказательство биологического базиса экономии, они дошли даже до чудовищного взгляда, будто бы экономические классы или даже прибавочная стоимость и стоимость товаров суть биологические категории. Против такого взгляда с полным правом протестуют и марксисты и пролетарские дарвинисты.

Поскольку процитированное выше место дает повод к возражениям, эти возражения могут быть сделаны только в отношении биологической ее части, но не экономической. А в этом повинен уже дарвинизм, а не марксизм.

Сомнительно, передаются ли технические способности по наследству, а если это имеет место, то дарвинизм не дал еще достаточного об'яснения взаимных отношений между плазматическими и соматическими изменениями, благодаря которым это явление происходит.

Экономические и политические теории Маркса, напротив, выдержали испытание, и ни ревизионизм в социалистической партии, ни буржуазная критика вне ее не были в состоянии поколебать их основу. А этого буржуазные дарвинисты не могут говорить о многих своих теориях.

Никакой *биологический синтез* никогда не будет в состоянии об'яснить происхождение экономических классов и перевороты в хозяйственных системах. Марксовы теории, напротив, ясно показали, как методы производства изменяются в силу технического прогресса, как, благодаря ему, создаются новые экономические классы, возникают новые экономические категории, вызывается появление различных политических учреждений, меняются формы семьи, появляются законы, как, одним словом, все физиологическое и психологическое развитие человека движется по определенному направлению.

И, поскольку его работа дополнялась другими мыслителями, она не утратила своей цельности, но, напротив, стала еще более могучей.

Вольтманн Людвиг.

Биологический и экономический материализм.

Биологическим материализмом следует считать такое естественно-историческое понимание всего мира жизни, которое рассматривает виды растений и животных (включая сюда и человека) с точки зрения органического развития и определяет внешние материальные причины, обусловливающие это развитие. „Происхождение видов путем естественного подбора" (1859) *Дарвина* составляет центральный пункт этого учения о естественном развитии, предшественники которого *Ламарк* и *Жоффруа-Сент-Илер* во многих важных пунктах проложили путь дарвинизму. Ламарк (1809) утверждал, что виды лишь относительно постоянны и что они происходят из разновидностей. По его мнению, причинами превращения являются, главным образом, *изменение внешних условий жизни, а также употребление и неупотребление органов.* Он учил уже о животном происхождении человека, о возникновении человеческого рода из обезьяноподобных млекопитающих. Жоффруа-Сент-Илер искал материальных причин развития в окружающем мире, именно—в изменениях свойств атмосферы. Дарвин соединил положения, высказанные Ламарком и Сент-Илером, и прибавил к ним принцип *естественного подбора*, состоящий в том, что в борьбе за существование выживают лучше приспособленные особи и виды, путем унаследования передают свои лучшие свойства потомкам и, таким способом, образуют органическое происхождение нового вида. Дарвин так выражает этот принцип: «Вот общий закон, ведущий к прогрессу всех органических существ: размножайтесь, изменяйтесь, сильные да будут обречены на жизнь, слабые на смерть».

Позднее Дарвин ввел происхождение человеческого рода в естественный ряд последовательного развития видов и применил к происхождению и истории человеческого рода те же материальные причины, как и к происхождению и развитию других родов. Этим в первый раз было указано естественное положение человеческого рода в природе, и ясно, что такое учение должно было иметь огромное влияние на научное обсуждение истории человечества. Как бы ни были значительны труды предшественников Дарвина, все же он первый положил прочный фундамент для *естественной истории человечества.* Сам он в своей книге о „Проис-

хождении человека" дал очерк естественной истории развития человеческого рода, сделав рычагом исторического прогресса естественный подбор в борьбе за существование. Правда, он признает значение этого принципа в истории человека крайне осторожно, с некоторыми ограничениями. Однако, в общем, по его мнению, *борьба за пищу и борьба за обладание особью другого пола* являются в обществе побуждающей причиной органического и интеллектуального развития человеческого рода.

Но Дарвин и его ученики совершенно упустили из виду *экономический* момент в историческом развитии и влияние этого фактора на образование *социальных* и духовных отношений и учреждений, при которых совершается естественный подбор в борьбе за существование, принимая самые разнообразные формы.

Здесь обнаруживается пункт соприкосновения *биологического и экономического* материализма. Было уже указано, каким образом Маркс путем самостоятельных исследований пришел к научному пониманию истории человека, при чем метод его исследования был такой же, какой применял Дарвин к истории органического мира. Вскоре после обнародования учения Дарвина Маркс признал эту принципиальную связь и старался тверже обосновать свою экономическую теорию истории на общем фундаменте биологических наук.

Для Маркса и Дарвина причиной развития и прогресса в мире человека является *борьба за средства существования*, борьба за пищу, одежду и жилище, как говорит Маркс. Эта борьба составляет материальное основание всей высшей социальной культуры. Там дело идет о борьбе органических *видов*, здесь—о борьбе общественных *классов*. Там *органы* животных и растений, а здесь—*орудия и машины* определяют в борьбе за жизнь степень развития родов и соответственно—общественных форм. Как организмы, так и общества подвержены изменению и развитию. Так как в животном мире вместе с борьбой за пищу играет также значительную роль борьба за *размножение*, то Маркс, примыкая к исследованиям Моргана, позднее прибавил к своей экономической теории учение о непосредственном производстве жизни в брачных и семейных формах. Как в истории развития животных интеллектуальные способности ставятся в зависимость от стадии развития органического строения нервной системы, так в истории человека техника производительных сил и обусловливаемая ею экономическая структура составляют реальный базис для надстройки духовной жизни. Эволюционно-историческая связь органических и тех-

нических функций с принципиальной стороны изложена Марксом в „Капитале“.

В число экономических отношений в более широком смысле слова входят также *географические* и *климатические* условия существования, которые с своей стороны обусловливают состояние техники и через ее посредство стадию развития общественного образа жизни. В этом отношении и здесь существует естественная аналогия между биологическим и историческим материализмом. Предшественники материалистического понимания истории *Монтескье, Гердер, Вико, Кант* и *Бокль*, ставившие течение и стадии истории в зависимость от географических отношений, в силу этого должны быть причислены к биологическим материалистам. Ведь ясно, что климат, характер почвы, орошение, горы и долины, род почвы (металлы, пахатная земля, горные породы), растительный и животный мир,—все это играло необыкновенно важную роль в истории развития человеческого рода. Но при этой проблеме следует, конечно, обратить внимание на то, что отношение расы или общественной формы к естественному положению их мест обитания на земной поверхности представляет чрезвычайно сложный процесс, в котором действуют многочисленные разнообразные промежуточные члены; узнать их можно только посредством расчленения всей общей связи совокупной человеческой истории. Правда, есть также много *прямых* влияний, например, влияние явлений природы на религиозную фантазию, горных пород на образование пластического искусства, почвенных и температурных отношений на способность тела противостоять заразе; но большинство естественных влияний приводится в действие через посредство промежуточных членов, среди которых техника имеет наибольшее значение. Однако, необходимо также рассмотреть временные отношения такого рода, что определенные технические и духовные состояния являются результатом прежних внешних влияний тех мест обитания, которые давно уже оставлены, но действия которых закреплены в определенных социальных обычаях или духовных представлениях. Поэтому определенная раса или общество носят в себе унаследованные приспособления к прежним условиям существования, которые часто могут находиться в противоречии с современными условиями существования.

Когда Энгельс говорит, что *раса есть экономический фактор*, то это правильно только в смысле дарвиновской теории и притом постольку, поскольку раса в истории своего происхождения

указывает на прежние экономически-географические причины и в своем определенном историческом действии становится решающим фактором посредством своей экономической производительной силы или своей военной ловкости. Конечно, военное превосходство обусловливается, главным образом, *вооружением,* стадия развития которого зависит от промышленного труда. Но, сама по себе, раса есть *физиологический фактор,* имеющий решающее значение именно в первобытных отношениях, когда вооружение крайне примитивно и мало диференцировано. Поэтому Маркс также признает самостоятельное значение расы: „Помимо более или менее развитого вида общественного производства, производительность труда зависит от *естественных условий.* Их все можно свести на *природу самого человека,* как то: *расу* и т. д., и окружающую человека природу. Внешние естественные условия распадаются экономически на два больших класса: естественное богатство, состоящее в *средствах жизни,* следовательно, плодородие почвы, рыбные бассейны и т. д., и естественное богатство, состоящее в *средствах труда,* как то: живая сила падения воды, судоходные реки, дерево, металл, уголь и т. д.

Как Дарвин в своем очерке естественной истории человеческого рода позабыл *экономический момент,* так Маркс (я уже показал это в другой книге) хотя и не совсем оставил без внимания *органическое* понимание истории, но все же оценил его не в такой степени, как это следует считать необходимым. Правда, я указал выше, что „Капитал" пропитан биологическими элементами естествознания, что Маркс до известной степени был приверженцем органической социологии и причислял расу к естественным условиям общественного труда. Но все же в материалистической теории истории отступает на задний план специальное исследование того, „имел ли, вообще, влияние естественный подбор в экономической борьбе особей и классов, почему он не мог действовать и что его заменило".

Маркс и Энгельс не поставили вопроса в этом точном смысле. Все же в их трудах встречаются иногда положения, в которых капиталистическая конкуренция сравнивается с учением Дарвина о борьбе за существование, а возникновение классов ставится в параллель с происхождением видов.

Энгельс дал однажды такую характеристику капиталистической конкуренции: „Между отдельными капиталистами, как и между целыми отраслями промышленности и целыми странами, благоприятные естественные или искусственные условия производ-

ства решают вопрос о самом существовании. Побежденный без пощады устраняется. Это *дарвиновская борьба за существование особи*, с увеличенной яростью перешедшая из природы в общество. *Естественный исходный пункт животного* является заключительным пунктом человеческого общества". (Анти-Дюринг, стр. 260). То же говорит Маркс в „Капитале" (стр. 358): „Мануфактурное разделение труда подразумевает безусловный авторитет капиталиста над людьми, образующими простые члены принадлежащего ему совокупного оргинизма; общественное разделение труда противопоставляет друг другу независимых товаропроизводителей, не знающих никакого другого авторитета, кроме конкуренции, кроме давления, оказываемого на них их взаимными интересами, *подобно тому, как в животном царстве bellum omnium contra omnes (война всех против всех) более или менее сохраняет условия существования всех видов*".

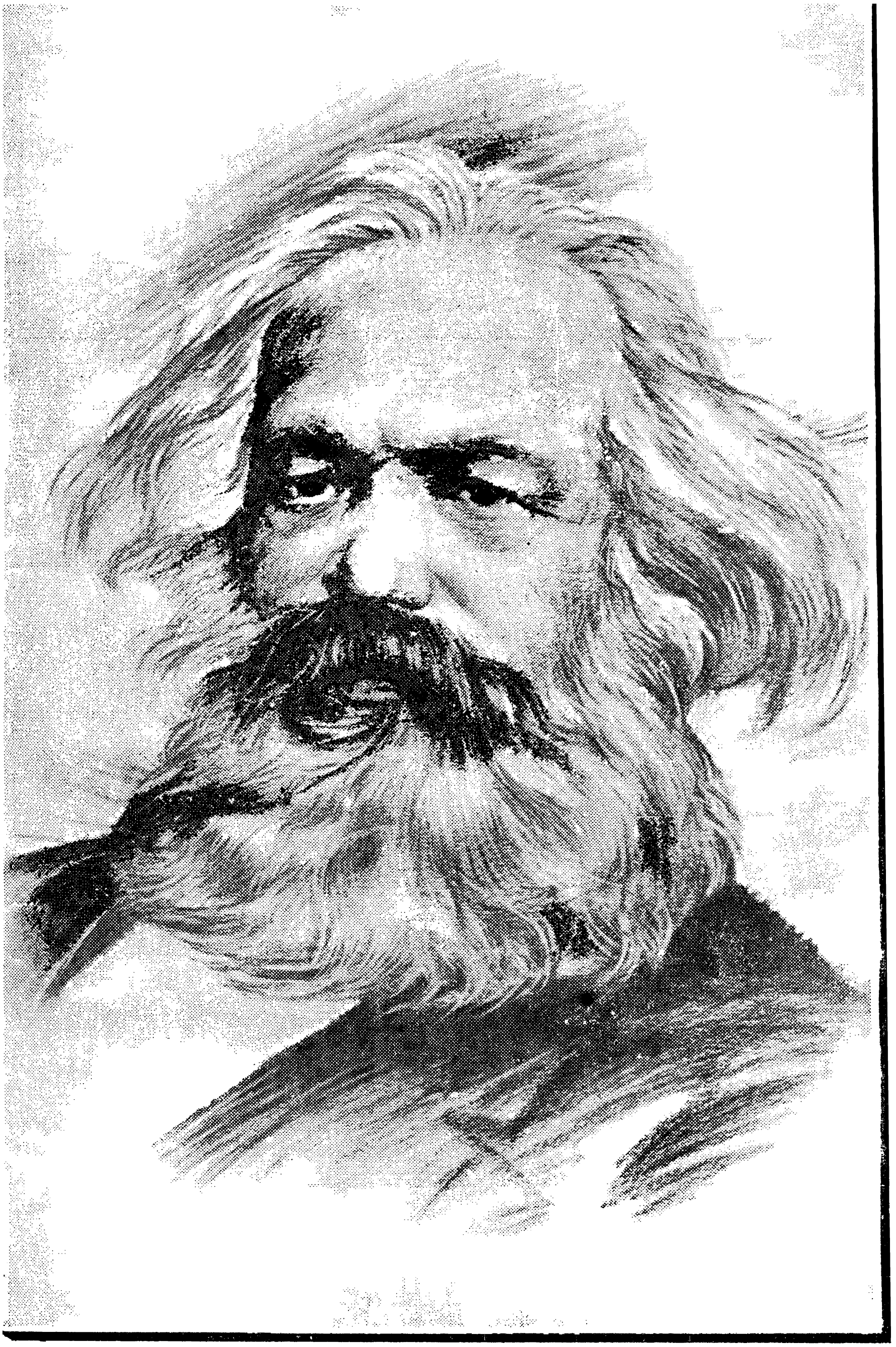
В этих положениях проводится непосредственная аналогия между органической конкуренцией в царстве животных и экономической конкуренцией в человеческом обществе. Можно согласиться с этим сравнением только в его самом общем виде, поскольку в обоих областях жизни происходит борьба в виде конкуренции, приводящая к победе, гибели или равновесию действующих в противоположную сторону сил. Однако, нельзя толковать эту аналогию в смысле *специфического дарвинизма*, в смысле естественного подбора в борьбе за существование; дело в том, что таким образом можно впасть в ошибки односторонней дарвинистической теории общества, во вкусе Спенсера, Геккеля, Аммона, Циклера и других. Следует отказаться от грубого механического перенесения принципов Дарвина в общественную жизнь человечества. В другой своей книге я указал источники ошибок такого рода взглядов, а именно: что со времени возникновения *деятельности с помощью орудий* и основывающегося на этом рассудочного развития *интеллекта* условия развития животных изменились так, что уже невозможно проводить прямую аналогию между органическим и социальным развитием. Поэтому я высказываю догадку, что Маркс и Энгельс в цитированных положениях скорее хотели только отметить презренную сторону капитализма, его *зверский* характер. Без сомнения, они не думали при этом о принципе *совершенствующего подбора*. Вообще, в произведениях Маркса нет понятия естественного подбора в его применении к людям. Только однажды Маркс приводит в „Капитале" одно место из „Происхождения видов" Дарвина в примечании, где проводит аналогию между образованием органов у животных и растений пу-

тем естественного подбора и развитием человеческих орудий („Das Kapital“ т. I, стр. 341).

Однако, применение принципа естественного развития к социальной истории содержится в следующем положении, имеющем важное значение: „*Касты и цехи возникают по тому же естественному закону, который регулирует разделение растений и животных на виды и подвиды*, с тем только различием, что на известной стадии развития наследственность каст или монополия цехов декретируется, как общественный закон“ (стр. 399). Нельзя целиком согласиться с этим положением. Возникновение видов не такой же процесс, как происхождение классов, борьба видов не то же, что борьба классов. Органическому процессу следует приравнять скорее историю возникновения человеческих рас. Но я предполагаю, что в данном месте Маркс понимал под естественным законом, который он применяет к социальному образованию классов, только общий принцип развития, а не дарвиновский принцип подбора. Дело в том, что хотя в этих положениях Маркс употребляет биологические аналогии, но социальные отношения совсем не были для него вытекшими из самой природы отношениями, так что он наперед должен был удалить из социальной истории принцип естественного подбора людей.

Мое предположение подкрепляется еще следующим основным положением: „*Природа* не создает, с одной стороны, владельцев денег или товаров, а с другой—владельцев только собственных рабочих сил. *Отношение это совсем не естественно-историческое, столь же мало оно общественное отношение, которое было бы общим для всех исторических периодов.* Очевидно, оно само результат предшествующего исторического развития, продукт многих экономических переворотов, гибели целого ряда прежних формаций общественного производства“ (стр. 146). Хотя в „Капитале“ встречается своего рода личный подбор по отношению к генезису капиталистического арендатора и промышленника-капиталиста в борьбе за общественное положение, но, несомненно, согласно приведенным основаниям, этот подбор не понимается, как естественный.

Как там ни толковать положения Маркса, все же вполне верно, что, с одной стороны, он не продумал до конца проблему об отношении животного развития к человеческому, но, с другой стороны, старался принципиально ввести свою экономическую теорию общества и истории в общее учение о биологическом развитии.



Карл Маркс.

Паннекук Антон.

Марксизм и дарвинизм.

I. Дарвинизм.

Быть может, никто не имел большего влияния на человеческий ум во второй половине девятнадцатого века, как Маркс и Дарвин. Их наука революционизировала взгляды людей на мир. Через десятки лет их имена переходили из уст в уста, а их учения стали центральным пунктом той умственной борьбы, которая сопровождает классовую борьбу нашего времени.

Научное значение дарвинизма и марксизма состоит в том, что они развивают теорию эволюции: дарвинизм в органическом мире, мире животных, а марксизм в социальной жизни. Теория эволюции, однако, не была новой; она имела приверженцев до Дарвина и Маркса. Философ Гегель сделал ее центральным пунктом своей философии. Поэтому требуется рассмотреть, какими особенностями своих исследований выдвинулись Дарвин и Маркс.

Теория происхождения одного растения от другого, одного животного от другого уже была известна в начале девятнадцатого века. Тогда на вопрос: „Откуда взялись эти сотни тысяч разнородных растений и животных, которые мы видим“,—отвечали: „Во время сотворения мира бог сотворил их каждый род в отдельности“. Эта примитивная теория была в полном согласии с понятиями наших предков и с вековыми стародавними традициями. Традиции эти говорили, что все известные растения и животные всегда были одинаковыми. В тогдашней науке это понятие выражалось так: „Все роды растений и животных неизменяемы, так как родственники передают потомству свои признаки“.

Однако, скоро найдены были среди растений и животных такие черты, которые заставили естествоиспытателей несколько изменить свой взгляд на это дело. Растения и животные прекрасно дали себя уложить в систему, которую впервые открыл шведский ученый Линней. На основании его системы, все животные делятся на пять главных групп, эти группы на классы, классы на отряды, отряды на роды, роды на виды, а каждый вид обнимает несколько разновидностей. Чем больше сходных признаков имеют животные, тем ближе стоят они одно к другому в системе Линнея. Все животные, принадлежащие к группе млекопитающих, имеют общие

особенности в строении тела. Травоядные, плотоядные и обезьяны, каждые в отдельности, принадлежат к разным отрядам на основании различия их питания. Медве́ди, собаки и кошки, являющиеся хищными животными, имеют много общих признаков в строении своего тела, каких не имеют лошади или обезьяны. Сходство одних с другими еще более очевидно, если рассматривать разных животных одного семейства; кошка, тигр и лев напоминают друг друга и в то же время отличаются от собак и медведей.

Если мы оставим класс млекопитающих и перейдем к другим классам, например, к рыбам и птицам, то мы здесь найдем еще больше отличий от других классов. Однако же, и между ними есть сходство в строении тела: позвоночник и нервная система. Эти признаки исчезают только тогда, когда мы от группы *позвоночных* перейдем к другой группе, *беспозвоночных*, т. н. „мягкотелых“ животных.

Таким образом, весь мир животных может быть разделен на группы, а группы на еще меньшие части. Если бы каждый род животных был сотворен независимо один от другого, то такое деление было бы невозможно.

То обстоятельство, что такое деление на группы, классы и т. д. возможно, позволяет нам допустить, что в дни сотворения мира бог принял систему Линнея, как план своего сотворения. Однако же, к счастию, мы имеем другой способ об‘яснения всего этого. Именно, *сходство в строении тела может быть результатом родства.* На основании этого взгляда, единство признаков у животных указывает нам, в какой степени они родственны, так же, как сходство братьев и сестер есть доказательство их родства. Таким образом, *все роды животных не были сотворены каждый в отдельности, а произошли одни от других.* Все семейства котов выводятся их одного первичного кота, который как и первичная собака или медведь, происходит от одного соответственного хищного первичного животного.

Эта теория происхождения еще до Дарвина была об‘явлена Ламарком и С.-Илером. Однако, она тогда не нашла широкой поддержки. Эти ученые в то время не могли доказать правильность своей теории, а потому они ограничились лишь гипотезой, т. е. предположением. Когда же появился Дарвин со своею книгой „Происхождение видов“, его теория эволюции была принята сейчас же, так как она была поддержана неопровержимыми доказательствами. С того времени эволюционная теория всегда связана с именем Дарвина. Почему это так?

Отчасти это потому, что ученые путем опыта собрали много материала, служащего подтверждением этой теории. Найдены животные, которые не могли быть причислены ни к одному из существующих классов, как, например, однопроходные млекопитающие (т. е. животные, несущие яйца и в то же время кормящие детенышей молоком), рыбы с легкими и беспозвоночные животные. Теория происхождения родов об'ясняла это таким образом, что вновь найденные животные являются остатками животных переходного периода. Также выкопано из земли много остатков животных, которые имели совсем иной вид, чем наши животные. Это было доказательством того, что первичные животные имели совсем другой вид, а нынешние животные развивались от них постепенно. Позднее найдена теория клеток, утверждающая, что каждое растение, каждое животное складывается из миллионов маленьких клеточек, которые развились из одной клетки путем беспрерывного деления. Когда достигнута была это степень в науке, тогда утверждение, что наивысше развитый организм произошел от самого низшего, имевшего только одну клеточку, совсем не было удивительным.

Однако же, все эти исследования не могли еще поднять эту теорию до степени неопровержимой истины. Лучшее доказательство ее правильности мы имели бы тогда, когда перед нашими глазами совершился бы переход одного рода животных в другой, чтобы мы сами могли в этом убедиться. Это может быть только тогда, когда будет найдена причина, вызывающая эту перемену. Это сделал Дарвин. Дарвин открыл механизм развития животных и доказал, что при соответственных условиях одни виды животных переходят в другие виды.

Разрешение этого вопроса Дарвин нашел в „борьбе за существование". Эта теория „борьбы за существование" является результатом состояния производственной системы того времени, когда жил Дарвин; так как это была борьба—капиталистическая конкуренция, послужившая ему примером. Он дошел до нее после прочтения трудов экономиста Мальтуса. Мальтус старался доказать, что в нашем буржуазном мире оттого царит такая нужда, голод и опустошение, что человечество растет быстрее, чем средства существования. Недостаток пищи вынуждает людей бороться за хлеб и в этой борьбе много людей погибает. На основании этой теории капиталистическая конкуренция и существующая нужда были оправданы (с буржуазной точки зрения), как результат неумолимого закона природы.

Правда, что животные родятся в большем числе, чем существующие запасы пищи позволяют им выжить. Нет исключений из правила, что все органические существа стремятся к быстрому размножению, что наша земля скоро была бы покрыта многочисленным потомством каждой пары родителей, если бы оно не погибало. И именно по этой причине наступает борьба за существование. Каждое животное, желающее жить, старается добыть себе лучшую пищу и остерегается, чтобы другие звери его не сожрали. При помощи своих особенностей и оружия оно ведет борьбу со всем враждебным ему миром, с животными, с голодом, с зноем с жаждой, с водой и другими природными опасностями, какие могут угрожать его жизни. Но прежде всего оно ведет борьбу с животными своего собственного рода, которые живут таким же способом, имеют одинаковые признаки, пользуются тем же оружием и питаются той же пищей. Кто же является победителем в этой борьбе? Очевидно, те, которые, благодаря своим признакам, соответственному строению своего тела, наиболее приспособлены, чтобы найти для себя пищу и обороняться от врага; иными словами: *останутся в живых те, которые лучше соответствуют существующим условиям.*

Тут мы имеем об'яснения происхождения, к примеру, жирафы. В местах где не растет трава, животные должны питаться листьями с деревьев и все те животные, у которых короткие шеи, чтобы достать листья, должны погибнуть. Так сама природа делает выбор и выбирает тех, у кого длинные шеи. Дарвин называет этот процесс в природе „естественным подбором".

Этот процесс по необходимости дает новые виды. В виду того, что каждый род животных размножается быстрее, чем пополняется запас пищи, — он вечно старается занять больший участок земли. В целях добывания пищи лесные животные выходят в поле, живущие на земле идут в воду, а полевые взбираются на деревья. Среди этих изменений жизненных условий изменение внешности животных неизбежно. Эти разновидности накопляются, чем дальше, тем больше, и из старых видов развиваются новые.

Так Дарвин первый об'яснил нам, как новые виды беспрерывно развиваются из прежних. Теория происхождения, которая до того была лишь предположением для об'яснения некоторых явлений, которые не могли быть об'яснены другим способом,— теперь стала определенной, доказуемой при помощи определенных данных. Это главная причина, из-за которой эта теория добилась первого места в научном споре и привлекла всеобщее внимание.

II. Марксизм.

Если мы обратим внимание на марксизм, то увидим в нем большое сходство с дарвинизмом. Так же, как и Дарвина, заслуги Маркса в том, что он открыл силу, вызывающую общественное развитие. Он не требовал доказательств, что такое развитие существует; все знали, что с давних пор новые формы общественного устройства занимали место старых, но не была известна причина и цель этого развития. В своей теории Маркс начинает от всех революций, происходивших при нем. Все знали, что великая политическая революция, давшая Европе определенное направление—французская революция,—была борьбой за власть, которую вела буржуазия против дворянства и короля. В Англии политическую борьбу вели капиталисты-фабриканты против власти земельных собственников; одновременно рабочий класс восстал против буржуазии. Какие это были классы, чем отличался один от другого? *Маркс доказал, что классовые противоречия были вызваны ролью, которую каждый класс играл в производственном процессе* Классы ведут начало из производственного процесса и это именно тот процесс производства, который определяет классовую принадлежность каждого. Производство есть не что иное, как процесс коллективного труда, при помощи которого люди добывают себе средства к пропитанию. Не что иное, как производство материальных средств жизни, строит форму общественности и дает направление политической и общественной борьбе.

Способ производства беспрерывно изменялся с течением времени. Откуда же взялось это изменение? Род труда и отношение одного класса к другому зависит от средств производства, от развития техники и, вообще, от средств производства. В средние века люди употребляли простейшие орудия, они имели тогда мало развитую промышленность и феодализм, а теперь мы имеем капитализм и машинное производство; это является главной причиной того, что в то время феодальное дворянство и мелкая буржуазия были двумя главными классами, в то время, как теперь такими классами является буржуазия и пролетариат.

Таким образом, главной причиной развития общественности является именно развитие орудий, которыми люди пользуются при работе. Ясно, что люди стараются с каждым разом усовершенствовать эти орудия так, чтобы им было легче работать и чтобы работа была улучшенной, а практикой, которую они набирают, употребляя эти орудия, довести производство до высокой степени усовершенствования. Соответственно развитию техники в

производстве развиваются также формы общественного труда, а это ведет к новому соотношению классов, к новым общественным установлениям и к созданию новых классов. Одновременно наступает социальная, т. е. политическая борьба. Те классы, которые держали власть при старом способе производства, стараются всякой ценой удержать старые институции в то время, как новые классы стараются ввести в жизнь новые способы производства; начинается борьба класса унгетенного против господствующего и класс угнетенный, одерживая победу над господствующим, тем самым пробивает путь дальнейшему свободному развитию техники.

Таким образом, теория Маркса открыла движущую силу общественного развития. Эта теория доказывает, что история не есть нечто нерегулярное и что разные общественные формы не есть результат какого-нибудь случая, а что в ней есть определенное развитие в данном направлении. Эта теория доказывает также, что развитие общественности не кончается нынешней формой общественной жизни, а будет дальше развиваться потому, что развивается техника.

Путем исследований Дарвин и Маркс, один—в мире органическом, другой—в человеческом общежитии, завоевали для теории эволюции место среди положительных наук. Этим путем они сделали эту теорию доступной для масс, как основное положение социального и биологического развития.

III. Марксизм и классовая борьба.

Если бы экономическое учение Маркса не имело никакого применения в нынешней классовой борьбе, то определенно можно сказать, что только несколько ученых экономистов тратили бы время на изучение трудов Маркса. Но так как марксизм служит пролетариату оружием в его борьбе против капитализма, вокруг этой теории идет жестокая борьба также среди широких масс. Поэтому имя Маркса почитается миллионами пролетариата, который даже слабо знает про марксизм, с другой стороны, тысячи ненавидят Маркса, хотя понятия не имеют об его учении. Благодаря той роли, которую марксизм играет в классовой борьбе, его старательно изучают широкие массы рабочих и становятся его сторонниками.

Пролетарская классовая борьба еще существовала до Маркса, так как она является плодом капиталистической эксплоатации. Вполне естественно, что эксплоатируемые рабочие желали

иного общественного строя, в котором всякая эксплоатация была бы уничтожена. Однако, у них все кончалось идеями и желаниями. Они были неопределенны и не были уверены в том, возможен ли иной строй и наступит ли он. Маркс дал теоретический фундамент для рабочего движения и социализма. Его социальная теория доказывает, что общественные формы находятся в беспрерывных изменениях и что капитализм есть только временная форма. Его изучение капитализма доказывает, что, *благодаря беспрерывному развитию и усовершенствованию техники, капитализм в конце-концов должен будет уступить место социализму.* Этот строй может быть введен пролетариатом через борьбу с капиталистами, в интересах которых задержать старую систему производства. Таким образом, социализм является результатом и целью классовой борьбы.

Благодаря Марксу, пролетарская классовая борьба приняла совсем иную форму. Марксизм стал оружием в руках пролетариата; вместо неопределенных надежд, он дал вполне ясную цель. Указывая на общественное развитие, он придал пролетарской борьбе силу и одновременно дал основание для построения успешной тактики и программы. Только при помощи марксизма рабочие могут доказать, что капитализм должен исчезнуть и что победа пролетариата неизбежна. Марксизм также положил конец старым утопическим взглядам, по которым социализм может быть проведен в жизнь при помощи разума и доброй воли нескольких разумных лиц, как будто социализм был бы результатом нашего желания справедливости и морали, как будто предметом наших стремлений было святое и совершенное общество. Нет, справедливость и мораль изменяются одновременно с изменением способа производства и каждый класс иначе понимает справедливость и мораль. Социализм может быть проведен в жизнь лишь тем классом, который заинтересован в социализме; и тут речь идет не о создании совершенного общества, а о переходе способа производства на высшую ступень, т. е. о замене капиталистического способа производства социалистическим.

Так как теория Маркса об общественном развитии необходима пролетариату в его классовой борьбе, пролетариат делает эту теорию частью своего собственного организма; она владеет его умом, его чувствами, его мировоззрением. Именно потому, что марксизм является теорией социального развития, в центре которого мы стоим,—марксизм стал центральным пунктом того великого умственного движения, которое сопровождает экономическую революцию нашего времени.

IV. Дарвинизм и классовая борьба.

Все согласны с тем, что марксизм занял видное и важное положение, благодаря той роли, которую он играет в классовой борьбе. С дарвинизмом на первый взгляд дело обстоит иначе, так как дарвинизм имеет дело с новой научной истиной, имеющей целью бороться с религиозными предрассудками и темнотой. Однако, при более внимательном его рассмотрении мы увидим что марксизм должен был пойти тем же путем, что и дарвинизм. Дарвинизм не абстрактная теория, которую приняли, убедившись в ее правильности. Наоборот, сейчас же при ее появлении она имела горячих сторонников и ярых противников; имя Дарвина, как и имя Маркса, было почитаемо теми, кто понял его теорию, и ненавистно тем, кто знал о нем не больше, как то, что „человек происходит от обезьяны“; эти люди определенно не были способны судить о правильности или неправильности теории Дарвина с научной точки зрения. Таким образом, дарвинизм тоже сыграл роль в классовой борьбе и, только благодаря этой роли, он распространился по всему свету и нашел горячих сторонников и заядлых противников.

Дарвинизм сначала служил оружием в руках буржуазии (мещанства) в ее борьбе против феодального класса, т. е. против дворянства, привиллегированного духовенства и кулаков. Конечно, это была совсем иная борьба, чем та, которую теперь ведет пролетариат. Буржуазия не была угнетенным классом, стремящимся к уничтожению эксплоатации. Нет, буржуазия хотела избавиться от старого господствующего класса, который стоял ей на дороге. Буржуазия сама хотела господствовать, опираясь в своем желании лишь на то, что она была важнейшим классом, руководителем промышленности. Какими аргументами мог выступить старый класс, ставший в то время ненужным паразитом. Он опирался на традиции, на стародавние права, данные богом. Это были его столпы. При помощи религии попы держали широкие массы под гнетом и настраивали их враждебно против мещанства.

Поэтому в интересах буржуазии было подкопаться под „божьи права“ старых господ. Естественные науки стали оружием в борьбе против веры и традиции; буржуазия боролась, употребляя в свою пользу науку и новооткрытые законы природы. Если бы новые открытия могли доказать, что учение попов лживо, тогда поповский „божий“ авторитет рассыпался бы в прах и „божьи права“, которыми тешился класс феодалов, исчезли бы.

Дарвинизм явился во-время; теория Дарвина уничтожила основу христианской догмы. Поэтому буржуазия с большим пылом приняла дарвинизм, как только он появился.

Совсем иначе было в Англии. Здесь мы опять видим, какую важную роль играл дарвинизм в классовой борьбе. В Англии буржуазия уже была господствующим классом в течение нескольких столетий; она не требовала уничтожения религии. Поэтому теория Дарвина не имела такого влияния в Англии, хотя англичане были хорошо с ней знакомы. Она осталась научной теорией без значительного практического влияния. Сам Дарвин иначе и не смотрел на свою теорию; он боялся, что она может потрясти религиозные предрассудки того времени и потому обходил ее применение к людям. Позднее, когда это уже сделали другие, тогда и Дарвин заговорил о происхождении человека от низшего животного. В письме к Геккелю он жалуется, что его теория должна преодолеть столько предрассудков, что он не надеется еще при жизни видеть успехи ее в этой борьбе.

Совсем иное дело было в Германии. Геккель ответил Дарвину, что его теория нашла в Германии горячие приветствия. Случилось так, что как раз во время появления теории Дарвина немецкая буржуазия подготовляла новую атаку на абсолютизм и дворянство. Свободомыслящая буржуазия была под руководством интеллигенции. Эрнст Геккель—великий ученый,—еще с большей смелостью написал книгу под названием „Творение природы", в которой он, на основании теории Дарвина, сделал далеко идущие выводы. Поэтому дарвинизм, с одной стороны, встретил горячие отклики среди либеральной буржуазии, а с другой стороны—вражду реакционеров.

Такая же борьба имела место в других европейских странах. Везде прогрессивная буржуазия должна была вести борьбу с реакционными, темными силами. Эти реакционеры держали в своих руках всю власть при помощи религии. В таких условиях даже научный спор велся с большой горячностью, которая бывает только в классовой борьбе. Книги, защищающие или опровергающие Дарвина, имеют характер общественного спора, независимо от того, что их писали исследователи законов природы.

Борьба, которую вела буржуазия против феодализма, не была доведена до конца. Это случилось отчасти потому, что везде появился социалистический пролетариат, который угрожал всем господствующим классам, включая и буржуазию. Либеральная

буржуазия уже сожалела о своем шаге, а реакционные элементы подымались чем дальше, тем выше в гору. Прежняя горячность в борьбе против религии совершенно исчезла и хотя либералы и реакционеры и дальше враждовали между собой, но в действительности они все больше сближались между собой. Интерес, который раньше питала либеральная буржуазия к естественным наукам, так как они ей служили в классовой борьбе, теперь, когда опять обнаружились старые реакционные стремления навязать массам религию, совсем исчез.

Взгляды на естественные науки тоже изменились. Раньше либеральная буржуазия опиралась на науку в своем материалистическом миропонимании; в этом об'яснении она видела разрешение мировых загадок. Но теперь мистицизм снова начал овладевать умами; все, что было об'яснено, считалось неважным, а все, что было окружено тайной, считалось великим, возвышенным, самой сущностью жизни. Вместо прежнего одушевления наукой, пришел скептицизм и сомнение.

Это также отозвалось и на положении, занятом теорией Дарвина. „Что доказывает эта теория?—спрашивали некоторые: Она оставляет неразрешенной вечную мировую загадку". Откуда берется „передача" признаков по наследству, откуда происходит способность живых существ „уклоняться от своего рода".

Тут есть та жизненная мистическая загадка, которой не разрешают механические принципы,—говорили противники дарвинизма. Вот что осталось от дарвинизма в свете позднейшей критики.

Разумеется, научные опыты продолжали идти вперед. Разрешение одного вопроса раскрывает много новых, ожидающих своего разрешения. Теория наследственности Дарвина подвергалась, как и теория борьбы за существование, широкой дискуссии. В то время, как одни ее защищали, Вейссман и другие оспаривали ее. Реакционеры „ученые" утверждали, что „душевный элемент" является необходимым для развития вселенной. Сверх'естественное и мистическое заняло место дарвинизма, и либеральная буржуазия, недавно боровшаяся под знаменем дарвинизма, становилась с каждым разом более реакционной.

V. Дарвинизм и социализм.

Дарвинизм оказал большую услугу буржуазии в ее борьбе со старыми господствующими классами. Поэтому было совершенно естественно, что буржуазия начала пользоваться также дарвинизмом в борьбе с пролетариатом не потому, что пролетариат вра-

ждебно относится к дарвинизму, а, наоборот, что пролетариат принял эту теорию за свою. Как только появился дарвинизм, передовой авангард пролетариата, социалисты, приветствовали ее с воодушевлением, так как они видели в дарвинизме подтверждение и дополнение их собственной теории. Они не строили своего социализма на дарвинизме, но открытие Дарвина считали подтверждением и дополнением к теории Маркса об общественном развитии.

Однако же, не было совсем удивительно, что буржуазия использовала дарвинизм для борьбы с пролетариатом. Когда либеральная буржуазия атаковала реакционеров, тогда реакционеры, указывая на пролетариат, предостерегали буржуазию, что эти нападки могут довести до совершенного уничтожения всякого авторитета.

На одном конгрессе натуралистов реакционный политик и „ученый“ Вирхов нападал на дарвинизм за то, что он поддерживает социализм. „Будьте осторожны с этой теорией,—говорил Вирхов дарвинистам,—так как эта теория очень приближается к той теории, которая наделала столько зла в соседней стране“. Этот намек на Парижскую коммуну, сделанный во время страшных преследований социалистов властями, должен был иметь значительное влияние. Этот упрек, сделанный Геккелю, защитнику дарвинизма, будто он был в союзе с красными французскими революционерами, очень обеспокоил последнего. Он не хотел ничего общего иметь с теми революционерами. Поэтому он на конгрессе пытается доказать, что собственно теория Дарвина указывает на невозможность исполнения социалистических стремлений и что дарвинизм и социализм согласуются так, как „огонь с водою“.

Пересмотрим вкратце аргументы Геккеля, главные мысли которого встречаются у всех литераторов, которые основывают свою критику социализма на дарвинизме. Социализм—это теория, которая утверждает, что все люди по природе равны, и стремится к уравнению людей также в общественной жизни; равные права, равные обязанности, равное пользование благами, равные удовольствия—это социализм. Дарвинизм же является научным доказательством неравенства. Теория происхождения доказывает, что развитие животных идет по направлению все большего распределения труда; чем больше развито животное, тем больше неравенства между ним и другими животными. То же относится к общественности. Тут тоже есть распределение труда между классами и, чем выше мы стоим в общественном развитии, тем больше раз-

ницы и неравенства в зависимости от ловкости и таланта. Поэтому то теория происхождения является „лучшим оружием в борьбе против стремлений социалистов сделать всех людей равными". Такой же смысл, даже еще в большей мере, придается теории Дарвина о „борьбе за существование" и о „победе сильнейшего". Социализм хочет уничтожить конкуренцию и борьбу за существование. Дарвинизм же учит, что эта борьба является неизбежной и что это есть закон природы, обязательный для всего органического мира. Эта борьба вызывает беспрерывное совершенствование, состоящее в том, что все негодные для жизни гибнут. Лишь избранное меньшинство, те, которые приспособлены вести конкуренцию, остаются жить; огромное большинство должно погибнуть. „Много званных, а мало избранных". Борьба за существование кончается победой наиболее приспособленных, а слабые и неприспособленные гибнут.

Геккель в 1892-м году говорил: „Дарвинизм или теория подбора является целиком аристократической, она основана на победе наиболее приспособленных. Распределение труда, вызванное развитием средств производства, вызывает все большее развитие характеров, все большее неравенство между отдельными личностями в зависимости от деятельности их, воспитания и жизненных условий. Чем больше развивается культура, тем больше разница и пропасть между классами в обществе. Коммунизм и стремления социалистов к уравнению житейских условий и деятельности всех людей,—есть стремление к возвращению в варварство."

Английский философ Герберт Спенсер еще перед Дарвином имел готовую теорию развития общества. Это была теория буржуазного индивидуализма, основанная на борьбе за существование. Позднее он стремился к согласованию своей теории с дарвинизмом. „В мире животных, говорил Спенсер, старые, слабые и больные погибают, а в живых остаются только сильные и здоровые. Таким образом, борьба за существование очищает расу и охраняет ее от падения. Если бы борьба за существование прекратилась и если бы каждый был уверен в своем существовании без всякой борьбы, тогда раса, бессомненно, должна была бы придти в упадок. Помощь, уделяемая больным, слабым и неприспособленным, является причиною вырождения. Если сочувствие, выражением которого есть милостыня, переходит границы, тогда оно бьет мимо цели; вместо уменьшения, оно увеличивает страдания целых поколений. Наилучшие последствия борьбы за существование можно видеть на хищных животных. Все они сильны и здоровы, так как

должны были преодолеть бесчисленные препятствия и опасности, а те, которые не могли их побороть, должны были погибнуть. Между людьми и домашними животными так часто господствует слабость и болезнь потому, что слабых и больных берут под особую опеку. Социализм, стремящийся к уничтожению борьбы за существование в человеческом мире, конечно, должен также вызвать общий интеллектуальный и физический упадок".

Это главные аргументы тех, которые употребляют дарвинизм для защиты буржуазной системы, капиталистического строя. На первый взгляд эти аргументы кажутся очень сильными, но, несмотря на это, социалистам совсем не было трудно опровергнуть их. В большей части это те самые аргументы, которыми давно уже пользовались против социализма облеченные в новую одежду дарвиновой терминологии, и эти аргументы обнаруживают целиком незнакомство с социализмом и капитализмом тех, которые с ним ведут борьбу.

Те, которые сравнивают общественный организм с животным организмом, забывают, что люди не отличаются один от другого настолько, насколько различаются между собою клетки или целые организмы, но различия между людьми основаны на развитии их дарований. В обществе распределение труда не может идти так далеко, чтобы все таланты падали жертвою какого-нибудь одного крупного таланта. Еще больше, каждый, кто хоть немного понимает социализм, тот знает, что общественное распределение труда будет в нем также иметь место и что в действительности только в социализме возможно справедливое распределение труда. Разница между работниками, их дарованиями и занятиями не исчезнет; *только разница между рабочими и эксплоататорами должна совершенно исчезнуть.*

В то время, как в борьбе за существование те звери, которые здоровы и сильны, выживают,—ничего подобного не осуществляется при капиталистической конкуренции. Тут победа зависит не от способности тех, которые ведут борьбу, а зависит от вещей, лежащих вне их собственных особ. Хотя в борьбе мелкой буржуазии в значительной степени победа зависит от ее способностей и особенностей, но в дальнейшем развитии капитализма победа не зависит уже от личных способностей, а от самого капитала. Кто владеет большим капиталом, побьет того, кто имеет меньший капитал, несмотря на то, что последний может быть гораздо способнее первого. Таким образом, не личные особенности, а деньги решают, кто победит в борьбе конкуренции. Когда гибнут мелкие капиталисты,

то гибнут не физически, как люди, а как капиталисты; они не вычеркнуты из списка живых, а только капиталистов. Они продолжают свое существование, но не как буржуа. Поэтому, как видим, конкуренция в капиталистической системе является чем то совсем другим и имеет другие последствия, чем борьба за существование у животных.

Люди, которые гибнут, являются членами совсем другого класса, класса, не принимающего участия в конкуренции. Рабочие не конкурируют с капиталистами, а только продают свою рабочую силу капиталистам. Благодаря тому, что рабочие не владеют никакой частной собственностью, они не имеют возможности меряться своими способностями в борьбе с капиталистами. Они бедны и нуждаются не потому, что по слабости своей они потерпели поражение в борьбе, а потому, что им очень мало платят за их рабочую силу; это является причиной того, что их дети, несмотря на то, что родятся здоровыми и сильными, гибнут тысячами, а дети богатых родителей, хоть немощные и больные, остаются жить, благодаря уходу и врачебной помощи. Не потому дети нищих гибнут, что они немощны и больны, а совсем по другой причине: их убивает капитализм, создающий для них убивающие жизненные отношения эксплоатацией, понижением заработной платы, безработицей, кризисом, скверными помещениями и долгими годами труда. Капиталистический строй является причиной смерти такого большого числа сильных и здоровых.

Таким образом, социалисты доказывают, что в противоположность животному царству конкуренция и борьба между людьми не оставляют в живых наилучших и способнейших, но губит много сильных и здоровых потому, что они бедны; а богатые, несмотря на немощность и болезни, выживают. Социалисты доказывают, что не личная сила является решающим фактором в борьбе, а нечто независящее от личности: *таковым являются деньги, решающие, кто останется в живых, а кто погибнет.*

VI. Капитализм и социализм (коммунизм).

Форма, которую принимает дарвиновская „борьба за существование“ в своем дальнейшем развитии, характерна степенью развития огромного общественного инстинкта и качеством их оружия. Борьба за существование ведется дальше между членами разных враждебных групп, но она совсем прекращается между членами одной группы, а ее место занимает взаимная помощь и чувство общественности. В борьбе между группами технические приспособления решают, кто будет победителем; это вызывает развитие

техники. Эти обстоятельства ведут к разным последствиям в разных системах общественной жизни.

Когда буржуазия завоевала политическую власть и установила господство капиталистического строя, она начала свою работу с ломки феодальных ограничений и освободила народ от феодальных цепей. Для капитализма, конечно, было необходимо, чтобы каждый человек мог принимать участие в конкуренции; чтобы ничьи руки не были связаны цеховыми или корпоративными обязанностями или законными установлениями, потому что только таким образом могут развернуться производительные силы до самой высокой степени. Рабочие могут сами собой распоряжаться, вместо того, чтобы быть связанными феодальными или гильдейскими правилами, потому что, только как вольные работники, они могут продавать свою рабочую силу капиталистам, как товар, и капиталисты могут иметь пользу только с способных работников. По этой причине буржуазия уничтожила ограничения. Она сделала весь народ свободным, но одновременно оставила его изолированным от всего мира и без всякой помощи. До того люди не были изолированы, они принадлежали к какой-нибудь общине, коммуне, были собственностью какого-нибудь лорда, и в этом была их сила. Они были частью общественной группы, которой они должны были выполнить определенные обязанности, которая брала их под защиту. Это все было уничтожено буржуазией. Освобождение работников буржуазией в средние века избавило их от всякой опеки и они уж не могли больше надеяться на других. Каждый был предоставлен самому себе. Сам один, свободный от обязанностей и беззащитный, он должен был вести борьбу против всех.

От каких же свойств или от чьего совершенства зависит победа при капиталистической конкуренции?

На первом месте стоят техническое снаряжение, машины. Здесь опять имеет применение закон, что борьба ведет к усовершенствованию. Машина усовершенствованная доставляет победу над менее усовершенствованной; также менее полезные машины исчезают и техника бешенно лихорадочным темпом увеличивает производительность. Это дарвинизм, приноровленный к человеческому обществу. Особенностью капитализма является то, что тут есть частная собственность, так что за каждою машиною стоит один человек, ее владелец, за большой машиной стоит крупный капиталист, за малой—мелкий. Одновременно с поражением малой

машины гибнет мелкий капиталист с своими надеждами и счастьем. Крупный капитал лучше вооружен, поэтому он становится с каждым разом больше. Эта концентрация капитала одновременно сокращает его существование, так как уменьшает число буржуазии, интересом которой является поддержка капитализма, и увеличивает ту массу людей, которые хотят его одолеть. В этом развитии одна черта капитализма постепенно исчезает. В мире, где один ведет борьбу против всех и все против одного, создаются новые товарищества между людьми, а именно—классовые организации. Рабочие организации собирают их в одну великую силу, способную вести борьбу с окружающим миром. Все, что относится к общественным группам, относится также к этой классовой организации. Внутри организации развиваются солидарность, моральные чувства и самопожертвование. Сильная организация придает рабочему классу силу, которая требуется в борьбе с капитализмом. Классовая борьба, которая является борьбой за средства производства, борьбой за контроль над производством, будет решена силою классовой организации.

Теперь посмотрим на способ производства, который будет существовать в социализме. Борьба, вызывающая усовершенствования машин, не прекращается. Как в капитализме худшая машина должна будет уступить место лучшей. Как и раньше, этот процесс подымет производительность труда. Но так как частная собственность будет уничтожена, за каждою машиною не будет уже человека, который называл бы ее своею и делил бы с нею судьбу. Машины будут общественной собственностью и замена худших машин лучшими будет происходить после хорошо разработанных планов. С уничтожением классов весь цивилизованный мир будет одной великой производственной коммуной. Внутри этой коммуны прекратится всякая борьба, но с внешним миром она будет продолжаться. Это не будет борьба между братьями, а борьба за существование против враждебных сил природы. Хотя в действительности, благодаря высоко развитой технике и знаниям, это нельзя будет больше называть борьбою. Природа поддается человеку и необходимо лишь небольшое усилие с его стороны, чтобы она наделила его в достаточной степени всем необходимым. Период развития человека от животного уже кончился и борьба за существование при помощи оружия прекращается: люди вступают в новую эру своей жизни.

Каутский К.

Социальные инстинкты в дарвинизме и марксизме.

1. Борьба за существование.

Кант, подобно Платону, разорвал человека на две части— естественную и сверх'естественную, животную и ангелоподобную. Но стремление постичь весь мир, включая и наши духовные функции, как мир действительный и целостный, и исключить все сверх'естественные факторы, или, другими словами, материалистическое мышление слишком глубоко коренилось в условиях эпохи, чтобы Канту могло удаться надолго парализовать его. А грандиозный под'ем естественных наук, особенно быстрый именно ко времени смерти Канта, дал целый ряд новых открытий, все более и более заполнявших пропасть между человеком и остальной природой; эти же открытия, между прочим, обнаружили, что те элементы, которые кажутся ангелоподобными в человеке, имеются в наличности и в животном мире и, следовательно, имеют животное происхождение.

Однако, материалистическая этика XIX века, поскольку это был материализм преимущественно естественно-научный, и в открытом, смелом немецком материализме и в более скрытом и умеренном английском, а также и в французском, вначале не шла дальше того, к чему пришел уже восемнадцатый век. Так, *Фейербах* основывал нравственность на стремлении к счастью. *Огюст Конт*, основатель позитивизма, напротив, воспринял от англичан различение эгоистических и нравственных или „альтруистических" чувств, одинаково заложенных в человеческой природе.

Крупный и решительный шаг вперед сделал только *Дарвин*, доказав в своей книге о происхождении человека, что альтруистические чувства не являются особенностью человеческой природы, что они встречаются и в животном мире и что в том и другом случае они происходят от одинаковых причин, по существу тождественных с теми, которые порождают и развивают все способности самопроизвольно движущихся существ. Это почти уничтожало последнюю грань между животным и человеком. Дарвин не развивал дальше этих своих открытий, но все же они принадлежали к числу величайших и плодотворнейших открытий человеческого ума, позволяющих развить и новую критику познания.

Рассматривая органический мир, мы прежде всего наталкиваемся на отличающую его от неорганического мира особенность: в нем обнаруживается *целесообразность*. Все органические существа построены более или менее целесообразно. Но цель, которой они служат, не лежит вне их. Мир, как целое, не знает цели. Цель лежит в самом неделимом: его части так сформированы и устроены, что служат целому, индивидууму. Цель и разделение труда возникают одновременно. Разделение труда так же существенно в организме, как и целесообразность. Одно обусловливает другое. Разделение труда отличает организм от неорганических неделимых, напр., кристаллов. Кристаллы также являются неделимыми определенной формы; они растут, если имеется налицо нужный материал и нужные условия, но они во всей массе своей совершенно однородны. Напротив, самый низший организм представляет собой пузырек, гораздо более ничтожный на вид и менее сложный по своему строению, чем кристалл, но пузырек, у которого внешняя сторона отличается от внутренней и имеет другие функции.

На первый взгляд удивительно, что разделение труда целесообразно, т. е. полезно неделимому и делает возможным или, по крайней мере, облегчает его существование. В действительности же, было бы удивительно обратное,—если бы неделимые сохранялись и размножались при нецелесообразном разделении труда, которое затрудняло бы или даже делало бы невозможным их существование.

В чем же состоит работа, которую должны выполнять органы организма? Эта работа—*борьба за существование*, т. е. не борьба с другими организмами того же самого вида, как иногда понимают это выражение, а борьба со всей природой в совокупности. Природа находится в постоянном движении, в процессе постоянного изменения своих форм; только те неделимые могут длительно сохранять в неприкосновенности свою форму в этой вечной смене, которые в состоянии развить особые органы для *защиты* от внешних влияний, угрожающих существованию неделимого, и для *восполнения* составных частей, непрерывно отдаваемых им внешнему миру. Скорее всего и лучше всего могут упрочиться те неделимые и группы, у которых *оружие* для *защиты и орудия* для приобретения *пищи* наиболее целесообразны, т. е. лучше всего *приспособлены* к внешнему миру, таящему в себе опасности, которые надо отражать, и источники пищи, к которым надо открыть себе доступ. Непрерывный процесс приспособления и отбор

наиболее целесообразного посредством борьбы за существование, при тех условиях, которые являются общим правилом на земле с тех пор, как на ней живут организмы, создают все растущее разделение труда. Чем дальше идет разделение труда в организме, тем совершеннее кажется он нам. Постоянное совершенствование органического мира являлось до сих пор результатом борьбы за существование — и таковы же будут, вероятно, ее результаты и в будущем, пока условия нашей планеты существенно не изменятся. Конечно, считать такое совершенствование необходимым законом на вечные времена мы не имеем права. Это значило бы навязывать миру цель, которой у него нет.

Но и быстрота развития не должна быть всегда одинакова. Временами могут наступать периоды, во время которых различные организмы, каждый в своем роде, достигают высшей степени целесообразности применительно к наличным условиям наибольшего приспособления к этим условиям. Пока эти условия остаются неизменными, организмы не подвергаются дальнейшему развитию, а закрепляют достигнутую форму в прочный тип, размножающийся все в том же неизменном виде. Дальнейшее развитие начинается лишь тогда, когда среда значительно изменяется, когда в неорганической природе происходят изменения, нарушающие равновесие органического мира. Изменения же эти непременно происходят время от времени—то в виде отдельных, внезапных, грандиозных превращений, то в виде многочисленных, незаметных изменений, накопление которых в конце концов тоже создает совсем новые условия; таковы, например, изменения в морских течениях, в поднятии почвы, быть может, в положении земной планеты в мировом пространстве, изменяющие климат, превращающие густые леса в бесплодные песчаные пустыни, тропические местности—в глетчеры и наоборот. Эти изменения вызывают необходимость в новых приспособлениях к изменившимся условиям; они побуждают к переселению, в свою очередь ставящему организмы в новые условия и порождающему усиленную борьбу за существование между старыми обитателями и пришельцами; при этом опять-таки плохо приспособленные и неспособные к приспособлению особи и типы вымирают, а у выживающих создается новое разделение труда, новые функции, возникают новые органы или преобразуются старые. При таком приспособлении к новой среде выживают не всегда наиболее высоко развитые организмы. Всякое разделение труда обусловливает известную односторонность. Высоко развитые органы, специально приспособленные к

одному складу жизни, оказываются гораздо менее пригодными для другого, чем органы, благодаря своему менее высокому развитию, сравнительно мало продуктивные при первоначальном складе жизни, но зато более многосторонние и легче поддающиеся изменению. Отсюда происходит, что нередко более высоко развитые виды животных и растений вымирают, и новые, высшие организмы развиваются из видов, стоящих на более низкой ступени развития. Вероятно, и человек ведет свое происхождение не от высших видов обезьян, не от человекообразных, повидимому, вымирающих, а от одного из менее развитых видов четвероруких.

2. Самопроизвольное движение и познавательная способность.

Уже весьма рано возникло разделение организмов на две больших группы: организмы, развивающие органы самопроизвольного движения, и организмы, лишенные таких органов,—животные и растения. Понятно, что самопроизвольное движение является могущественным оружием в борьбе за существование. Оно дает возможность отправляться в поиски за пищей, избегать опасности, помещать потомство в местах, где оно лучше всего укрыто от опасностей и наиболее обеспечено пищей.

Но *самопроизвольное движение* необходимо предполагает *познавательную способность*, и наоборот. Один из этих факторов без другого совершенно бесполезен. Только соединенные вместе они становятся оружием в борьбе за существование. Способность самопроизвольного движения совершенно бесполезна, если она не сочетается с способностью познавать мир, в котором приходится двигаться. Какая польза была бы оленю от его ног, если бы он не был способен узнавать ни своих врагов, ни места, где можно достать пищу. С другой стороны, для растения всякая познавательная способность была бы бесполезна. Если бы трава могла видеть приближающуюся корову, могла слышать, обонять, это ни в малейшей степени не избавило бы ее от с'едения.

Таким образом, самопроизвольное движение и умственные способности необходимо связаны друг с другом, одно без другого бесполезно. Каким бы образом ни возникали эти способности, они всегда являются вместе и совместно развиваются. И оба они служат одной и той же цели—сохранению и облегчению существования особи.

В качестве средств, служащих такой цели, эти способности и соответствующие им органы развиваются и совершенствуются в борьбе за существование, *но и только в качестве таких средств.*

И в самой развитой познавательной способности нет качества, которое не было бы полезно, как оружие в борьбе за существование. Этим об'ясняется односторонность и своеобразие нашей познавательной способности.

Познание вещей *в себе* может казаться иному философу очень важной задачей; для нашего же существования совершенно безразлично, что понимать под вещью в себе. Но зато для каждого одаренного самопроизвольным движением существа в высшей степени важно правильное *различение* вещей, верное познание их отношений друг к другу. Чем острее познавательная способность в этом направлении, тем большую службу может она сослужить. Для существования птицы совершенно безразлично, что представляют из себя те вещи в себе, которые являются ей в виде ягод, ястреба, грозы, облаков. Но для ее существования необходимо умение точно различать ягоды, ястреба и облака от других вещей, окружающих ее, ибо только это позволяет ей находить себе пищу, избегать врагов, во время укрываться под листвой. Таким образом, для животного необходимо, чтобы его познавательная способность была способностью различения в пространстве.

Но также необходимо познавать и последовательность вещей во времени, при том последовательность необходимую, сцепление причин и следствий.

Ибо движение, как причина, только тогда может иметь своим общим результатом поддержание существования, когда оно в состоянии достигать частых, более или менее отдаленных результатов, поставленных себе целью; а таких результатов оно может достигать тем легче, чем лучше особь познает связь этих результатов с их причинами. Возвращаясь к примеру птицы, следует сказать, что для нее недостаточно умения различать в пространстве ягоды, ястреба и облака от других вещей; она должна также знать, что с'едение ягоды имеет своим следствием ее насыщение; появление ястреба имеет следствием, что первая попавшаяся ему маленькая птица служит ему пищей; надвигающиеся грозовые тучи имеют следствием бурю, дождь, град.

Даже у самых низших животных, обладающих хоть сколько-нибудь способностью различения и самостоятельным движением, развивается и смутное понимание причинности. Землетрясение служит для дождевого червя признаком, что ему угрожает опасность, и заставляет его скрываться.

Таким образом, чтобы быть полезной животному в его движениях, познавательная способность должна быть организована

так, чтобы быть в состоянии указывать ему различия в пространстве и времени и причинные соотношения.

Но она должна делать еще больше. Все части тела служат только *одному* неделимому, *одной* цели—сохранению неделимого. Разделение труда никогда не должно заходить так далеко, чтобы отдельные части становились самостоятельными; это повело бы за собой распадение неделимого. Разделение труда проявляется тем совершеннее, чем крепче связь между отдельными частями, чем больше единства в распоряжении ими. Отсюда вытекает необходимость единства сознания. Если бы каждая часть тела обладала особой познавательной способностью или если бы каждое из чувств, посредством которых получаются сведения о внешнем мире, порождало особое сознание, то в обоих случаях познание этого мира и совместное действие отдельных частей тела было бы крайне затруднено; а в таком случае выгоды разделения труда уничтожались бы или превратились бы в невыгоды и, вместо поддержки, которые оказывают друг другу различные чувства или различные двигательные органы, получилось бы взаимное трение.

Наконец, познавательная способность должна быть в состоянии накоплять и сравнивать данные опыты. Возвращаясь снова к нашей птице, можно указать, что у нее есть два способа узнать, какая пища для нее наиболее подходяща и где ее легче всего найти; какие враги опасны ей и как избежать их. Прежде всего, собственный опыт и затем наблюдение над тем, что делают более старые птицы, уже обладающие опытом. Как известно, мастера не рождаются. Всякая особь тем легче может отстоять себя в борьбе за существование, чем больше ее опыт и чем лучше этот опыт систематизирован; но такая систематизация предполагает дар *памяти* и способность сравнивать прежние впечатления с позднейшими, извлекать общее и тем и другим, имеющим всеобщий характер, отличать существенное от несущественного, т. е. *мыслить*.

Наблюдение посредством чувств указывает *различия* вещей, частное, *мышление* выделяет общее, *обобщающее*.

„Обобщение, говорит Дитцген, представляет собой содержание всех понятий, всякого познания, всякой науки, всякого акта мышления. Таким образом, в результате анализа способность мышления оказывается способностью отыскивать общее в частном“.

Все эти свойства познавательной способности имеются налицо уже в животном мире, хотя и не в столь высокой степени, как у человека; часто бывает трудно заметить это, так как не

всегда легко отличить сознательные действия, вытекающие из познания, от действий непроизвольных и бессознательных, простых рефлекторных и инстинктивных движений, и у человека играющих еще большую роль.

Но если все эти свойства познавательной способности оказываются уже в животном мире необходимыми спутниками самопроизвольного движения, то, с другой стороны, эти же свойства создают предел, через который не может преступить и самый богатый и глубокий разум самого развитого культурного человека.

Силами и способностями, приобретенными, как оружие, в борьбе за существование, можно, конечно, пользоваться и для других целей, кроме самосохранения; для этого в организме должны быть только достаточно высоко развиты самопроизвольное движение и познавательная способность, а также те инстинкты, о которых мы сейчас будем говорить. Мускулами, развившимися для схватывания добычи и отражения врага, неделимое может пользоваться и для игры и для танцев. Но свой специфический характер эти силы и способности все же получают только благодаря порождающей их борьбе за существование. Игра и танцы не создают никаких специальных мускулов.

Это верно и для духовных сил и способностей. Развиваясь в борьбе за существование в виде необходимого дополнения к самопроизвольному движению в таком направлении, чтобы обеспечить организму возможно более целесообразное для его самосохранения движение в окружающей среде, они могут употребляться и для других целей. Сюда относится чистое познание без всякой практической цели и без соображения о практических последствиях, которые могут при этом получиться. Но наши умственные способности в борьбе за существование формируются не в орган чистого познания, а лишь в орган, при посредстве познания целесообразно направляющий наши движения. И насколько совершенно функционирует этот орган в последнем случае, настолько же несовершенно в первом. Связанный с самого начала теснейшим образом с самопроизвольным движением, он развивает свои качества во всей полноте только в связи с движением и только в этой связи может совершенствоваться. Совершенствование человеческой познавательной способности и человеческого познания тоже, как мы это еще увидим, связано самым тесным образом с совершенствованием человеческой практики.

Но та же практика ручается нам за надежность нашего познания. Раз только мое познание позволяет мне с уверенностью

по своему желанию вызывать определенные результаты, достижение которых лежит в моей власти, отношение причины и следствия перестает быть для меня простой случайностью или простой видимостью, простою формой познавания, какой может его считать чистое созерцание и мышление. Благодаря практике, познание этого отношения превращается в познание чего то *действительного*, в достоверное познание.

Правда, границами практики определяются и границы достоверного познания.

То обстоятельство, что теория и практика неразрывно связаны друг с другом и только в своем взаимодействии могут дать максимум достижимого в данное время результата, является лишь необходимым следствием того факта, что движение и познавательная способность с самого своего возникновения развивались вместе. В процессе развития человеческого общества разделение труда привело к нарушению естественной связи обоих этих факторов, к созданию классов, из которых одним выпало на долю преимущественно движение, другим—преимущественно познание. Мы уже указали, как отражением этого явилось в философии создание двух миров—духовного, высшего, и телесного, низшего. Но совершенно разделить обе эти функции в неделимом, разумеется, немыслимо, а современное пролетарское движение мощно воздействует в смысле уничтожения такого деления на классы, а, вместе с тем, и дуалистической философии, философии чистого познания. Даже самые глубокие, самые отвлеченные мысли, повидимому, совершенно далекие от практики, также оказывают на нее свое влияние и, в свою очередь, испытывают ее влияние; усилить это влияние входит в задачи критики человеческого познания. В конечном счете познание все же всегда остается оружием в борьбе за существование, средством придать нашим движениям более целесообразные формы и направление, будь то движения в природе или в обществе.

„Философы лишь различным образом *истолковывали* мир, говорит Маркс, а вопрос заключается в том, как *изменять* его".

3. Инстинкты самосохранения и размножения.

Итак, обе способности—самопроизвольного движения и познания—неразрывно связаны друг с другом, как оружие в борьбе за существование. Одна развивается вместе с другой, и по мере того, как растет значение этого оружия в организме, уменьшается значение другого, первоначального: оно становится теперь менее

нужным, как, напр., плодовитость и живучесть. В свою очередь, по мере того, как эти качества понижаются, должно расти значение факторов, указанных выше; в борьбе за существование должно ускоряться их дальнейшее развитие.

Но самопроизвольное движение и познание еще не составляют сами по себе достаточного оружия в борьбе за существование. Какая мне польза в этой борьбе от самых сильных мускулов, самых гибких суставов, самых острых чувств и самого большого ума, если я ощущаю в себе побуждение пользоваться ими для своего самосохранения, если вид пищи, понимание опасности оставляют меня равнодушным и не вызывают во мне никаких движений. Самопроизвольное движение и познавательная способность лишь тогда становятся оружием в борьбе за существование, когда одновременно с ним имеется в наличности и стремление к самосохранению организма; только благодаря такому стремлению, всякое важное для существования организма познание сейчас же вызывает в нем волю произвести необходимое для существования движение и, стало быть, вызывает и самое движение.

Самопроизвольное движение и познавательная способность не имеют значения для существования организма при отсутствии инстинкта самосохранения точно так же, как и этот инстинкт не имеет смысла без обоих этих факторов. Все три тесно связаны друг с другом, взаимно обусловлены и растут одновременно. Инстинкт самосохранения является самым первоначальным животным инстинктом и самым необходимым. Без него ни один вид животных, хоть сколько-нибудь одаренный самопроизвольным движением и познавательной способностью, не мог бы просуществовать и самого короткого времени. Он господствует над всей жизнью животного. То же самое общественное развитие, которое делает познавательную способность уделом одних классов, а практическое движение—других, и дает первым возможность с высоты чистого „духа“ высокомерно смотреть на грубую „материю“, это же самое общественное развитие подчас настолько изолирует познавательную способность, что от презрения к „низменной“ практике, служащей для поддержания жизни, она переходит к презрению к самой жизни. Но этот вид познания еще никогда не был в состоянии преодолеть инстинкт самосохранения и прекратить практику, служащую для поддержания жизни. Можно, конечно, тот или иной случай самоубийства обосновать философски, но, в конце-концов, при всяком практическом акте отрицания жизни причиной оказывается лебознь или отчаянные общественные отношения, а никак не фило-

софское учение. Простым философствованием нельзя подавить инстинкт самосохранения.

Однако, этот инстинкт оказывается не единственным, хотя и самым первоначальным и распространенным из всех, порожденных борьбой за существование. Он служит только сохранению *особи*. Но как бы долго особь ни сохранялась, в конце-концов, если она не размножается, она исчезает, не оставляя следов своей индивидуальности. Лишь те виды могут упрочиться в борьбе за существование, которые оставляют после себя потомство.

У растений и низших видов животных размножение представляет собой акт, не требующий собой ни самопроизвольного движения, ни познавательной способности. Это меняется у животных, лишь только размножение становится половым и в нем участвуют две особи, соединяющиеся для того ли, чтобы положить яйцо и семя в одном месте вне тела, или для того, чтобы внедрить семя в теле особи, несущей яйца. Это требует воли, стремления найти друг друга, соединиться. Без этого половое размножение происходить не может; чем сильнее это стремление в благоприятные для размножения моменты, тем скорее оно произойдет, тем благоприятнее будут шансы на появление потомства, на сохранение вида, и, наоборот, эти шансы неблагоприятны для особей и видов с слабо развитым инстинктом размножения. Поэтому с известной ступени развития естественный подбор посредством борьбы за существование должен развивать в животном мире и все более усиливать ясно выраженный инстинкт размножения.

Но этого инстинкта не всегда достаточно для создания многочисленного потомства. Мы уже видели, что количество зародышей, производимых особью, и ее живучесть имеют тенденцию уменьшаться по мере роста самопроизвольного движения и познавательной способности. С другой стороны, чем больше разделение труда, чем сложнее организм, тем более промежуток времени, необходимый для его развития и созревания. Если даже часть этого времени протекает в материнском теле, то это имеет свои границы. Уже одни условия вместимости не позволяют этому телу носить в себе организм, равный по величине взрослому. Оно должно освободиться от детеныша задолго до того, как он достигнет такой величины. Но самопроизвольное движение и познавательная способность являются у молодого животного позже всего и бывают большей частью очень слабо развиты к тому времени, когда детеныш покидает охраняющую его оболочку яйца или материнское тело. Само яйцо, выбрасываемое матерью, вовсе не обладает

ни самопроизвольным движением, ни познавательной способностью. Поэтому забота о потомстве делается важной функцией матери: прятание и защита яиц и детенышей, кормление их пищей и т. д. Подобно инстинкту размножения, любовь к потомству, и именно материнская любовь, развивается в животном мире с известной ступени развития, как необходимое средство для обеспечения дальнейшего существования вида.

С инстинктом индивидуального самосохранения у этих инстинктов нет ничего общего; они часто сталкиваются с ним и могут приобрести такую силу, что побеждают его. Ясно, что при прочих равных условиях большие шансы на оставление потомства и передачу ему своих свойств и инстинктов имеют те особи и виды, у которых инстинкт самосохранения не наносит ущерба инстинктам размножения и защиты потомства.

4. Социальные инстинкты.

На ряду с этими инстинктами, присущими высшим животным, у отдельных видов животных развиваются в борьбе за существование еще особые, специфические инстинкты, обусловленные их образом жизни, например, инстинкт переселения; но эти инстинкты мы не станем далее исследовать. Нас интересует здесь только еще один род инстинктов, имеющий огромное значение для нашей темы; это—*социальные инстинкты.*

Совместная жизнь однородных организмов большими массами встречается уже у самых мельчайших организмов—у микробов. Это об'ясняется уже одним фактом размножения. Если организм не обладает способностью самопроизвольного движения, то, естественно, потомство скапливается вокруг производителя, если только какие-либо движения внешнего мира, течение воды, ветра или т. п., не рассеют зародышей. Яблоко, как известно, не далеко падает от яблони, и если его не с'едают и оно падает на плодородную почву, из зерен его вырастают молодые деревца, присосеживающиеся к старому. Но, естественно, что и у животных, обладающих самопроизвольным движением, молодежь остается при стариках, если только внешние обстоятельства не заставляют ее рассеиваться. Совместная жизнь особей одного вида, самая первоначальная форма общественной жизни, является и первоначальной формой жизни вообще. Раз'единение организмов, имеющих общее происхождение, представляет собой уже позднейшую ступень.

Такое раз'единение может иметь самые различные причины. Ближайшей и самой настоятельной оказывается, конечно, недоста-

ток пищи. Каждая местность может дать только известное количество пищи. Когда тот или иной вид животных размножается несоответственно находящейся в его распоряжении пищевой площади, излишку приходится или вымирать от голода или выселяться. Количество совместно живущих в определенной местности организмов одного и того же вида не может превышать известного числа.

Существуют некоторые виды животных, для которых изолированность, расселение по одиночке или попарно представляет выгоду в борьбе за существование. Так, напр., для кошачьих пород, подстерегающих добычу и схватывающих ее внезапным прыжком, такой способ добывания пищи был бы весьма затруднен или даже вовсе невозможен, если бы они бродили большими стаями. Первый же прыжок за добычей разгонял бы всю остальную дичь. Наоборот, для волков, не нападающих на добычу внезапно, а затравливающих ее, соединение в стадо может быть выгодно; один гонит жертву к другому, а этот перерезывает ей путь. Кошка же охотится наиболее успешно в одиночестве.

С другой стороны, существуют животные, ищущие одиночества потому, что при этом они меньше бросаются в глаза, могут легче прятаться и избегать врага. Преследования людей, напр., привели к тому, что многие животные, раньше жившие обществами, теперь встречаются только одиночками, как, напр., бобр в Европе. Для него это единственное средство оставаться незамеченным.

Существует, однако, множество животных, извлекающих пользу из общественной жизни Редко бывают это хищные животные. Мы упоминали уже о волках. Но и они охотятся стадами только зимой, когда корм редок. Летом, когда пища добывается легче, они живут попарно. Хищное животное по характеру своему всегда склоняется к борьбе и насилию и потому уживается с себе подобными очень трудно.

Более миролюбивыми, благодаря способу добывания пищи, являются травоядные животные. Уже одно это облегчает им группирование в стаи или, вернее, сожительство нескольких поколений. Заставляет их соединяться или оставаться вместе и то обстоятельство, что они более беззащитны. Многочисленность же дает им новое оружие в борьбе за существование. Соединение нескольких слабых сил для общего дела может создать новую, более крупную силу, а выдающиеся силы отдельных особей приносят пользу всей стае. Борясь за себя, более сильные особи

борятся при этом и за более слабых; заботясь о своей собственной безопасности, разыскивая для себя пастбище, более опытные особи делают это и для неопытных. При этом становится возможным провести разделение труда между соединившимися особями; как бы преходяще ни было такое разделение, оно, во всяком случае, увеличивает силу и безопасность стаи. Невозможно напрягать все внимание для наблюдения за окружающим и в то же время есть с полным спокойствием. Во время сна естественно прекращается всякого рода наблюдение. При об'единении же достаточно одного караульного, чтобы обеспечить прочим полную безопасность во время сна и еды.

Благодаря разделению труда, соединение особей становится одним телом с различными органами для целесообразного совместного действия, целью же этой является поддержание жизни всего тела; соединение особей становится *организмом*. Этим, однако, не сказано, что этот новый организм-общество представляет собой тело в том же смысле, как животное или растение; нет, это—организм особого рода, отличающийся от других гораздо больше, чем животное отличается от растения. И животные и растения состоят из клеток, лишенных самопроизвольного движения и самостоятельного сознания; напротив, общество состоит из особей, обладающих самопроизвольным движением и самостоятельным сознанием. И наоборот: животный организм, как целое, обладает самопроизвольным движением и сознанием, общество-же, как и растение, лишено и того и другого. Но зато особи, составляющие общество, могут вверять отдельным его членам особые функции и тем подчинять общественные силы единой воле и вносить единство в движения общества.

С другой стороны, связь между особью и обществом гораздо более шатка, чем связь между клеткой и всем организмом у растения или животного. Особь может отделяться от одного общества и примыкать к другому, как это бывает при переселении. Это невозможно для клетки; для нее разрыв с целым означает смерть, за исключением некоторых клеток особого рода, как семя и яйца при оплодотворении. С другой стороны, общество может поглощать новые особи прямо, без всякого обмена веществ и без какого бы то ни было изменения формы; для животного организма это совершенно невозможно. Наконец, особи, составляющие общество, могут при известных условиях изменять органы и организацию общества; ничто подобное немыслимо для животного или растительного организма.

Итак, хотя общество представляет собой организм, но, во всяком случае, не животный; поэтому попытка об'яснять какие-нибудь свойственные только обществу явления, например, политические, законами животного организма так же нелепа, как попытка вывести особенности животного организма, например, самопроизвольное движение и сознание, из законов растительного мира. Конечно, это отнюдь не значит, что у различных видов организмов нет и некоторых общих черт.

Как животный, так и общественный организм тем лучше выдерживает борьбу за существование, чем больше единства в его движениях, чем крепче его строение, чем больше гармонии между его частями. Но у общества нет ни твердого скелета, поддерживающего мягкие части, ни кожи, облекающей все тело, ни кровеносной системы, питающей все части, ни сердца, регулирующего ее, ни мозга, вносящего единство в познание, волю и движение. Единство и гармония общества, как и его сплоченность, могут опираться только на поведение и волю его членов. Но такое единство воли будет обеспечено тем больше, чем более оно вытекает из какого-нибудь сильного инстинкта.

Поэтому у тех пород животных, у которых общественная жизнь становится могущественным оружием в борьбе за существование, эта жизнь питает общественные, социальные инстинкты, вырастающие у некоторых особей до удивительной силы, до того, что побеждают даже инстинкты самосохранения и размножения, если приходят с ними в столкновение.

Зачатки социальных инстинктов можно видеть в том интересе, который, благодаря простому факту совместной общественной жизни, питает особь к своим сотоварищам, к обществу которых она привыкла с детства. С другой стороны, размножение и заботы о потомстве влекут за собой уже более или менее прочные и тесные отношения между различными особями одного вида. Эти именно отношения могли послужить исходной точкой для возникновения обществ; соответствующие же им инстинкты, быть может, послужили исходной точкой для развития социальных инстинктов.

Эти инстинкты, в свою очередь, могут быть различны соответственно различным условиям жизни различных видов; но наличность известного рода инстинктов составляет необходимую предпосылку для существования какого бы то ни было вида общества. К таким инстинктам, естественно, принадлежит, прежде всего, *самоотвержение*, преданность обществу; затем—*храбрость* в защите

общих интересов; *верность* обществу, подчинение общей воле, т. е. повиновение или *дисциплина*; *правдивость* по отношению к обществу, так как безопасности его грозил бы ущерб и силы его расточались бы напрасно, если бы его вводили в заблуждение, напр., ложными сигналами; наконец—*честолюбие*, чувствительность к похвале и порицанию общества. Это все социальные инстинкты, ясно выраженные и нередко в очень сильной степени уже в обществе животных.

Но эти социальные инстинкты и представляют собой не что иное, как самые высокие добродетели, а совокупность их—нравственный закон. Разве только, что среди них недостает любви к справедливости, т. е. стремления к равенству. Для развития этого инстинкта в обществах животных нет места, потому что животным знакомо только естественное, индивидуальное неравенство, а не обусловленное общественными отношениями социальное неравенство. Возвышенный нравственный закон, что ближний никогда не должен быть простым средством для какой-либо цели, закон, который наши кантианцы считают величайшим созданием кантовского гения и „нравственной программой нового времени и всего будущего мировой истории", этот закон в обществе животных есть нечто само собой подразумевающееся. Только развитие человеческого общества создало условия, при которых один член общества мог стать простым орудием в руках другого.

То, что даже такому человеку, как Кант, казалось продуктом высшего духовного мира, на самом деле есть продукт мира животного. Как тесно срослись социальные инстинкты с борьбой за существование и в какой степени они первоначально служат только сохранению вида, видно уже из того, что действия их часто распространяются лишь на тех особей, сохранение которых полезно для вида. Есть целый ряд животных, рискующих жизнью для спасения молодых или слабых товарищей и в то же время, не задумываясь, убивающих больного или старого товарища, ставшего ненужным для сохранения вида и обузой для общества. „Нравственное чувство", „симпатия" не распространяются на этих членов общества. И многие дикари поступают точно так же.

Животный инстинкт—вот что такое нравственный закон. Отсюда его таинственный характер, этот голос внутри нас, не связанный ни с каким внешним побуждением, ни с каким внешним интересом, этот демон или бог, которого ощущали в себе моралисты от Сократа и Платона до Канта, отказавшиеся выводить нравственность из себялюбия или удовольствия. Конечно—таин-

ственный инстинкт, но не более таинственный, чем половое влечение, материнская любовь, инстинкт самосохранения, сущность организма вообще и многие другие вещи, которые принадлежат только к миру „явлений“ и которых никто не считает продуктом сверхчувственного мира.

И так как нравственный закон есть животный инстинкт, однородный с инстинктами самосохранения и размножения, то отсюда—и его сила, его настоятельность, которой мы подчиняемся без рассуждения, отсюда быстрое суждение наше насчет того, хорошо или дурно то или иное действие, добродетельно оно или порочно; отсюда решительность и энергия нашего нравственного суждения и отсюда же трудность обосновать это суждение, когда разум начинает анализировать поступки и искать их причин. Тогда оказывается, что все понять—все простить, что все необходимо, нет ни добра ни зла.

Не наша познавательная способность, а наши инстинкты порождают, вместе с нравственным законом, и нравственное суждение, а также чувство *долга и совесть*.

У некоторых видов животных социальные инстинкты достигают такой мощи, что становятся сильнее всех остальных. Приходя с ними в столкновение, социальные инстинкты властно заявляют о себе, как веление *долга*. Этим не исключается возможность *временного* торжества какого-либо особого инстинкта, напр., инстинкта самосохранения или размножения над инстинктом социальным. Но лишь только опасность проходит, сила инстинкта самосохранения тотчас же падает, как падает и сила инстинкта размножения после совокупления. Социальный же инстинкт остается в прежней силе, снова держит индивида в своей власти и воздействует на него, как голос *совести и раскаяния*. Нет ничего ошибочнее, как видеть в совести голос страха перед товарищами, перед их мнением, а тем более—физическим насилием. Совесть говорит и по отношению к таким поступкам, о которых никто не знает, и даже к таким, которые кажутся окружающим весьма похвальными; она может даже проявляться в виде отвращения к поступкам, которые были совершены из страха перед товарищами или их общественным мнением.

Общественное мнение, похвала и порицание, конечно, очень влиятельные факторы. Но их действие само предполагает уже известный социальный инстинкт—честолюбие; создать социальные инстинкты они не могут.

Мы не имеем никакого основания предполагать, что совесть существует только у людей. Было бы трудно открыть ее и у людей, если бы каждый на себе самом не испытывал ее действия. Совесть—это такая сила, которая не проявляется очевидно и открыто, а действует только в самой глубине существа. И все же некоторые исследователи пришли к заключению, что и у животных имеется своего рода совесть. Так, Дарвин говорит в своей книге о происхождении человека:

„Кроме любви и симпатии, животные обнаруживают еще и другие свойства, стоящие в связи с социальными инстинктами, свойства, которые у человека мы назвали бы нравственными; я соглашаюсь с Агассисом, что у собак есть нечто весьма похожее на совесть. У собак имеется, несомненно, некоторая сила самообладания и, повидимому, оно не всецело вызывается чувством страха. Как замечает Браубах, собака воздерживается от кражи пищи и в отсутствии хозяина".

Но хотя совесть и чувство долга являются следствием долговременного господства социальных инстинктов у некоторых видов животных и хотя эти инстинкты наиболее равномерно и постоянно воздействуют на особей этих видов, между тем, как сила других инстинктов подвергается большим колебаниям, смотря по времени и условиям,—все же и сила социальных инстинктов не совсем свободна от колебаний. Крайне характерно в этом отношении, что общественные животные сильнее чувствуют социальные инстинкты, когда собираются большими массами. Известно, например, что в многолюдном собрании господствует совсем иной дух, чем в малолюдном, что и на оратора присутствие большой толпы действует воодушевляющим образом. Люди в массе не только храбрее—это можно было бы об'яснить большей поддержкой, которую каждый расчитывает найти у товарищей; они и самоотверженнее, более готовы к жертвам, легче воодушевляются. Конечно, слишком часто тем трезвеннее, трусливее, эгоистичнее оказываются они, когда снова остаются одни. И это справедливо не только по отношению к людям, но и к общественным животным. Так, Эспинас цитирует в своей книге „Общества животных" одно наблюдение Фореля; последний констатировал следующее:

„Мужество муравья растет прямо пропорционально числу его сотоварищей или друзей и падает тоже прямо пропорционально изолированности его от сородичей. Обитатель сильно населенного муравейника гораздо мужественнее обитателя муравейника, во всех других отношениях совершенно одинакового, но с

очень малым населением. Та же самая работница, которая десять раз дала бы себя убить, находясь среди своих сородичей, оказывается чрезвычайно трусливой, старается избегать малейшей опасности, бежит перед гораздо более слабым муравьем, лишь только очутится одна в двадцати шагах от своего муравейника".

С более сильным социальным чувством не связана непременно и более высокая познавательная способность. В общем можно сказать, что каждый инстинкт скорее имеет тенденцию несколько искажать правильность познания внешнего мира. Чего желают, тому охотно верят, а чего боятся, то легко преувеличивают. Инстинкты действуют так, что одни вещи легко могут казаться несоответственно большими или близкими, другие же ускользают от внимания. Известно, какими слепыми и глухими делает по временам некоторых животных инстинкт размножения. Социальные инстинкты, проявляющиеся не столь остро и интенсивно, в общем меньше затемняют познавательную способность, но, при известных условиях, могут все же оказать на нее сильное влияние. Стоит вспомнить, например, о влиянии повиновения и дисциплины у овец, которые слепо следуют за вожаком, куда бы он ни пошел.

Нравственный закон в нас может так же искажать наше познание, как и всякий другой инстинкт. Он сам—ни продукт мудрости, ни источник ее. То, что в нас считается самым возвышенным и божественным, по существу вполне однородно с тем, что признается самым низким и сатанинским. Природа нравственного закона одинакова с природой инстинкта размножения. Нет ничего смешнее, как свыше всякой меры превозносить первый и относиться с презрением и отвращением ко второму. Не менее ошибочно полагать, что человек должен следовать всем своим инстинктам без ограничения, что все они одинаково хороши. Это верно лишь постольку, поскольку ни об одном из них нельзя сказать, что он подлежит безусловному отвержению. Но этим не сказано, что они не могут весьма часто противоречить друг другу. Для человека попросту невозможно следовать всем своим инстинктам без ограничения, так как они сами взаимно ограничивают друг друга. Но какой из инстинктов победит в данный момент и какие результаты для индивида и его общества повлечет за собой эта победа,—это зависит от очень многих обстоятельств, и тут нам не поможет ни этика удовольствия, ни этика нравственного закона, стоящего вне пространства и времени.

Но если признать нравственный закон социальным инстинктом, вырастающим в нас, как и все инстинкты, в борьбе за суще-

ствование, то сверхчувственный мир теряет сильную опору в человеческом сознании. Наивные боги политеизма были уже развенчаны философией природы. И если все-таки могла возникнуть новая философия, не только возродившая веру в бога и сверхчувственный мир, но и прочнее обосновавшая ее в ее высшей форме, как это сделал в древности Платон, а накануне французской революции—Кант, то причиной тому была проблема нравственного закона: он не мог быть достаточно удовлетворительно об'яснен ни выведением его из удовольствия, ни выведением из „нравственных чувств"—единственное „естественное" причинное об'яснение, казавшееся тогда возможным. Только дарвинизм положил конец вызванному этим разделению человека на две части—одну естественную—животную, другую сверх'естественную—небесную.

Но это еще не решало всей этической проблемы: если нравственные стремления, долг и совесть, а также основные типы добродетелей можно об'яснить социальными инстинктами, то это становится невозможным, когда речь заходит об об'яснении *нравственного идеала*. Ни малейших зачатков его нельзя обнаружить в мире животных. Только человек может ставить себе идеалы и стремиться к ним. Откуда же они происходят? Предуказаны ли они человеческому роду изначала, как неизменные заповеди природы или вечного разума; заповеди, не создаваемые человеком, а противостоящие ему, как господствующие над ним силы, и указывающие ему цели, к которым ему следует все более приближаться? Таково, в сущности, было мнение всех мыслителей восемнадцатого века—атеистов и деистов, материалистов и идеалистов. Такое мнение и в устах самых смелых материалистов звучало предположением существования сверх'естественного провидения, которому, правда, уже нечего делать в природе, но которое еще продолжает парить над человеческим обществом. Идея эволюции, установившая происхождение человека из животного мира, сделала совершенно нелепым этот вид идеализма в устах материалиста.

Но еще раньше, чем Дарвин обосновал свою теорию, составившую эпоху в развитии науки, возникло уже учение, раскрывавшее и тайну нравственного идеала. Это было учение *Энгельса* и *Маркса*.

Связующим звеном между дарвинизмом и марксизмом служит этика первого. Социальные инстинкты представляют собою

единственную область, которая дала повод великому английскому ученому заняться более обстоятельным исследованием общественных процессов. И он пришел к тем же результатам, что и материалистическое понимание истории: он признал этику первобытного человека продуктом материальных условий его существования. Это создало мост между дарвиновским пониманием природы и марксистским пониманием общества.

Эрнест Унтерман.

Марксизм, дарвинизм и диалектический монизм.

„Как Дарвин открыл закон развития органической природы, так Маркс открыл закон развития человеческой истории".

Так сказал Энгельс в прощальной речи о своем умершем друге.

Сущность закона развития человеческой истории по Марксу и Энгельсу последний выразил на свежей могиле своего друга в следующих словах: „До сих пор под идеологическим покровом был скрыт тот весьма простой факт, что люди прежде всего должны есть, пить, жить и одеваться, а потом уже заниматься политикой, искусством, религией и т. д., что, следовательно, производство материальных, жизненных продуктов первой необходимости и соответственно этому известная стадия экономического развития народа или эпохи составляют базис, на котором развивались государственные учреждения, правовые воззрения, искусство и даже религиозные представления людей,—базис, понимание которого дает ключ к уяснению последних, а не наоборот, как это думали раньше".

В чем заключается закон развития органической природы согласно Дарвину?

По мнению Дарвина, животные и растения развиваются путем естественной эволюции, без всякого плана какого-нибудь предусмотрительного интеллекта, без всякого вмешательства сверх'-естественного, личного создателя. Мысль эта, правда, была не новой, как не была новой основная мысль марксизма. Гораздо раньше аналогичные мысли в виде намеков встречаются в произведениях древне-греческих натур-философов лет за 600, а в хрониках вавилонских, ассирийских, египетских мудрецов-жрецов за 1000 лет до Рождества Христова.

Но Дарвин и Маркс не ограничивались констатированием фактов. Они сделали гораздо больше: они доказали, как все это происходило. Развитие общества в то время давало им возможность давать такие доказательства, доставив им необходимые материалы и орудия.

Результаты исследования Дарвина изложены в различных крупных произведениях, из которых наибольшую известность при-

обрело „Происхождение видов“. Здесь он доказывает, что изменение естественных условий (климат, почва, пища и т. д.), среди которых живут известные животные и растения, заставляет их приспособляться к изменениям в окружающей среде. Но не все они обладают одинаковой силой, здоровьем, выносливостью и приспособляемостью. Те, которые отличаются большей приспособляемостью, легче и быстрее примиряются с новыми условиями и имеют больше шансов на продолжение жизни и размножение. Не обладающие такой способностью умирают. Обладающие этой способностью в меньшей степени выживают и в борьбе за существование терпят большие поражения. В случае уменьшения источников питания, неожиданных перемен в температуре или продолжительной засухи менее приспособленные погибают. При отсутствии благоприятных условий лишь наиболее приспособленные продолжают жить и размножаться независимо от изменений условий места и времени.

Эти победители в борьбе передают все приобретенные ими качества своему потомству в наследство и эти качества тоже подвергаются общим законам эволюции. В таком же порядке продолжается у потомства подбор хорошо или плохо приспособленных Этот процесс тянется до бесконечности.

По мере того, как происходит постепенное изменение среды, окружающей животных и растения,—формы, цвета, привычки и т. д. этих организмов так далеко уклоняются от форм, цветов, привычек и т. д. предков, что почти ни в чем не проявляются их родственные отношения. В жизнь вступает еще один новый вид. Если новые условия стали повсеместным явлением, то первоначальный вид совершенно исчезает, сохраняясь только в тех местностях, где в виде исключения сохранились и первоначальные условия. Если же новые условия составляют исключительное явление, то и новый вид встречается в редких случаях.

Никакой личный интеллект не управляет такими процессами. Они развертывались сами собою, естественным ходом вещей, в результате постепенных или случайных изменений. Изменение форм этих животных и растений происходило помимо их желания и они не оказывали сознательного сопротивления совершающемуся процессу. Не было никакого заранее обдуманного плана или сознательной личной цели, связанной с ним, а развитие этих организмов продолжало двигаться в определенном направлении. Это направление определялось целым рядом механически действу-

ющих друг на друга процессов. Взаимодействие бесчисленных естественных явлений постепенно вызвало к жизни новый тип.

У Дарвина этот естественный процесс диференциации носит название *естественный подбор*.

Энгельс в приведенной нами цитате из надгробной речи говорит только об аналогии между дарвинизмом и марксизмом.

Оно и понятно. Маркс посвятил себя изучению общества. Он открыл, что причины, действующие в развитии общества и придающие ему известные формы, отличаются от причин, действующих в природе.

Он первый обратил внимание на особенности этих форм и выяснил их глубоко важное значение для познания движущих сил общественного развития. Благодаря этим открытиям, политическая экономия стала наукой.

Конечно, Энгельс высоко ставил заслуги Маркса. Мы вполне солидарны с ним. Без научного обоснования, данного Марксом социалистическому движению, мы до сих пор имели бы шаткую почву незаконченных, туманных, утопических, сентиментальных, реформистских или анархистских теорий и идей.

Поэтому-то мы и остановимся, главным образом, на пунктах, в которых марксизм и дарвинизм расходятся между собой.

Но прежде, чем рассмотреть *специальные* пункты марксистской теории развития *общества* и провести различие между ними и *специальными* пунктами теории развития *природы* Дарвина, мы хотим остановиться на общих чертах сходства между ними. Марксизм и дарвинизм при всем их различии имеют общие черты, так как развитие в природе и обществе, несмотря на различие в формах, все-таки происходит по универсальным законам.

Открытие специального закона социального развития является заслугой *Карла Маркса*. Открытие специального закона развития органической природы составляет заслугу *Чарльза Дарвина*. Открытие же важного значения диалектического различения и соединения, дополняя первые два открытия, дает нам действительную возможность делать точные научные выводы. В этом заслуга *Иосифа Дитцгена*.

Диалектика существовала до Дитцгена. В области диалектики проложил новый путь немецкий идеалист-философ Гегель.

У Гегеля диалектический процесс совершается в форме развития воображаемого существа—абсолютной идеи. Она вопло-

щается в разнообразных формах, всюду наблюдаемых нами. Но для Гегеля эти формы не являлись действительной сущностью вещей.

Повидимому, одна лишь идея была у него истинной сущностью вещей. Такова была *система* Гегеля. Идея должна была, по его мнению, проявить свое бытие в известных формах; эти формы преобразуются и переходят в высшие формы. Таков был *метод* Гегеля. Следовательно, идея должна была испытать ряд метаморфоз, совершающихся по правилу, что всякая форма в себе самой развивала свое отрицание, которое, созревши, препобеждало старую форму, „примиряло" ее путем ассимиляции и поднималось затем на высшую ступень. Эта диалектика служила ему методом исследования.

Маркс усвоил гегелевский *метод.* Но он перевернул гегелевскую *систему*, поставив материальные вещи в основу хода развития и рассматривая идеи, как духовные отображения действительных процессов. Он применил эту теорию, поставленную им на ноги, главным образом, к социальному развитию, выяснив специфические формы этого развития.

Диалектика Дитцгена находится в полном согласии с диалектическим материализмом Маркса, если иметь в виду метаморфозы посредством противоположностей и применение их к социальному развитию. В этом отношении диалектика Дитцгена, равно как и диалектика Маркса, является перевернутой диалектикой Гегеля. Но в некоторых важных пунктах диалектика Дитцгена идет дальше диалектики Маркса в *направлении, намеченном последним.*

Во-первых, она дополняет марксову диалектику, придавая особенное значение одновременному разграничению и соединению. Во-вторых, она применяет это новое открытие не только к процессам, *следующим один после другого*, но также и к процессам, *имеющим место один возле другого.* В-третьих, она пользуется этим пониманием для исследования сущности мыслительной способности человека. В-четвертых, она показывает, что вселенная является естественным организмом, в котором человеческий дух играет роль естественной части и в котором общества людей развиваются в форме, указанной Марксом. В-пятых, Дитцген открыл условия, законы и методы мышления, с помощью которых можно отличать истину от лжи во всех областях знания, ибо он дал неопровержимый анализ деятельности человеческого мыслительного органа в его взаимодействии с обществом и всей природой.

Поэтому мы называем теорию Дитцгена *диалектическим монизмом* *) в отличие от более узкого *диалектического или исторического материализма* Маркса.

Естественный подбор Дарвина также является диалектическим процессом. Но Дарвин не придавал особенного значения тому, что это диалектический процесс; центр тяжести он видел в том, что это есть механический и естественный процесс, совершающийся без всякого вмешательства интеллекта.

Мысль об естественном и механическом изменении в самых широких размерах была развита английским натур-философом Гербертом Спенсером. Он назвал теорию *теорией органической эволюции*. Но, между тем, ему никогда не было известно полное значение диалектических особенностей и результатов этого процесса, и он даже не применял последовательно принципа естественного подбора Дарвина.

Отсутствие диалектического мышления скрывало от глаз Дарвина и Спенсера важность их теории для сферы социального развития. Дарвин сам признавал, что он ничего не понимает в общественных науках. И Спенсер, который против воли вынужден был признать тенденцию общественного развития к социализму, извращал ее, выражая сожаление о том, что при экономическом равенстве всех людей будто-бы наступит всеобщее рабство.

Дарвин придерживался мнения, что жизнь есть борьба за существование. Но это так же старо, как и изучение природы человеком. Он находил, что эту борьбу ведут между собой не только животные и растения различных видов, но также члены одного и того же вида. Различные виды животных охотятся и пожирают друг друга. Различные виды растений живут одни за счет других. Животные и растения одного и того же вида ведут борьбу из-за пищи. Если пища имеется налицо в изобилии,—то взаимная борьба в пределах одного и того же вида ослабевает. Если же пищи недостаточно, то борьба за нее становится ожесточенной.

Все это приложимо и к борьбе различных видов, живущих один за счет другого. В этой борьбе с врагами и естественными условиями жизни за пределами вида и с конкурентами на пищу среди себе подобных выживают только самые лучшие, т. е. наиболее приспособленные,—и только они продолжают развиваться

*) Монизм—от греческого слова моно—один. Так называется теория, рассматривающая все явления, как части одного целого.

нормально. Именно этот процесс отделения приспособленных от неприспособленных и является естественным подбором.

Такая борьба за существование отнюдь не исключает сотрудничества; напротив, она ведет у многих видов к образованию колоний, стад и т. п., и такого рода социальные животные и растения оказывают друг другу взаимную помощь при защите от врагов и всяких жизненных невзгод, а также в поисках пищи. Тем не менее, подобное сотрудничество ничего не изменяет в основном законе борьбы за существование, ибо над всяким сотрудничеством всецело господствует закон естественного подбора и он часто уничтожает всякое сопротивление, оказываемое сотрудничеством. Это ясно выясняется при неблагоприятных условиях.

Сотрудничество может ослабить характер подбора, но оно никогда не в состоянии преодолеть самый закон.

Климат и географические условия имеют, конечно, большое значение в этих процессах.

Дарвин показал на многочисленных примерах, что животные, растения, естественные условия—все взаимно связаны между собой. Он доказал, что существование некоторых животных и растений совершенно невозможно без такого рода взаимных отношений.

В такой форме Дарвин диалектически использовал свою теорию. Но так как он не был знаком с настоящим значением и выводами диалектики и не провел в своих произведениях ясного и определенного понимания последней, то он не мог понять, что животные-люди, живущие в своих обществах, вступают в борьбу за жизненные продукты при совершенно своеобразных условиях и что последние не наблюдаются у иного вида животных.

Эта близорукость творца теории естественного подбора путем идейного влияния была усвоена его последователями, воспитанными, как и он сам, в буржуазном духе. Они поэтому не думали о том, чтобы изучить теорию своего учителя в ее специальной, социальной связи, существующей у животных-людей. Вот почему буржуазные последователи Дарвина даже в настоящее время стоят с закрытыми глазами пред борьбой за существование в обществах людей.

Правда, они видят, что у людей точно так же, как и у всех других животных, между отдельными индивидами имеет место борьба за жизненные продукты. Однако, они не замечают того факта, что эта взаимная борьба между животными-людьми

протекает по своеобразным законам. Они не замечают существования *„экономических классов“*, которые придают этой борьбе в зависимости от условий совершенно особенную форму. Пока мы только применяем нашу общую теорию естественного подбора Дарвина к взаимной борьбе людей, то мы не дооцениваем *экономической борьбы за существование* и тех своеобразных особенностей классовых отношений, при которых протекает у людей естественный подбор в неодинаковом при том хозяйственном строе.

Тут мы теряем из виду главный пункт, отличающий взаимную борьбу за существование у людей от чисто животной борьбы, и проводим грань между обществом людей и обществом животных. Тогда уже мы ничего другого не видим, кроме общих признаков сходства, и забываем при этом диалектически применять теорию Дарвина и Маркса, обращая в то же время внимание и на их различие. Таким образом, мы получаем полную картину человеческого развития.

Типичный пример односторонности чистого дарвинизма дает Эрнест Геккель, который утверждает, что борьба за существование ведет у людей к подбору аристократов и власть имущих. Это в сущности диалектически правильное понимание, так как здесь учтены экономические силы, на которых основывается подбор господствующих классов и в силу которых последние в один прекрасный момент *должны быть снова уничтожены.*

Но Геккель рассматривает один лишь чисто биологический подбор и делает тем самым дарвинизм слугой господствующих классов. Как образцовый учитель дарвинизма, развивающий эту теорию дальше, Геккель стоит на недосягаемой высоте в современном научном мире и заслуживает величайшего уважения. Мы, пролетарские последователи Дарвина, протестуем самым решительным образом против подобной классовой окраски биологических теорий.

На долю Маркса выпало счастье унаследовать диалектику Гегеля. Но эта диалектика была весьма односторонней. Она специально подчеркивала лишь развитие посредством противоположностей существующего одного *после* другого. Она мало придавала значения преобразованиям, совершающимся одновременно один *возле* другого, внутри одного и того же единого, целого универсума. Благодаря этому, изменения, совершавшиеся одни за другими, были так резко выдвинуты на первый план, что метаморфозы вещей, существующих одновременно и рядом друг с другом в процессе изменений, были почти отодвинуты из поля зрения и

рассматривались обыкновенно небрежно, как бы между прочим. Диалектика Гегеля сохранила эту односторонность и в своей видоизмененной марксовой форме.

В одном отношении односторонность марксовой диалектики оказала плодотворное влияние. Она привела Маркса к открытию специфических законов социального развития и прежде всего к открытию основного закона, по которому изменение в орудиях и способах производства вызывает переворот в хозяйственных, а следовательно, и во всех других общественных отношениях, что, следовательно, и является главным двигателем социальных революций. Пока орудия производства были несложны и сотрудичество между членами одной и той же общественной группы являлось необходимым для успешной борьбы за существование, не было никаких существенных различий в этой борьбе как у животных, так и у людей. Когда пищи было вполне достаточно, добывание ее было не трудно, климат был мягкий,—жить было легко даже наиболее слабым членам.

Если же пища была скудной, природа суровой, то тем значительно быстрей погибали более слабые члены, тем гораздо более ожесточенную жизненную борьбу вели более сильные и приспособленные.

Так естественный подбор выделял из среды людей наиболее приспособленных.

Но даже в примитивных обществах людей имелась налицо особенность, отделявшая в биологическом отношении людей от обществ животных. Некоторые животные могли, напр., собирать палки, траву, сухие листья, камни и т. д., употребляя их в качестве орудий или материалов. Однако, дальше этого они не шли. Они не могли *думать* о том, чтобы самим изобрести и усовершенствовать орудия. К тому же они не имели искусственных органов, с помощью которых они могли бы сделать такие усовершенствования. Они могли лишь пользоваться дарами природы в готовом виде, технические же изобретения они не в состоянии были сделать.

Не будем здесь придираться к букве. Здесь скорее мы имеем дело с различной степенью способностей, чем с радикально различными процессами. Мы знаем, что муравьи строят гнезда, пчелы ячейки, птицы изготовляют художественную ткань, что муравьи имеют даже домашних насекомых и разводят сады. Но их физиологическая организация удерживает их в известных границах,

которые они не могут переступить, а посему их технические усовершенствования не достигают того уровня, где они могут идти дальше органического разделения труда.

Люди же вышли из процесса естественного подбора, имея высоко развитой мозг и стройную систему пальцев. Благодаря этому, они оказались в состоянии связно мыслить и приготовлять сложные орудия, что было недоступно пониманию и способностям иного рода животных. Эти естественные качества, как результат естественного подбора, способствовали усовершенствованию орудий и экономическому разделению труда, которое все более и более отличается от совместной работы животных.

Там, где имеет место у животных общественное разделение труда, идущее дальше простого полового разделения труда между самкой и самцом в процессе размножения,—оно всецело зависит, как и половое разделение, от органической структуры.

Эти различия в структуре все более и более обостряются, благодаря их постоянному повторению и естественному подбору, что делает развитие обществ животных весьма медленным.

Напротив, у людей всякое общественное разделение труда, выходящее за пределы пола, вытекает из экономических, а не органических причин. Со стороны органической все люди имеют одинаковые, общие всем качества. Но усовершенствование орудий и способов производства ведет здесь все к большему экономическому разделению труда, которое вызывает не органическое, а именно экономическое, классовое различие. Не органический, а экономический подбор развивает классовой антагонизм между людьми. Это является специфической особенностью человеческих обществ. Общее сходство их обществ с обществами животных состоит в том, что тот и другой процесс являются различными видами естественного подбора.

Муравьи—солдаты, муравьи — рабочие, муравьи—офицеры остаются органически конструированными классами или сословиями, и их разделение труда в сущности остается неизменяемым. Это разделение труда закрепляется в том же самом направлении, по мере того, как естественный подбор обособляет эти различные органические типы, предназначая каждого из них для известной специальной работы. Такой органический подбор может повести к образованию новых видов, но никогда не вызовет какой-либо перемены в способах производства, которая могла бы создать органически одинаковые, но экономически неравные классы.

С другой стороны, все люди—рабы, господа, крепостные, рыцари, наемные рабочие, капиталисты—имеют одинаковую органическую структуру. Поставьте их рядом в голом виде, и вы не найдете ни одной типичной органической черты, на основании которой мы могли бы отнести того или другого из них к определенному общественному классу. Их различные занятия и социальное положение можно свести к экономическим причинам. Как бы долго ни существовали эти экономические причины, они не могут вызвать между имущими и подчиненными столь глубоко проникающего органического различия, чтобы органически закрепить их экономическое положение. Если же на естественный подбор органических качеств людей оказывает влияние их экономическое занятие, то это все-таки никогда не идет так далеко, чтобы человек сделался на продолжительное время неспособным занимать место в каком-нибудь одном общественном классе.

Конечно, мы имеем здесь в виду нормального, а не испорченного телом и духом человека.

Муравьи, строящие свои гнезда, пчелы, выделывающие ячейки, птицы, основывающие целые колонии, воздействуют на изменение окружающей их среды, они, следовательно, подобно людям, создают известную социальную среду. Но в то время, как общественная жизнь животных остается постоянно под господством органических различий, у людей она все более и более подпадает под власть экономических сил.

Эти экономические силы вводят новый элемент в общество людей и заставляют их вступать в борьбу между собой за жизненные продукты при совершенно своеобразных условиях. По мере развития экономического подбора, а, следовательно, и изменений, происходящих в общественной организации, люди приобретают все больший и больший контроль над естественными условиями. Этот двойной процесс, это взаимодействие между органическим и экономическим подбором идет рука об руку с прогрессивным ростом сознательного сотрудничества людей в направлении социального преобразования.

Базируясь на этом общем основании, Маркс исследовал особенные законы капиталистического производства. Он доказал, что аккумуляция капитала основывается на неоплаченном, прибавочном продукте наемных рабочих. Он показал, что как меновая стоимость, так и прибавочная стоимость товаров обусловливаются в последнем счете общественно-необходимым рабочим временем при данных условиях производства. Он показал далее, что аккумуляция неоплачен-

ного, прибавочного продукта неизбежно должна вести к перенесению экономической борьбы за обладание средствами производства и продуктами труда с экономической на политическую сферу и тем самым к уничтожению капитализма путем социальной революции рабочих.

Естественная борьба за существование у людей вытекает, следовательно, из экономической и политической борьбы эксплоататоров с эксплоатируемыми; в зависимости от условий она обостряется или ослабевает. Та и другая борьба следует своим собственным, специфическим законам, но обе они являются только формами всеобщей борьбы за существование. Общий закон подбора приложим к тому и другому виду борьбы.

Поскольку односторонняя материалистическая диалектика Маркса привела к открытию специфических законов экономического подбора, в числе которых закон развития классовой борьбы играет выдающуюся роль, постольку она создала новую науку, изучающую социальные основы развития и его тенденции.

Но, с другой стороны, эта односторонность принесла горькие плоды. Она содействовала образованию догматически настроенных групп, которые задерживали рост гармонического сотрудничества в среде революционных элементов современного рабочего класса. Это, конечно, случилось помимо воли Маркса. Оно явилось естественным результатом его односторонней диалектики. Среди рабочих различных капиталистических стран появилось бесчисленное количество фракций, которые раздували чисто тактические расхождения до степени принципиальных разногласий и посеяли массу недоразумений, бесконечные расколы и ссоры.

Виной во всем этом была, конечно, капиталистическая среда, но узкий диалектический материализм обострял по временам влияние капиталистических отношений вместо того, чтобы по мере возможности притуплять их влияние. Социалистическое движение еще не пережило этот период.

Главная причина этой братоубийственной борьбы скрывалась в том факте, что узкий диалектический материализм Маркса не выяснил вполне проблему человеческой мыслительной способности и не установил важного значения диалектического различения и соединения, осуществив эту проблему на практике.

Без диалектического различения и соединения дарвинизма, марксизма и диалектического монизма невозможно выяснить происхождение человеческой мыслительной способности, проследить

ее прогрессивное преобразование в силу естественных и социальных отношений, понять рост ее сознательного вмешательства и господства над природой и обществом и тем самым исследовать ее роль в волевых процессах.

С другой стороны, правильное понимание и усвоение этой диалектической связи выравнивает путь к прекращению многих разногласий в среде революционных рабочих, укрепляет марксистскую теорию и придает революционному движению большее единство и силу.

Недостаток диалектического понимания встречается среди чистых марксистов так же, как и среди чистых дарвинистов (и еще более среди чистых последователей Спенсера). Люди не понимают друг друга, когда обсуждают вопрос о взаимодействии между дарвинизмом и марксизмом или, вернее, между биологическими и социальными процессами.

Каждая сторона оспаривает мнение противников.

Чистые дарвинисты оспаривают положение марксистов, что классовая борьба в человеческом обществе является модификацией экономической борьбы за существование и что экономический подбор должен привести к победе пролетариата над буржуазией. С другой стороны, чистые марксисты отрицают идею, защищаемую некоторыми дарвинистами, что дарвинистская теория естественного подбора может применяться не только как аналогия, но и как естественный принцип исследования. Марксисты высмеивают идею о „биологической социологии". Дарвинисты острят по поводу „социологической биологии".

Если же мы поймем, что в обоих лагерях думают односторонне и что в одном случае видят только специфические особенности, а в другом—только общие черты сходства, тогда нам станет ясным, что те и другие правы и неправы. Каждый лагер защищает свою собственную теорию, не учитывая беспристрастно их взаимодействие, их сходство и наоборот. Отсюда оба приходят к односторонним выводам и создают такую атмосферу в области мысли, при которой более свойственны раздоры, нежели научное единение, и при которой наука девается чорт знает куда.

Итак, это следует иметь в виду. Следует научиться не выпускать из рук специфические завоевания мыслителей, прокладывающих новые пути. Но в то же время следует помнить, что без настоящей связи специфических особенностей с общими чертами сходства—получается карикатура.

Если вы приобретете способность работать и мыслить таким диалектическим способом, то вам не трудно будет в дискуссиях об отношении дарвинизма к марксизму отличать плевелы от пшеницы. Вы поймете также, что в обществоведении можно пользоваться теорией Дарвина об естественном подборе не только как аналогией, но и как естественным принципом исследования, не забывая и не пренебрегая при этом специфическими завоеваниями Маркса. И вы поймете, что теорией Маркса о стоимости и прибавочной стоимости в биологических исследованиях можно пользоваться не только как биологией но и как естественным вспомогательным средством для естественно-научного анализа, ничуть не отрицая при этом пользы специальных добавлений, сделанных Дарвиным.

Конечно, прибавочная стоимость, как экономическая категория, не то же самое, что прибавочная стоимость, как биологическая категория. И тем не менее, марксистский взгляд на прибавочную стоимость,—как общий принцип,—может быть очень хорошо применяем в биологии. В своем изменении и в своих результатах этот принцип должен варьировать в зависимости от специфической сферы исследования.

Некоторые люди не в ссстоянии, может быть, пользоваться инструментом, не разрушая при этом всего, до чего им приходится дотрагиваться. Однако, это не доказывает, что этот инструмент не годен для той цели, для которой применяет его неловкий человек. Это доказывает только, что данное лицо не обладает ловкостью. И таковы были до сих пор большинство чистых дарвинистов и чистых марксистов. Они были неловки не только в употреблении своих собственных орудий, но и в оценке орудий противников.

Ни Маркс, ни Дарвин не виноваты в этом.

Мы не осуждаем также наших товарищей, узких марксистов, или наших противников—чистых дарвинистов. Все они рассуждают с точки зрения своей теории. Мы должны понять это и надеемся, что они и нас тоже поймут.

Не может произойти никакого недоразумения при диалектическом употреблении марксистской или дарвинистской теории в социологии или биологии, если мы понимаем, что одна специфическая особенность дополняет другую. Некоторые пункты в социологии, только наполовину понятные, благодаря теории Маркса, становятся совершенно ясными при соединении дарвинистской те-

ории естественного подбора с марксистской экономической и политической эволюцией. И при биологическом исследовании некоторые пункты теряют свою загадочную неясность, если вспомнить марксистскую теорию о стоимости и трудовой стоимости

Если вы не забудете, что, согласно Дитцгену, вся вселенная есть есстественный организм, в котором человеческий дух и человеческое общество связаны со всей остальной природой, как неразрывные части ее, то вы легко поймете, что великие общие законы должны проникать во все части этой вселенной, все равно, будь это биологическое или общественное явление, процесс или предмет, тело или идея. Вы будете иметь в виду этот общий закон развития, но при этом вы будете также наблюдать те специфические формы, в которых он при различных условиях проявляется.

Теория Дарвина об естественном подборе заключает в себе универсальный закон в его особенной, биологической связи.

Закон Маркса о стоимости и прибавочной стоимости есть экономическое выражение универсального закона об энергии и добавочной энергии.

Соединяя эти законы, мы получаем в руки ключ, при помощи которого мы разгадываем загадку универсального развития.

Употребляя этот универсальный ключ, мы должны помнить, что частные различия и общие сходства, одновременные и одно за другим следующие движения, прошедшее, настоящее и будущее—все это органически родственно между собой и должно быть понимаемо в его взаимодействии.

Если бы Дарвин постиг это, он должен был бы понять „Капитал“ Маркса. Открывший одновременно с Дарвином закон об естественном подборе Альфред Уоллес понял его и согласился с выводами Маркса. Если бы Маркс все это вполне понял, то он предохранил-бы своих последователей от многих ошибок и непроизводительных растрат. Если бы Спенсер знал это, то его „Синтетическая философия“ явилась бы гораздо более ценным вкладом в диалектическую науку, чем это есть на самом деле...

Но они этого не знали, и мы понимаем, что при тех условиях, при которых они родились, воспитывались и принуждены были работать, они не могли этого знать. Каждый сделал то, что мог. И мы тоже не можем сделать больше. Мы можем, однако, кое-что улучшить, ибо Иосиф Дитцген усовершенствовал те орудия, которые были открыты первыми.

Мы знаем специфическую цену марксистских и дарвинистских орудий. Но мы понимаем также, что Дитцген создал аппарат, в который мы можем вставить оба инструмента и употребить для той же общей цели, т. е. для освобождения рабочего класса от господства капиталистов и для сознательного развития свободного человечества в таком обществе и такой вселенной, которые люди понимают и над которыми они,—поскольку пытаются подчинить их своим потребностям,—стремятся господствовать.

Дитцген Иосиф.

Дарвин и Гегель.

Как известно, философы часто и задолго вперед строят так называемые гипотезы, находящие впоследствии себе подтверждение в точных науках. Так, напр., физикам известен Декарт, математикам—Лейбниц, исследователям, изучающим образование небесных тел,—Кант. Вообще, философы пользуются, *по крайней мере, славой*, что они при помощи своего гения, открывая далекие светлые перспективы, плодотворно влияли на успехи науки. Этим мы прежде всего желаем указать на то, что расстояние между философией и естествознанием не так уж чрезмерно велико. Как в одной, так в другой науке работает *по одному и тому же методу* один и тот же человеческий разум. Естественно-научный метод *точнее*, но только по степени, а не по существу. Во всяком познании, и в естественно-научном также, наряду с ясным или материальным уживается в известной степени также темная и таинственная „материя"—материя познания, и самые гениальные перспективы, открываемые философами, несмотря или именно благодаря их таинственной *природе*, всегда все-таки „естественны". Плодотворный труд, направленный к известного рода посредничеству между естественным и духовным, является общей заслугой Дарвина и Гегеля.

Мы желаем по достоинству оценить значение почти забытого Гегеля, как предшественника Дарвина. Лессинг называл в свое время Спинозу „мертвой собакой". Точно так же отжил в настоящее время и Гегель, несмотря на то, что в свое время он, по выражению его биографа Гайма, достиг в литературном мире такого же значения, как Наполеон I в мире политическом. Спиноза давно воскрес из „мертвой собаки", и Гегель также будет оценен потомством по достоинству. Если его заслуги не пользуются признанием в настоящее время, то причина этого кроется в духе нашего времени. Как известно, этот учитель сказал, что из множества его учеников только один его понял, но и этот один понял его ложно. Это доказывает, что причина всеобщего непонимания должна скорее скрываться в неясности учения учителя, чем в непонятливости ученика,—в этом нет сомнения. Гегель не вполне понятен, потому что он сам себя не вполне понимал. Но, тем не менее, он является гениальным предшественником теории

развития Дарвина, и с таким же правом и на том же основании можно сказать обратное: Дарвин—гениальный завершитель гегелевской теории познания. Последняя представляет собой учение о развитии, обнимающее не только происхождение видов всей животной жизни, но и происхождение и развитие всех вещей; эта теория познания—мировая теория развития вообще. Неясности, вкравшиеся в нее еще у Гегеля, так же мало можно ставить в вину личности философа, как можно было бы поставить в вину Дарвину, что он по поводу своего „происхождения видов" сказал не последнее слово.

Можно сказать с уверенностью: кто об'ясняет все, тот ничего не об'ясняет. Великий мыслитель был далек от такого фантастического желания, хотя его последователи были близки к тому, чтоб возвести его в божество. Многие гегельянцы в свое время, действительно, верили, что им стоит только открыть рот, чтобы учитель вложил в него познание, которое явится для них спасителем; но нам известны и такие ученики, которые продолжали трудиться над обработкой перешедшей к ним от учителя нивы и на древе науки дали созреть чудным плодам

Будем относиться критически к Богу и ко всем людям, а также к Гегелю и Дарвину. У дарвиновской теории развития имеются свои неизгладимые заслуги. Кто может не признать этого? Но немец, выросший под влиянием своих великих философов, не должен упускать из вида, что великий Дарвин много ниже своего учения. Как он боязливо остерегается выводить необходимые заключения. Нельзя произвести слишком высокую оценку значения *точной* работы; но кто отрицает, что она должна сопровождаться если не полетом в область бесконечного, то все же бесконечным полетом, беспрерывным под'емом, тот не вполне понял значение точного экспериментального исследования.

Учение о развитии—мы не говорим законченное, но все же в значительной мере поднятое и подвинутое вперед Гегелем—подверглось, благодаря Дарвину, главным образом, в области зоологии, в высшей степени ценной и точной обработке или спецификации; нужно, однако, заметить, что спецификация не более ценна, чем обобщение, которым прославился Гегель; одно без другого не может и не должно существовать. Естествоиспытатель соединяет их вместе, и ни один философ, если только он заслуживает название философа, не упускает из виду этого соединения; характерным для этих двух отраслей является лишь большее или меньшее преобладание одной из них. Правда, необходимость спе-

циализации иногда не принималась в расчет лучшими философами или, быть может, эта необходимость не прорывалась ярким светом в их сознании. Но естествознание слишком часто также забывало об *общей* сути своей задачи; и поистине нельзя назвать самыми плохими работниками на ниве точной науки тех, кто уносился иногда черезчур высоко за облака. Эти спорадические полеты за облака естествоиспытателей и ясновидение философов в области точных наук должны служить для читателя доказательством того, что общее и специальное гармонируют одно с другим.

Всякое искусство—естественное искусство, хотя в наше время искусство еще так отделяют от природы; таким же точно образом и всякая наука, включая философию, является *естественной наукой.*

И у спекулятивной философии также имеется определенный об'ект исследования—*проблема познания.* Но мы сделали бы слишком много чести философам, если бы сказали, что они разрешили свою проблему. Представители других отраслей науки, специалисты по естественным наукам в более тесном смысле этого слова, содействовали этому; вообще, влияние науки всех родов, всех народов и всех времен является тесно сплетающимся с общим влиянием. Философия способствовала успехам естествознания, а естествознание—успехам философии, пока проблема познания не достигла той степени развития ясности и измеренности, на которой она находится в настоящее время.

Никогда не возникает споров относительно того, как должен называться предмет, который врач или астроном избирают об'ектом своего исследования, тогда как относительно об'екта философского исследования вначале было много подобных споров, так что тогда можно было сказать, что философы не знают, чего хотят. Теперь, наконец, после тысячелетнего развития философии выработалось убеждение, что „проблема познания" или „теория знания" была об'ектом и результатом философской работы.

Чтобы выяснить себе отношение между Гегелем и Дарвином, мы не можем не коснуться глубочайших и самых темных вопросов науки. Именно к ним относится об'ект философии. Об'ект Дарвина не допускает двух толкований: он знал свой предмет, но при этом следует заметить, что Дарвин, зная свой предмет, все же желал его исследовать, следовательно, он знал его не в совершенстве. Дарвин исследовал, но не исчерпал свой предмет—„происхождение видов". Это означает, что об'ект всякого знания бесконечен. Желает ли человек измерить бесконечность или один крошечный атом, все равно ему приходится иметь дело с неизмери-

мым. Как в целом, так и во всех своих частях, природа не исследуема вполне, т. е. не исчерпаема, не всепознаваема, следовательно, без начала и конца.

Познание этой *обыденной бесконечности является результатом* науки, тогда как вначале она стремилась к познанию сверхъестественной религиозной или метафизической бесконечности.

Предмет Дарвина так же бесконечен, как и предмет Гегеля. Один занимался исследованием происхождения видов, другой—исследованием процессов человеческого мышления. Результатом того и другого исследования является *наука о развитии.*

Мы имеем дело с двумя великими людьми и с великой задачей. Мы стараемся доказать, что эти люди впряглись в одну и ту же лямку и тянули бечевку в одном и том же направлении, а не рвались беспорядочно в противоположные стороны. Они подняли *монистическое мировоззрение* на небывалую высоту и подкрепили его положительными данными, неизвестными до тех пор.

Дарвиновская теория развития ограничивается разными видами животных: она уничтожает пропасти, созданные религиозным мировоззрением между различными классами и видами творений. Дарвин освобождает науку от этого религиозного взгляда на классы *в пределах этого специального вопроса,* изгоняет из науки религиозное учение о сотворении мира. В этом вопросе он на место трансцендентного сверхъестественного творения ставит обыкновенное естественное саморазвитие.

Чтобы доказать, что Дарвин не упал к нам с неба, мы напомним о Ламарке, благодаря которому, как известно, приоритет Дарвина является спорным. Этим нисколько не умаляются заслуги Дарвина, так как за Ламарком можно признать лишь философскую прозорливость, а Дарвин дает нам подробные доказательства своего учения.

Нашему Гегелю принадлежит заслуга, что он на *самых обширных* основах установил саморазвитие природы и самым широким и общим образом освободил науку от религиозного взгляда на классы. Дарвин подвергает существующий взгляд на классы критике в пределах зоологии, а Гегель—в пределах всей вселенной.

Наука пробирается от мрака к свету. И философия, занятая тем, чтобы внести свет в процесс человеческого мышления, также пробиралась вперед. То, что она к исследованию своего специ-

ального об'екта стремилась более инстинктивно, это почти выяснялось для нее еще до Гегеля.

Ее главные произведения вертятся вокруг „метода", вокруг критики применения разума, вокруг теории знания или учения об истине, вокруг способа, как человек должен мыслить, как он должен пользоваться своим разумом. Люди желали изучить ту специальную часть мира, которая служит орудием для освещения мира.

Мы обращаем внимание читателя в особенности на дуализм, на двойственность этого стремления осветить мир, а вместе с ним осветить и источник света, служащий для его освещения. Эта двойственность, главным образом, и вносит путаницу в исследования философов. Наука исходит из желания внести в мир свет и вначале не знает, за что взяться—за весь мир в целом, или исследовать его постепенно и по частям. Не раз уже она избирала при своих исследованиях практический путь, хотя ею не была еще установлена *норма*. Ко времени Гегеля в этом вопросе существовало еще много неясностей, но он был в значительной степени уже разработан. Именно Кант отказался от непосредственного стремления к исследованию всего мира в целом и прежде всего специально взялся за изучение части мира, процесса мышления. Этот вопрос, согласно укоренившемуся убеждению, относился, главным образом, к метафизическому классу сверх'естественных вещей. Своей критикой Кант сделал достаточно для освобождения интеллекта от этого вредного классового характера. Если бы ему это вполне удалось, если бы он нам вполне доказал, что разум—вещь, принадлежащая, как и все другие вещи, к разряду естественных вещей, то он, подобно Дарвину, пошатнул бы метафизическую классификацию и нанес бы меткий удар религии. Конечно, смелый Кант нанес этот удар, но он не совсем отрубил Малху ухо, а оставил кусочек его также и своим последователям.

Гегель—превосходный преемник Канта. Если мы поставим их обоих рядом, то один является иллюстрацией другого, а оба вместе—иллюстрацией Дарвина. Кант избрал разум специальным об'ектом своего исследования. Занимаясь исследованием разума, он неизбежно должен был включить и другие об'екты в круг своего исследования. Он рассматривал разум в его деятельности при изучении других наук; он рассматривает его в отношении к остальному миру и повторяет нам сто раз, что разум ограничивается опытом, т. е. одним неделимым миром, который одновременно

является и временным и вечным. Из этого читатель может заключить, как в учении Канта тесно связаны общая философия и специальная критика разума. С первого взгляда становится ясным, что открытие, сделанное Кантом относительно ограниченности познания, к которому способен человеческий разум, одновременно является философским естествознанием, естественно-научной философией. То же самое можно сказать о дарвиновском учении о „происхождении видов". По поводу этого вопроса оно естественно-научным путем доказывает, что мир развивается сам из себя, а не получает своего развития с небес „трансцендентальным" путем, как выражаются философы. Дарвин—философ, хотя он и не заявляет на это никаких претензий. В нем и его произведениях, как и в Канте и Гегеле, скрывается двойственность, являющаяся следствием того, что он работал не только специально для известной научной области, но *вообще* для создания *монистического* мировоззрения.

Гегель проповедует теорию развития; он учит, что мир не был сотворен, что он не представляет собой творения, *неизменного бытия*, а что он находится в состоянии постоянного *формирования*, совершающегося само собой. Как у Дарвина различные классы животных сливаются друг с другом, так у Гегеля неизбежно сливаются друг с другом все классы мира, ничто и нечто, бытие и формирование, количество и качество, время и вечность, сознательное и бессознательное, прогресс и застой. Он учит, что везде существуют различия, но не преувеличенные „метафизические" или чрезмерные различия. Согласно Гегелю, нет вещей, которые отличались бы друг от друга „по существу". Различие между существенным и несущественным следует понимать только относительно. Существует лишь *одно* абсолютное существо—это *космос*, а все, что находится в нем, вокруг него и около него, представляет собой непрочные преходящие изменчивые формы — акциденции или свойства главного существа, называющегося на языке Гегеля абсолютом.

Нельзя сказать про этого философа, что он свою задачу выполнил в совершенстве и вполне осветил поставленный вопрос. Его учение так же, как и учение Дарвина, не сделало излишней дальнейшую разработку их теории; но несомненно, что это учение послужило для всей науки и для всей человеческой жизни побудительным толчком, имевшим огромное значение.

Гегель был предшественником Дарвина, но, к сожалению, Дарвин не знал своего Гегеля. Это к „сожалению" не должно

выражать упрека по отношению к великому естествоиспытателю, но должно послужить для нас указанием на то, что труд специалиста Дарвина необходимо дополнить трудами великого обобщителя Гегеля и стремиться дальше к совершенной ясности.

Как упомянуто выше, философия Гегеля была так неясна и темна, что учитель мог сказать о лучшем своем ученике, что он не был им понят. Для внесения света в эту темную область трудились не только последующий философ Фейербах и другие гегельянцы, но к этому стремилось и все научное, политическое и экономическое развитие мира.

Если мы окинем взглядом открытия Дарвина и новейшее „видоизменение сил", то для нас должно, наконец, сделаться ясным, что именно в течение трех тысяч лет культурной жизни занимало лучшие умы, а именно, что мир составлен не из вечных классов, а представляет собой меняющее свои формы единство, настоящий, вечно развивающийся абсолют, который разделяется на классы только человеческим разумом с целью дать его изображение в известном представлении.

Эрнст Геккель, имеющий за собой большие заслуги, исследователь и ученик Дарвина, в предисловии к читанной им 18 сентября 1882 г. в Эйзенахе и позже отпечатанной лекции говорит следующее: „То положение, которое в настоящее время занял Вирхов по отношению к дарвинизму, совершенно отличается от положения, занятого им по отношению к этому вопросу пять лет тому назад в Мюнхене. Когда на вышеупомянутом собрании антропологов он стал говорить непосредственно с доктором Люце, то он (Вирхов) возражал не только *против* его принципиальных утверждений и не только отдавал справедливую дань Дарвину и выражал свое удивление перед его заслугами, но даже прямо признал, что главнейшие научные положения Дарвина являются *логическими постулатами*, неоспоримыми требованиями нашего разума". „Да,—говорит Вирхов,—я ни одной минуты не отрицаю, что generatio aequivoco есть своего рода всеобщее требование человеческого разума... Представление, что человек посредством медленного и постепенного развития произошел из низших животных, является также логическим постулатом".

„Для чистого познания природы,—читаем мы дальше в лекции Геккеля,—существует только то естественное откровение, которое открыто для каждого в книге природы и которое может из этой книги познать всякий человек без предрассудков, одаренный здоровыми чувствами и здравым смыслом. Из этого вы-

текает та монистическая, чистейшая форма веры, которая достигает своей высшей точки в убеждении в *единстве Бога и природы* и которая давно уже нашла свое совершеннейшее выражение в пантеистических признаниях наших величайших поэтов и мыслителей".

Что у наших величайших поэтов и мыслителей есть *стремление* к „монистической, чистейшей форме веры" и к воззрению на природу с физической точки зрения,—стремление, которое делает невозможной какую бы то ни было метафизику и не оставляет в научном мире места для сверх'естественного Бога и для остальных чудес,—во всем этом Геккель совершенно прав. Но когда его восторги заходят так далеко, что он заявляет нам, что это стремление „уже давно нашло свое совершеннейшее выражение", то это служит доказательством того, что он еще сильно заблуждается, даже заблуждается относительно самого себя и собственного символа веры. Даже *Геккель* не умеет еще мыслить *монистически*.

Сейчас мы более подробно докажем справедливость этого упрека; но мы заранее утверждаем, что этот упрек относится не только к Геккелю, а ко всей школе новейшего естествознания, так как она упускает из виду результаты двух с половиной тысячелетнего развития философии, имеющей за собой такую же долгую, построенную на эмпиризме, историю, как и опытное естествознание.

В упомянутой лекции Геккеля мы читаем:

„Мы здесь в особенности желали бы подчеркнуть *примиряющее и всеуравнивающее действие* нашего генетического воззрения на природу, тем более, что наши противники постоянно стараются приписать ему разрушительные и разлагающие стремления. Они уверяют, что эти разрушительные стремления направлены не только против науки, но и против религии, и таким образом вообще против важнейших оснований нашей культурной жизни. Такие тяжкие обвинения, если только они действительно основаны на убеждении, а не только на ложных выводах софистики, можно об'яснить полным непониманием того, что составляет настоящую сущность истинной религии. Эта сущность основывается не на какой-либо специальной форме веры или вероисповедания, а, напротив,—на добытом путем критики убеждении в существовании последней неоспоримой причины всех вещей. В признании того, что последняя первопричина всех явлений при настоящей организации нашего мозга для нас непознаваема, критическая натурфилософия сходится с догматической религией".

В этом признании Геккеля заключаются три пункта, которые мы отделяем друг от друга и которые должны доказать нам, что „монистическое миросозерцание“ не нашло еще совершенного выражения даже в словах самого радикального своего представителя в области естествознания:

1) Геккель хочет освободить естествознание от упреков в „разрушительной тенденции“. Это чистое знание, признающее только *естественное* откровение, и религия или верование которого заключается в вере в единство Бога с природой,—оно будто-бы

2) не имеет разрушительных стремлений по отношению к господствующей религии, основывающейся на неестественном или сверх'естественном откровении. Он утверждает, что у этой неестественной религии имеется будто бы истинная сущность, признаваемая естественной или научно-естественной религией, а именно—*общая первопричина* всех вещей.

Совершенно справедливо! У старой веры имеется общая первопричина всего бытия в лице воплощенного Бога, который является сверх'естественным, невыразимым, непостижимым духом или *тайной*. Новая религия à la Геккель полагает, что в природе, которую она называет старым именем Бога, она обладает общей первопричиной всех вещей. Таким образом, обе религиозные формы обладают общей первопричиной. Разница только в том, что естественно-научная первопричина—обыденная природа, которая хотя и достаточно таинственна, но заключает в себе лишь такие тайны, такие загадки, разрешением которых занимается естествознание. Природа, возведенная Геккелем на степень Бога, представляет тайну, но тайну естественную, обыкновенную, между тем, как Бог, вера в которого основывается на сверх'естественном откровении, по всем имеющимся о нем показаниям, обладает такой природой, которую совершенно нельзя выразить или определить словами. Но так как не остается ничего другого, как все-таки определять доброго Бога религии человеческими словами, то совершенно понятно, что все определения и слова теряют при этом всякий человеческий смысл. Поставим для примера рядом Бога религии и Бога-природу Геккеля: оба всемогущи; природа совершает все, что совершается, но только в естественном, обыденном смысле этого слова; добрый Бог на небе также совершает все, но не естественным, а сверх'естественным путем, в таком смысле и таким способом, которые не могут быть выражены и определены словами. Говорится, что Бог—дух, но не дух в роде тех, что бро-

дят в старинных замках, и не тот ограниченный дух, который обитает в голове человека, а такой дух, каким не бывает никакой другой дух, какой-то чудовищный дух, и выразить словами его свойства совершенно невозможно.

Прежде, чем мы перейдем к третьему пункту, „чистейшей формы верование", необходимо подробнее рассмотреть уже обозначенные выше пункты; тем скорее справимся мы потом с третьим и последним пунктом и с заключительным соединением всех трех в один.

Различие между откровением обыденно-естественным и неестественным, между откровением физическим и метафизическим, религией и божеством так велико, что чистое воззрение на природу, представленное дарвинистом Геккелем, с полным правом могло-бы отказаться от старых имен и от созданной посредством откровения божественной религии и выступить против нее со своим монистическим миросозерцанием с его „разрушительной" тенденцией. Если дарвинизм не исполняет этого, то это является лишь доказательством того, что его учение и развитие скована еще предрассудками. Поскольку дарвинизм стремится стать монистическим учением, он должен был-бы смотреть на природу с физической, а не с метафизической точки зрения, он должен видеть в ней первопричину всех вещей, первопричину, правда, неисследованную, но отнюдь не таинственную, которая будто *не поддается* исследованию,—отнюдь не первопричину в метафизическом смысле слова.

О том, что Геккель, являясь самым передовым представителем монизма в области естествознания, еще не в состоянии расстаться со своим дуалистическим коньком, с поразительной ясностью свидетельствует третий пункт, где он высказывает, что „при настоящей организации нашего мозга" последняя первопричина всех явлений *непознаваема*.

Что значит слово *непознаваема*?

Весь смысл того предложения, где употребляется это слово, является явным доказательством того, что естествоиспытатель еще не расстался с метафизикой. Нет такой вещи, такого крошечного атома, которые можно было бы познать до конца. Они неисчерпаемы в своих тайнах, так же вечны и несокрушимы. Но мы с каждым днем научаемся все лучше узнавать вещи и понимать, что не существует ничего, что было бы недоступно для нашего разума. Как неограничен человеческий разум в разоблачении

тайн, как неисчерпаем оказался он в новых открытиях, так неограниченно и ясно открывается перед нами неисчерпаемое и непознаваемое до конца как в отдельности, так и в общем.

„Старая вера“ повинна в том, что слова и наш язык имеют двойной смысл: смысл естественный, относительный, обыденный и сверх'естественный, метафизический смысл. Пусть читатель обратит внимание на двойственный результат естествознания, слившегося с метафизикой; в естествознании заключаются тайны, и посредством подобного разоблачения распространяется сознание, что то, что было тайной, стало, благодаря исследованию, обыкновенным, обыденным порядком вещей. Природа полна тайн, которые для пытливого разума оказываются простыми, обычными явлениями. Природа неисчерпаема в создании научных проблем. Мы исследуем их и не можем придти к концу с этим исследованием. Человек со здравым умом совершенно прав, находя, что мир или природу нельзя исследовать до конца, но он также совершенно прав, отвергая *метафизическую* непознаваемость мира, как суеверие и как основанную на преувеличении нелепость. Мы не можем придти к концу с исследованием природы, но, несмотря на это, чем дальше подвигается естествознание в своих исследованиях вперед, тем более становится очевидным, что для него совсем не страшны неисчерпаемые тайны природы, что здесь, согласно Гегелю, *нет ничего, что противостоит ему.* Из этого следует, что неисчерпаемая „первопричина всех вещей“ является источником, из которого мы ежедневно черпаем и именно нашим орудием познания, которое также универсально и бесконечно в своей способности к исследованию, как бесконечно богата природа своими обыденными тайнами.

„При настоящей организации нашего мозга“! Несомненно! Наш мозг еще сильно разовьется, благодаря половому подбору и борьбе за существование, и все лучше и лучше будет разбирать по частям естественную первопричину. Если это сказано в таком смысле, то мы с этим охотно соглашаемся. Но находящийся в сетях метафизики дарвинизм хочет сказать совсем другое. По его мнению, человеческий разум черезчур ничтожен для исследования мира, поэтому необходимо верить в „высший“ сверх'естественный разум и не противопоставлять ему „разрушительных“ тенденций.

При всех своих великих заслугах Дарвин был черезчур скромным человеком; он довольствовался специальным исследованием. Всякий должен быть таким нетребовательным; но не всякий или

не все должны довольствоваться этой специальностью. Наука должна заниматься изучением не только морфологии разных видов растений и животных, но он также обязан и может наблюдать, как превращается непознаваемое в познанное, и не должно исключать из области исследования также и первую причину всего бытия и всего развития.

Гегель изложил свое учение о развитии в гораздо более универсальном виде, чем Дарвин. Поэтому мы не желаем отдавать одному из них предпочтение или ставить одного выше другого, мы желаем только одного другим дополнить.

Если Дарвин говорит о том, что амфибии и птицы не представляют собой разделенных с начала веков классов, а являются порождениями жизни, происходящими друг от друга и сливающимися друг с другом, то Гегель учит, что *все* классы, весь мір представляет собой живое существо, не имеющее нигде прочных границ, так что даже познаваемое и непознаваемое, физическое и метафизическое сливаются в одно, и нечто абсолютно непостижимое является предметом, который относится не к монистическому, а к религиозному дуалистическому міровоззрению.

„Мы должны вернуться не менее чем за двадцать пять столетий к седой старине классической эпохи,—говорит Геккель,—чтобы найти первые ростки натурфилософии, вполне сознательно преследовавшей цель Дарвина—указать *естественные причины* явлений природы и таким образом вытеснить веру в сверх'естественную причинность, веру в чудеса. Основатели греческой натурфилософии в седьмом и шестом столетиях до Р. Х. впервые положили этот истинный краеугольный камень познания и стремились познать естественную общую первопричину всех вещей".

Если заслуженный исследователь отказывается от этой *„естественной"* первопричины и заменяет ее *„метафизической первопричиной"*, которая настолько чудесна, что мы совершенно не в состоянии ее постигнуть, если он, следовательно, подставляет таинственную мистическую первопричину, в которую мы должны верить и которая нас соединяет с религией,—разве он в подобном случае не изменяет общей задаче Дарвина и своей критической натурфилософии?!

Согласно *нашему* монизму, природа является первой причиной всех вещей; она является также причиной нашей способности познания, и все же эта способность, согласно Геккелю, слишком мала для познания первой причины. Как примирить это противо-

речие? Природа познана, как первая причина, и в то же время она должна оставаться „непознаваемой“?!

Страх перед разрушительными тенденциями овладел даже таким решительным теоретиком эволюции, как Геккель; он отдаляется от своей теории и не может освободиться от веры, будто человеческий разум должен ограничиться *явлениями* природы и не может приблизиться к настоящей сущности природы; для него последняя первопричина—об'ект, не относящийся к естествознанию.

„Эта умеренность принимающего или скупость дающего не приличествует знанию“, говорит Гегель в предисловии к своей „Феноменологии духа“ и затем продолжает: „Кто ищет только возвышающего душу настроения, кто хочет все земное многообразие бытия и мысли окутать туманом и требует неопределенного наслаждения этим неопределенным божеством, тот пусть сам подумает о том, как достигнуть этого; для него будет нетрудно создать себе какие-нибудь фантастические грезы и упиваться ими. Но философия должна остерегаться стремления доставлять известное настроение“.

Цель Дарвина изображена нам наиболее признанным его учеником в виде философской цели—указать естественные причины и вытеснить сверх'естественную причинность, т. е. веру в чудо. И все-таки при всем этом должна быть сохранена удивительная непостижимость общей первопричины всех вещей, удивительная ограниченность человеческого разума в целях поучительного примирения.

Наш упрек дарвинисту Геккелю клонится к тому, что он совершенно не усвоил себе результатов двух с половиною тысячелетнего развития философии, и вследствие этого ему, пожалуй, могут быть в точности известны свойства „современной организации нашего мозга“, но он может при этом совершенно не понимать свойств отличающегося от этой организации процесса познания. По крайней мере, вышеприведенные цитаты служат доказательством того, что суждение Геккеля о естественном и неестественном, о чудесном и познаваемом, как и его понятия о естественном божестве и о божественной природе построены не на основах монизма, а все еще не свободны от очень отсталого дуализма.

Относительно пантеистического верования наших величайших поэтов и мыслителей, которое достигло своей высшей точки в

уверенности в единстве Бога и природы, Гегель оставил нам особенно характерное учение. Согласно этому учению, нам известно не только единство, но и различие вещей. Шпиц—такая же собака, как и мопс, но это единство не служит препятствием для различия. У природы, конечно, большое сходство с Богом: она царствует также испокон веков. Так как наш разум является ее естественным орудием, то природа знает все, что известно; она всезнающа. Но, несмотря на это сходство, естественная философия, однако, в такой степени отличается от божественной, что существует достаточно научных причин для разрушительного стремления совершенно упразднить Бога, религию, метафизику,— упразднить разумно, поскольку они могут быть упразднены. Эти смутные идеи уже однажды существовали, и то, что они существовали, останется, следовательно, на веки вечные.

Гегельянец является тоже только научным, но не непримиримым противником религии. Мы признаем ее охотно, как естественное явление, которое в свое время и при известных обстоятельствах имело полное право на существование и в котором, как во всех явлениях, как в камне, в дереве, в преходящей оболочке, скрывается зерно вечности. Что Гегель упустил из виду или недостаточно обработал, то выполнил его ученик Фейербах: он в достаточной мере высвободил зерно и показал, что сожженное дерево превращается не в ничто, а в золу, и при этом претерпевает такое изменение, что применение к нему прежнего названия становится невозможным. Превращение дерева в золу является развитием; таким же образом и религия развивается в науку. Но если у дарвиниста еще есть желание видеть в первоначальной причине нечто неразвитое и неподдающееся развитию, нечто мистическое и метафизическое, то он доказывает этим, что он не понял учения о развитии в его универсальности и что великий Гегель, развивший учение о мышлении, является для него „мертвой собакой".

Бросим поверхностный взгляд на труд Дарвина: его предмет—животное вообще, *животность*, животная жизнь в смысле рода. До Дарвина нам были известны только живущие отдельные экземпляры животных, животное вообще существовало лишь как отвлеченное понятие. Но со времен Дарвина мы узнали, что не только отдельные экземпляры, но и животное вообще является живым существом. Это собирательное животное существует, движется и изменяется, переживает *историю*, представляет собой ор-

ганизм, состоящий из многих членов. До Дарвина разделение животного мира было установленным нами шаблоном; мы делили его на следующие классы: рыбы, амфибии, насекомые, птицы и т. д. Дарвин внес жизнь в этот шаблон; он доказал нам, что собирательное животное представляет собой не мертвое отвлеченное понятие, а движущийся *процесс*, лишь *скудную картину* которого давало нам до сих пор наше познание. И если прежнее знание животных доставляет нам скудное, а новое, дарвиновское—более богатое, полное и верное изображение этого процесса, то польза, проистекающая от этого для нашего познания, не ограничивается одной животной жизнью: мы одновременно приобретаем познание, относящееся к нашей познавательной способности, а именно—что последняя не сверх'естественный источник истины, а похожее на зеркало орудие, *отражающее* вещи мира или природу.

Дарвин был сугубый метафизик; и, быть может, не подозревая и не желая этого, он нанес серьезный ущерб метафизике, вере в чудеса; он устранил из зоологии неестественные границы, разделяющие классы, и нанес возвышенной вере в метафизическую, чудесную природу человеческого органа познания удар, засевший очень глубоко и в значительной мере освещающий философию, критику разума или теорию знания.

Если не сам Дарвин, то ученик его Геккель выяснил нам, что его учитель был славным борцом, сражавшимся против метафизики. Это—тот пункт, где он сходится с Гегелем и со всеми философами. Все они стремились внести свет в науку и в особенности внести свет в метафизические преувеличения, хотя бы даже сами они в большей или меньшей степени находились в их власти.

У Гегеля много родственного с древним Гераклитом, получившим прозвище „темного". Они оба учат, что вещи мира не неподвижны, а постоянно находятся в движении, т. е. развиваются; и оба заслуживают названия „темный". Чтобы внести сколько-нибудь света в гегелевскую темноту, мы должны сделать краткий обзор развития философии.

Наука начала свою жизнь скорее с философии, чем с естествознания, т. е. вначале ее обиталищем были скорее преувеличения метафизики, чем реальная природа. Конечно, у человечества издавна уже замечались порывы к естествознанию, точно также как мы теперь у наших новейших исследователей замечаем, что они часто еще впадают в устарелую философию; но мы не можем, однако, с полным правом сказать, что старые представители

науки были философы, а новые—естествоиспытатели. Теперь, наконец, уравнение близко или даже уже существует. Ныне дело идет о вполне систематическом, естественном миросозерцании, вокруг и около которого нет ничего сверх'естественного, ничего „возвышающего", ничего метафизического.

Со времени греческих классиков, со времен Фалеса, Демокрита и Гераклита, Пифагора, Сократа и Платона, искали разрешения *загадки природы.* Относительно способа исследования, относительно того, следует ли искать разрешения проблемы во внешнем или внутреннем мире, в материи или духе—относительно этого вечно существовали колебания и сомнения. Даже в новейшее время, когда после тысячелетней ночи забрезжил для науки новый день и исследователи снова взялись за дело своих древних предшественников, во времена Бэкона, Декарта и Лейбница, все еще велись споры „о методе" и настоящем „органоне" для открытия истины. Весь вопрос возбуждал целый ряд сомнений; особенную трудность представляет из себя природа истины, которую надлежало исследовать, и загадки, относительно которых следовало решить, естественна или сверх'естественна их природа; все эти проблемы возбуждали такие большие сомнения, что Декарт, как известно, выставил *сомнение* первым условием и главным достоинством исследования.

Однако, на этом наука не могла остановиться, ей необходима была *уверенность* и именно в том пункте, который был особенно дорог Декарту и всем философам.

Она желала знать с уверенностью метод, как производить исследование, чтобы достигнуть научной истины, тожественной с уверенностью. В то время естествознание уже начало применять на практике тот метод, которого еще искали философы. Гениальный Картезиус или Декарт, как он называл себя в частной жизни, был отчасти естествоиспытателем, и в философии он также подвинулся на столько вперед, что сделал упомянутый „метод" определенным, ясно сознанным предметом своего главного сочинения.

Понемногу все больше и больше светает. Метафизика, непостижимое, тайна—все это принуждено покинуть науку, и наместо их должна быть добыта несомненная уверенность. Развитие идет полным ходом. Философия мощно развивается и естествознание ей оказывает огромную пользу.

Тут выступает великий Кант с вопросом: „каким образом возможна метафизика, как наука".

Будем придерживаться того, что подразумевает кенигсбергский старик под словом „метафизика“. Он этим словом обозначает чудо, тайну, непостижимое и оставляет за ним обычное теологическое название, которое он приводит буквально: *Бог, свобода и бессмертие.*

Об этом вы достаточно спорили,—говорит Канг. Поэтому я хочу исследовать, существует ли возможность *знать* что-либо об этом. И он берет для себя примером Коперника. После того, как астрономы в продолжение достаточно долгого времени заставляли солнце кружиться вокруг земли и это им не вполне удавалось, Коперник повернул метод и сделал попытку, не выйдет ли лучше, если остановить солнце и заставить кружиться землю. Человек до времен Канта стремился силою своего мышления исследовать великий вопрос метафизики, существование чуда мира. Знаменитый критик разума повернул вопрос и занялся исследованием той части природы, горение которой человек *чувствует* в своем мозгу; он занялся исследованием того светильника, над которым уже до него было произведено много опытов; он хочет исследовать, можно ли этими светильниками осветить также и огромную гидру, носящую со времени христианства название: Бог, свобода и бессмертие, а у философов классической древности фигурировавшую под именем истины, добра и красоты.

Это *классическое* название легко может ввести нас в заблуждение. Необходимо отличать истинные, добрые и прекрасные специальности, какими постоянно занимаются точные науки, от той гидры, которая представлялась воображению древних при исследовании этих отвлеченных понятий. Название, данное этому безмерному метафизическому чудовищу христианством,—название, которым его обозначает и Кант, при современной стадии этого вопроса является более подходящим, чтобы резко оттенить различие между физикой и метафизикой, между разумно-естественным и бессмысленным или нечувственным, иным миром.

Но, с другой стороны, значение гидры остается для нас непонятным, если мы наше внимание обращаем исключительно на ее *религиозную* окраску. Ее брюхо окрашено в желтый цвет, и там сверкают Бог, свобода и бессмертие; спина же ее носит окраску окружающей природы, благодаря чему она, подобно белым зайцам в снегу, ускользает от нашего внимания. Приблизимся и всмотримся хорошенько, и мы увидим, что на серой спине в более темных тонах отпечатано древне-греческими буквами: „истина, добро и красота“. Если мы постараемся в одном слове выразить

смысл надписей, которые находятся на спине и брюхе философско-теологически-метафизической гидры, то самым подходящим обозначением для этого зверя с красивым именем будет несомненно: „истина“. Мы не должны упускать из виду двойного смысла этого слова. Истина, представленная гидрой, чрезмерна. Но она покоится на естественном основании, на основе естественной истины, которую необходимо отличать от истины метафизической. Естественная истина—истина научная, она не требует, чтобы на нее смотрели в восторге, как на нечто „возвышающее“, а желает чтобы к ней относились трезво, и она так обыденна или всеобъемлюща, что все материальные вещи, даже камни мостовой, принадлежат к ней. Истина, представительницей которой является гидра,—заблуждение тех далеких времен, когда человечество находилось еще в детском возрасте, между тем, как трезвая истина является собирательным именем, заключающим *в одном понятии* настоящие фантастические грезы и настоящие камни мостовой.

Кант поставил вопрос: каким образом возможна метафизика, т. е. вера в чрезмерное, в качестве науки? И отвечает: эта вера не научна. Изучив интеллект со стороны его способностей, Кант приходит к выводу, что человеческий разум может создавать только изображения явлений природы, и в науке он не знает и не хочет знать никакого другого „истинного“ разума. И если даже время для такого радикального об'яснения тогда еще не совсем созрело, то, тем не менее, всему миру известно, что кантовское исследование кончается признанием, что разум, под которым понимается высшая мера наших интеллектуальных усилий, может постигнуть лишь *явления* вещей.

Вопрос о гидре превратился в обработке философа Канта в трезвый научный вопрос о том, что такое человеческий разум, что это за светоч и что может быть освещено при его помощи. Но Кант не может выбраться вполне из путаницы относительно того, должен ли он бороться с метафизической гидрой, или критиковать разум, или заняться тем и другим вместе. Его последователи Фихте, Шеллинг, Гегель должны ему помочь. Посредством исследования человеческого разума должна быть раздавлена голова гидры—это непреложно: настолько кенигсбергский Коперник расчистил дорогу. Но наш восторг перед его геройским поступком не должен простираться так далеко, чтобы заставить нас забыть о том, что душой его и его последователей все еще владеет злая метафизика, вера в истину более высокую, чем истина естественная. Чудовищное они скорее чувствуют, чем познают, и они лишь шаг за шагом подвигаются к победе.

Кант рассуждает следующим образом: если даже наш разум ограничен только познанием *явлений* природы, если мы даже ничего больше не можем *знать*, то мы все-таки должны *верить* в нечто таинственное, высшее, метафизическое. Что-то должно скрываться за явлениями, „ибо, где имеются явления, там должно быть и нечто, что является", заключает Кант; это заключение лишь повидимому логично. Разве недостаточно, если явления природы являются? За этим может не скрываться ничего чрезмерного, непостижимого, кроме собственной природы явлений. Но оставим это. Кант выпроводил метафизику, по крайней мере, формально, из области науки и указал ей область *веры*.

Для его последователей и, главным образом, для нашего Гегеля это показалось чрезмерным. Вера в ограниченный человеческий разум, завещанная Кантом, пределы, поставленные им научному исследованию, были для великана мысли слишком малы и тесны; он стремился к универсальному и „не должно было существовать ничего такого, что устояло бы против него". Из метафизической темницы он рвется в чистую атмосферу физики; но это не означает, что сам Гегель был духовно свободен и поэтому хотел помочь другим достигнуть свободы. Нет, исследователь еще не освободился сам и хочет достигнуть знания; его разум, его пламя—только частица общего пламени, горящего во всяком человеке, которое хочет и может все осветить, но которое, однако, только постепенно пробирается вперед.

Вследствие этой в большей или меньшей степени запутанной природы вещей, и наше изложение может быть только запутанным. Мы желаем выяснить связь, существующую между старыми философами и их „последним рыцарем", между Гегелем, Дарвиным и общей наукой; этим об'ясняются наши эпизодические забегания вперед и возвраты назад.

Чтобы выяснить гегелевское учение в его отношении к дарвиновскому, следует прежде всего иметь в виду затемняющую смысл двойственную природу всей науки. Всякий исследователь, и Дарвин также, освещает не только свой специальный предмет, который он сознательно изучает, но одновременно и неминуемо его отдельные труды способствуют внесению света в отношение человеческого разума к миру и его совокупности. Это отношение было первоначально рабским, религиозным, негуманным. Человеческий разум смотрел на себя и мир, как на загадку, которую он не в состоянии осветить светом своей науки, но которой он мечтательно дивился, как подавляющему его чуду метафизики. Всякий

вклад в науку с самого начала жизни народов ослаблял эту рабскую цепь, которая прирождена нашему роду. Этим стремлением были охвачены как философы, так и естествоиспытатели; они сообща трудились над ослаблением цепи, и дело до сих пор шло очень успешно. Но естествоиспытатели не имеют никакого основания смотреть на своих коллег философов свысока. Некоторые из них во главе с Дарвиным направляют свой взгляд прямо на избранный ими специальный предмет и косятся в сторону мировой загадки. И если даже Дарвин определенно об'являет, что наука не имеет ничего общего с гидрой, и таким образом устраняет этот предмет с своего пути, или à la Кант переносит его в область веры, то это только суб'ективные ограничения или трусость, которые можно простить отдельным лицам, но которые не должны заковывать в цепи универсальную природу человеческого рода. Здесь нельзя сказать: по эту сторону находится знание, а по ту сторону—вера; здесь требуется разрешение *всех* сомнений, и чье учение противится этому, тот, как малодушный, будет отвергнут потомством.

Выше мы сказали: натуралисты смело *устремляли свой взгляд* на свою специальность и *косились* в сторону чудовищного мира чудес. Теперь мы к этому прибавим: философы направляют лучи источника своего интеллектуального света прямо на великую гидру и при этом приходят в такое замешательство, что косятся на источник собственного света. Двойственность тех и других—к этому познанию привело развитие вещей—побеждена благодаря открытию, что человеческий разум или светоч, освещающий вещи, той же природы, того же рода, что и освещаемые об'екты.

Кант оставил своим наследникам в наследство чрезмерно скромное убеждение, будто свет познания человеческого рода слишком ничтожен, чтобы осветить великое чудовище. Если доказано, что он не слишком ничтожен, что наш свет не меньше и не больше, не более и не менее чудесен, чем об'ект, подлежащий освещению, то вера в чудесное или в гидру, т. е. вера в метафизику, убита. Итак, человек должен расстаться со своею чрезмерною скромностью; и этому существенным образом способствовал наш Гегель.

Для основательного знакомства с положением дела требуется восстановить исторический ход событий шаг за шагом и во всех подробностях. Тем не менее, мы и в этом случае можем ограничиться лишь кратким очерком, так как общее образование в наше время настолько подвинулось вперед, что причастному к

нему читателю легко будет самому дополнить недоконченную картину.

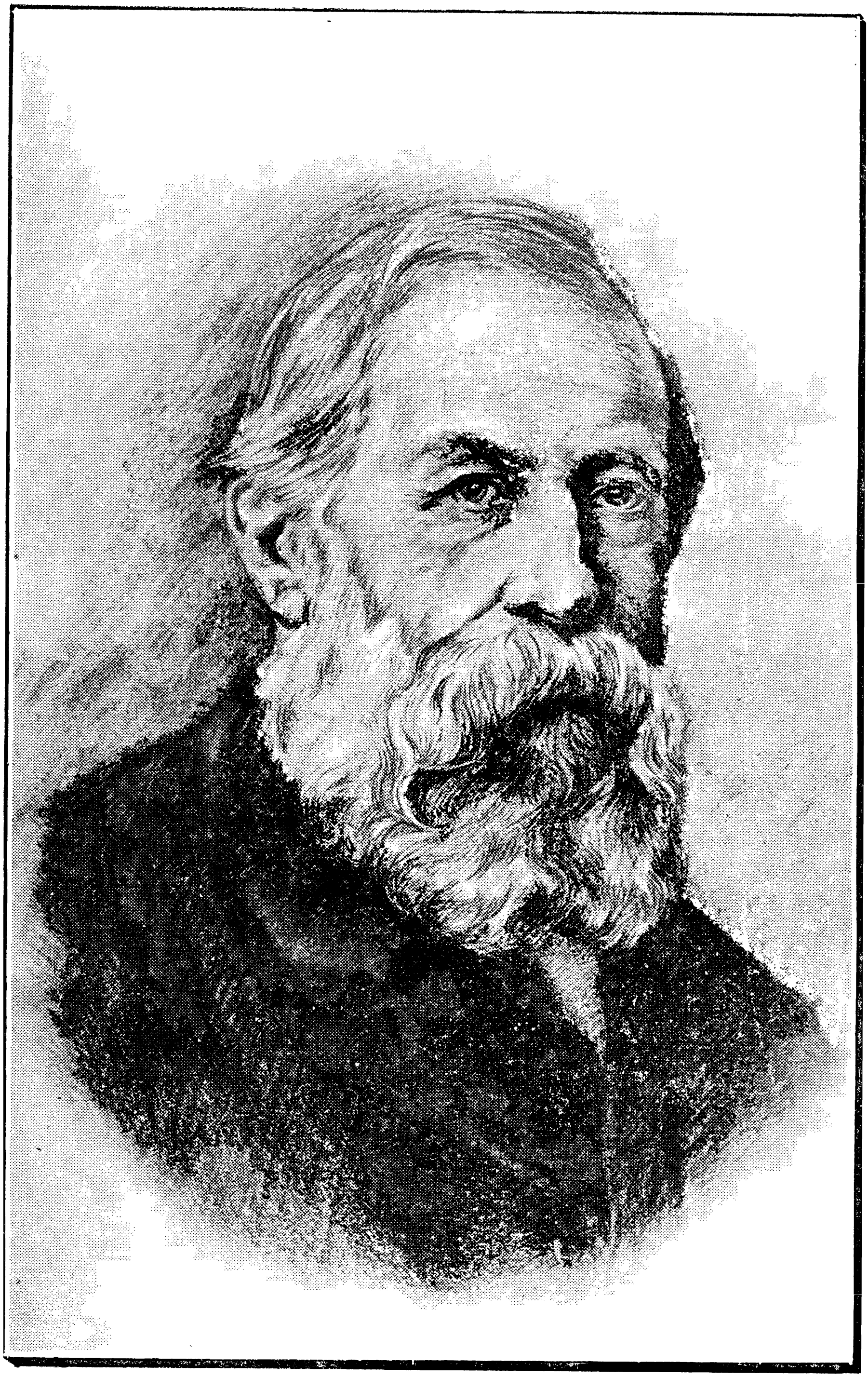
Несмотря на существующее между ними различие, труды Дарвина и Гегеля ведут общую борьбу с метафизикой, с бессмысленным и нечувственным. Поставив себе задачу установить как различие, так и то общее, что связывает названных исследователей, мы не можем не включить в круг нашего серьезного рассмотрения и великую гидру. Но затею эту привести в исполнение довольно-таки трудно, благодаря множеству имен, дававшихся на протяжении истории этому чудовищу. Что такое метафизика? Судя по названию, она была отраслью науки—была, но тень ее заметна и в настоящее время. Чего она ищет, чего хочет? Конечно, просвещения! Но относительно чего? Относительно Бога, свободы и бессмертия,—это в наши дни звучит совсем как пастораль. И если мы ее содержание определим названием классической древности: истина, добро и красота, то все-таки очень важно об'яснить себе и читателю, чего собственно ищут и хотят метафизики; иначе нельзя в достаточной мере определить и выяснить заслуги Дарвина и Гегеля, ни того, что они совершили, ни того, что они упустили из виду и что, следовательно, надлежит совершить потомству.

Невозможно определить гидру вполне подходящим названием, так как у нее слишком много названий. Она ведет свое существование со времен, когда человеческий род еще находился в детском возрасте, и лингвисты согласны в том, что в те древние времена вещи обозначались многими названиями, а названия служили обозначением для многих предметов, отчего возникла большая путаница, исследованная в наше время и признанная источником мифологии.

Прочтите, напр., что Макс Мюллер говорит об этом в своей „Chips of a German worbshop“. Мы узнаем из этого труда, что религиозные и сказочные учения язычников и христиан являются не дикой нелепостью, а представляют собой естественное развитие богатств языка. Обвинение первобытных народов в избытке поэзии относится к их языку. Несмотря на то, что мы теперь стали очень рассудительными, мы все еще говорим: „он убил время“. Подобные осмысленно и разумно разукрашенные образы служили нашим предкам, особенно склонным к поэзии и преувеличению, для украшения метафизического мира чудес. Название всегда есть и было образом для обыденной вещи. Кто забывает об этом и приписывает словам чрезмерное значение, тот впадает в метафизику; она

является родовым понятием для всех мифологических сказок. Поэт—это сознательный мифолог, мифология—бессознательная поэзия. Из этого следует, что когда мы говорим о мире чудес, то все зависит от сознания, которое участвует в этих словах. Чудесно, небесно, божественно, невыразимо и непостижимо, несомненно все, что существует, если эти слова должны служить только для того, чтобы дать выход нашим чувствам. Но только никто не должен просто и трезво высказывать следующее: все, что существует, является гидрой и находится в связи с неестественной истиной или с чем-то таким, что фантазеры метафизики называют Богом, свободой и бессмертием.

Делом всего хода образования человечества было стремление овладеть отнюдь не поэзией вообще, а лишь бессознательно преувеличенной поэзией, и над этим трудились все представители науки, отчасти преднамеренно, а отчасти невольно.



Фридрих Энгельс.

Ферри Энрико.

Дарвинизм и коллективизм.

I.

Вирхов и Геккель на Мюнхенском конгрессе.

18-го сентября 1887 года Эрнест Геккель, известный иенский эмбриолог, произнес на конгрессе натуралистов в Мюнхене блестящую речь в защиту дарвинизма, являющегося в настоящее время предметом самой ожесточенной полемики.

Несколько дней спустя Вирхов, великий патолог, деятельный член парламентской партии прогрессистов и такой же противник новшеств в политике, как и в науке, жестоко обрушился на дарвинову теорию органической эволюции; он проявил очень тонкое чутье, нападая на нее так резко и предавая ее политическому проклятью. „Дарвинизм,—вскликнул он,—прямо ведет к коллективизму".

Немецкие дарвинисты, с Оскаром Шмидтом и Геккелем во главе, выступили с немедленным протестом. Чтобы не прибавлять к целой массе религиозных, философских и биологических возражений против дарвинизма еще и этого важного политического предупреждения, они утверждали, что теория Дарвина находится, напротив, в явном и абсолютном противоречии с коллективизмом.

„Если бы коллективисты были догадливы (писал Оскар Шмидт в „Ausland" 27 ноября 1877 г.), они сделали бы все, чтобы задушить теорию происхождения видов, так как эта доктрина ясно показывает, что идеалы коллективистов неосуществимы".

В самом деле, говорил Геккель, нет другой научной доктрины, которая провозглашала бы более открыто, чем теория происхождения видов, что равенство индивидов, к которому стремится коллективизм, невозможно, что это химерическое равенство находится в абсолютном противоречии с естественным неравенством индивидов, существующим повсюду в жизни.

„Коллективизм требует для всех граждан равных прав, равных обязанностей, равного благосостояния, равных наслаждений, теория же происхождения видов, напротив, доказывает, что осуществление этих желаний просто-на-просто невозможно, что в че-

ловеческих обществах, как и в животных, ни права, ни обязанности, ни блага, ни наслаждения всех членов ассоциации не будут и никогда не могут быть равными.

„Великий закон диференциации учит как в общей теории эволюции, так и в биологической ее части, в теории происхождения видов, что разнообразие явлений вытекает из первоначального единства, различие функций—из первоначального тождества, сложность организации—из первоначальной простоты. Условия существования индивидов с самого вступления в жизнь неодинаковы. Прибавьте сюда более или менее несходные наследственные качества и врожденные склонности. Каким же образом наша жизненная работа и результаты ее могут быть у всех равными?

„По мере усложнения социальной жизни великий принцип разделения труда приобретает все большую важность; устойчивость всей государственной жизни требует разделения всех жизненных функций между членами государства; и так как работа, выполняемая людьми, так же, как и затрата сил, таланты, средства и т. п., для нее необходимые, в высшей степени различна, естественно, чтобы и вознаграждение за эту работу получалось различное. Эти факты до того элементарны и очевидны, что всякий интеллигентный и просвещенный политик должен был бы, мне кажется, выставлять теорию происхождения видов и общую теорию эволюции, как лучший аргумент против абсурдных эгалитарных утопий.

„И в своих нападках Вирхов еще более имел в виду дарвинизм, теорию подбора, чем трансформизм, теорию происхождения видов, которую с ним всегда смешивают.

„Если уж хотеть приписывать политическую тенденцию этой английской теории, что допустимо,—то это будет, конечно, тенденция аристократическая, но никак не демократическая и тем менее—коллективистская.

„Теория подбора учит, что в жизни человечества, как и в жизни растений и животных, всюду и всегда только незначительное привилегированное меньшинство выживает и развивается; огромное же большинство, наоборот, страдает и погибает более или менее преждевременно. Зародыши всех видов растений и животных и молодые особи, которые из них выходят,—бесчисленны. Количество же тех, которые предназначены судьбой развиваться до полной зрелости и выполнять свое жизненное назначение,—очень ограниченно.

„Жестокая и безжалостная“ борьба за существование, которая свирепствует повсюду в мире живых существ и которая, естественно, должна свирепствовать,—эта вечная и неумолимая конкуренция всего, что живет, есть неоспоримый факт. Только небольшое число избранных, самых сильных или наиболее приспособленных, в состоянии победоносно выдержать эту конкуренцию: огромное большинство несчастных соперников необходимо должно погибнуть. Пусть же оплакивают эту трагическую неизбежность! В добрый час! Но ни отрицать, ни изменить ее нельзя. Много званных, но мало избранных.

„Подбор, „избрание“ этих „избранных“, неизбежно связан с разрушением или гибелью большого числа выживших существ. Другой английский ученый назвал основной принцип дарвинизма „выживанием наиболее приспособленных, победою лучших“.

„Во всяком случае, принцип подбора менее всего демократичен; напротив, он глубоко аристократичен. И поэтому, если дарвинизм, доведенный до своих последних выводов, и представляет, как полагает Вирхов, „крайне опасную сторону“ для политика, то, без сомнения, потому только, что благоприятствует аристократическим стремлениям“.

Я воспроизвел целиком, не отступая даже в форме, буквально все аргументы Геккеля, потому что эти аргументы—с некоторыми вариациями тона и выражений, отличающихся от данных, правда, только степенью точности и красноречия,—повторяются всеми теми противниками коллективизма, которые любят принимать научные позы и которые для облегчения полемики пользуются, даже в науке, готовыми ходячими фразами чаще, чем это можно думать.

Легко, однако, показать, что в этом споре точка зрения Вирхова была ближе к истине и много проницательней, так как за последние 20 лет история ее вполне оправдала.

Действительно, оказалось, что и дарвинизм и социализм развились и распространились с поразительной силой и быстротой. Один завоевал отныне—своей основной теорией—всех натуралистов, другой продолжал разливаться—в своих общих тенденциях и в своем политическом учении—по всем каналам общественного сознания.

Но так как политические и научные теории являются не по капризному и случайному произволу своих творцов и последователей, а совершенно естественно, то очевидно, что если эти два

течения современной мысли могли восторжествовать одновременно над первыми самыми сильными возражениями, диктуемыми научной и политической косностью, и если оба с каждым днем увеличивают фаланги своих сознательных приверженцев, то этого вполне достаточно, чтобы показать нам, я скажу, почти по закону умственного симбиоза,—что они ни несогласимы, ни противоречивы между собой.

Больше того: три главных аргумента, к которым сводятся, в сущности, антиколлективистские рассуждения Геккеля, не могут устоять ни перед самой элементарной критикой, ни перед самым поверхностным наблюдением ежедневной жизни.

I. Коллективизм стремится к химерическому равенству всего и всех,—дарвинизм, напротив, не только констатирует, но и об'ясняет органическими причинами естественное неравенство способностей и даже потребностей индивидов.

II. В жизни человечества, как в жизни растений и животных, огромное большинство рождающихся особей обречено на гибель, потому что лишь незначительное меньшинство побеждает в „борьбе за существование“ Коллективизм утверждает, напротив, что все должны торжествовать в этой борьбе и никто не должен оставаться побежденным.

III. Борьба за существование обеспечивает „выживание лучших, победу наиболее приспособленных“, выражая, таким образом, аристократическую тенденцию индивидуального подбора—вопреки демократическому уравнению коллективизма.

II.

Равенство индивидов.

Первое возражение, которое во имя дарвинизма выставляется против социализма, лишено всякого основания.

Если бы было верно, что социализм стремится к „равенству всех индивидов“, можно было бы смело утверждать, что дарвинизм осуждает его бесповоротно.

Но хотя и сейчас еще охотно повторяют, одни добросовестно, как попугаи, заученные фразы, другие недобросовестно, из полемических соображений,—что социализм есть синоним равенства и общей нивеллировки, на самом деле, напротив, научный социализм, опирающийся на теорию Маркса и единственный в настоящее время заслуживающий защиты или опровержения, никогда не отрицал неравенства индивидов, как и всех живых существ,—не-

равенства врожденного и приобретенного, физического и морального.

Это равносильно тому, как если бы сказали, что социализм думает королевским декретом или народным вотумом установить, чтобы „все люди отныне были ростом в один метр семьдесят сантиметров!"

В действительности, социализм есть нечто несравненно более серьезное, и опровергнуть его не так просто и легко.

Социализм говорит: *люди не равны, но все они—люди.*

И, действительно, хотя каждый рождается и развивается более или менее отлично от других, хотя нет во всем мире двух человек, совершенно одинаковых, как нет в лесу двух одинаковых листьев, тем не менее, всякий по одному тому, что он „человек", имеет право на существование человека, а не илота или вьючного животного.

Мы знаем очень хорошо, что все люди не могут исполнять одну и ту же работу—и в настоящее время, когда к неравенствам естественным присоединяются неравенства социальные,—и что они не смогут этого и при социалистическом режиме, когда социальная организация смягчит врожденные неравенства.

Всегда будут люди, по своим умственным способностям или по физической организации более склонные к научной или артистической работе, тогда как другие окажутся более способными к ручному или механическому труду и т. д.

Не должно быть только одного, чего именно и не будет,—чтобы одни люди не работали вовсе, а другие работали слишком много или труд их оплачивался слишком дешево.

Но мы достигли верха несправедливости и нелепости, так как в наше время именно тот, кто не работает, имеет значительные преимущества в жизни, обеспечиваемые ему индивидуальной монополией богатства, скопленного наследственной передачей. Впрочем, это богатство очень редко обязано своим происхождением бережливости и лишениям своего настоящего владельца или его трудолюбивых предков; оно чаще всего является плодом векового насилия и грабежа во время военных подвигов, или плодом бесстыдного аферизма, или благосклонности сильных мира сего; но оно, во всяком случае, никогда не зависит от усилий и общественно-полезного труда наследника, который, по большей

части, растрачивает свое богатство в праздности, вихре жизни, столь же пустой, как и блестящей по внешности.

В тех же случаях, когда богатство получается не по наследству, оно является плодом обмана. Не говоря в настоящий момент об экономической организации общества, механизм которой вскрыл Маркс, организации, дающей даже при нормальных условиях и без обмана возможность капиталисту и собственнику жить доходами без труда, неоспоримо, что капиталы, которые слишком быстро образовались и разрослись на наших глазах, не могут быть плодом честного труда. Истинно честный работник, как бы неутомим и экономен он ни был, если и может подняться из состояния наемника до положения хозяина или предпринимателя, все же едва-ли сумеет скопить за всю свою долгую жизнь, полную лишений, больше нескольких тысяч франков. Те же, которые, наоборот, не сделав никаких изобретений в области промышленности, обязанных своим возникновением их собственному таланту, скопляют, тем не менее, в несколько лет целые миллионы, не могут быть не чем иным, как людьми бесстыдной аферы, если исключить некоторые особенно счастливые случаи. И они-то и суть те паразиты банков и общественных предприятий, которые живут на широкую ногу, украшая себя или вовсе освобождаясь от официальной службы...

Те же, которые трудятся,—а их огромное большинство,—получают пропитание, едва достаточное для того, чтобы не умереть с голоду. Они живут в конурах позади лавок, в мансардах, в гнилых улицах и переулках больших городов или в деревенских хижинах, которых никто не нанял бы даже для конюшни или для хлева.

К этому надо прибавить вечный страх безработицы, самого болезненного и самого частого из трех симптомов этого *равенства в нужде,* которые распространяются в современной экономической жизни Италии, как, впрочем, и повсюду, в большей или меньшей степени.

Я говорю о все возрастающей армии безработных в земледелии и промышленности, о деклассированной мелкой буржуазии и о тех, которые *экспроприированы* налогами, долгами или ростовщическими процентами.

Было бы не точно, если бы мы сказали, что социализм требует для всех граждан материального равенства, равенства труда и наслаждений.

Равенство может состоять только в обязательности для каждого человека работать, чтобы жить, для чего нужно гарантировать каждому достойные человека условия существования, в обмен на труд, который он дает обществу.

Равенство, которого хочет социализм, как говорит Бенуа Малон, должно быть понимаемо в двух смыслах: 1) нужно обеспечить всем людям, как таковым, человеческие условия существования; 2) все люди должны быть равны *с самого вступления* в борьбу за жизнь, чтобы каждый развивал свою индивидуальность в равных социальных условиях, тогда как теперь здоровый и сильный, но бедный ребенок погибает в конкуренции с слабым, но богатым.

В этом именно и состоит то радикальное, неизмеримое преобразование, которого требует социализм, но которое он открывает и возвещает, как необходимый и фатальный процесс, уже начавшийся в современном человечестве и имеющий завершиться в будущем.

Это преобразование сводится к переходу частной или индивидуальной собственности на средства производства, которые являются физической основой человеческой жизни (земли, рудники, дома, заводы, машины, рабочие инструменты, средства транспорта), в собственность коллективную или социальную, посредством методов и приемов, о которых я скажу ниже.

В настоящее же время остается только показать, что первое возражение против социализма не выдерживает критики, так как его отправная точка зрения неверна. В самом деле: оно предполагает, что современный социализм стремится к утопическому, физическому и моральному равенству всех людей, тогда как позитивный научный социализм никогда этого себе не представлял даже в мечтах.

Социализм, напротив, полагает, что это неравенство, в значительной степени смягченное лучшей общественной организацией, при которой исчезнут все физические и моральные несовершенства, которые нищета скопляет из поколения в поколение,—никогда не исчезнет в силу тех законов, которые открыл Дарвин в тайниках жизненного механизма, в бесконечном следовании людей и родов.

Во всякой социальной организации, как бы ее ни понимать, всегда будут люди большие и маленькие, слабые и сильные, сангвиники и неврастеники, более или менее умные, одни—вы-

дающиеся своими интеллектуальными способностями, другие—физической силой; и только хорошо, что именно так и будет; впрочем, это все равно неизбежно.

Это хорошо потому, что разнообразие и неравенство индивидуальных способностей производит то естественное разделение труда, которое дарвинизм указал нам, с полным основанием, как закон индивидуальной физиологии и социальной экономии.

Всякий человек должен работать, чтобы жить, но всякий должен отдаться такой работе, которая больше всего соответствует его способностям. Таким образом, люди избегнут убыточной растраты своих сил, и труд перестанет отталкивать, сделавшись, напротив, приятным и необходимым, как условие физического и морального здоровья.

И когда все отдают обществу свой труд, наиболее соответствующий их врожденным и приобретенным способностям, тогда все имеют право на одинаковое вознаграждение, потому что каждый равно внес свою долю в общий солидарный труд, поддерживающий жизнь социального аггрегата, а вместе с тем—и каждого индивида, входящего в его состав.

Крестьянин, который пашет землю, исполняет работу более скромную, но не менее необходимую, полезную и почетную, чем труд рабочего, строящего локомотив, инженера, который его совершенствует, ученого, который борется против невежества в тиши своего кабинета или в лаборатории.

Необходимо только, чтобы в обществе работали все подобно тому, как во всяком индивидуальном организме все клеточки исполняют свои разнообразные функции, более и менее скромные по внешности, например, нервные, мышечные и костные элементы,—но функции и работы, равно полезные и необходимые с биологической точки зрения для жизни всего организма.

В биологическом организме ни одна живая клетка не остается в бездействии, и она получает свое питание посредством обмена материальных частиц в количестве, пропорциональном совершенной работе; в общественном организме ни один индивид не должен жить без труда, в какой бы форме этот труд ни совершался.

Вот как разрешается большинство искусственных возражений, выставляемых противниками социализма.

Кто же в таком случае будет чистить ботинки при социальном режиме?—спрашивает Рихтер в своей книге, столь бедной

идеями, но доходящей до смешного, когда он предполагает, что во имя социального равенства „Великий Канцлер“ социального общества будет вынужден чистить свои сапоги или чистить платье, прежде чем отправиться исполнять свои общественные обязанности! Действительно, если бы противники социализма имели только такого рода аргументы, всякие споры были бы совершенно бесплодны.

Но все захотят исполнять работы, наименее утомительные и наиболее приятные, говорят нам с несколько более серьезным видом.

Я отвечу, что это одно и то же, что потребовать сейчас такого декрета: отныне все люди обязаны рождаться художниками или хирургами!

Распределение умственных и ручных работ будет всецело зависеть от антропологического разнообразия темпераментов и характеров, и ни в коем случае не придется прибегать к монашеской регламентации труда (другое неосновательное возражение против социализма).

Предложим крестьянину среднего уровня посвятить себя изучению анатомии или уголовного права или обратно, скажите человеку, у которого голова более развита, чем руки, чтобы он занялся земледелием, вместо того, чтобы производить микроскопические исследования.—И один и другой предпочтут тот труд, к которому чувствуют большую склонность.

Перемена ремесла или профессии не будет иметь такого важного значения, как это кажется многим, при коллективистской организации общества. Раз будут уничтожены все производства предметов личной роскоши, которые чаще всего являются вызовом, брошенным нищете масс,—количество и разнообразие работ постепенно и естественно приспособятся к фазе социалистической цивилизации, как теперь они соответствуют фазе цивилизации буржуазной.

Впрочем, при социалистическом режиме каждый будет иметь большую свободу развивать и проявлять свои личные способности; никогда не будет происходить то, что происходит сейчас, когда за недостатком денежных средств многие из крестьян, из народа, из мелких буржуа, одаренных естественными талантами, утрачивают их, вынужденные оставаться крестьянами, рабочими или приказчиками, тогда как они могли бы дать обществу дру-

гую плодотворную работу, которая была бы более приспособлена к их индивидуальным свойствам.

Самое существенное сводится к следующему: в обмен на труд, который дается обществу его членами, это последнее должно обеспечить им достойные человека условия существования—одинаково как крестьянину и ремесленнику, так и человеку, занятому какой-либо либеральной профессией. Тогда исчезнут также и такие возмутительные факты, как, например, то, что танцовщица зарабатывает в один вечер своими пируэтами столько, сколько ученый, врач, адвокат и т. д. в целый год труда...

Конечно, искусства не будут в пренебрежении при социалистическом режиме, потому что социализм хочет сделать жизнь приятной для всех, тогда как сейчас это является привилегией немногих; напротив, он даст всем искусствам могучий толчек и, уничтожив индивидуальную роскошь, тем самым поможет развиться великолепию общественных зданий.

Большого внимания заслуживает вопрос о вознаграждении каждого сообразно с совершенной им работой. Можно определить это отношение, если установить меньшее рабочее время для трудных и опасных работ: если крестьянин на вольном воздухе может работать 7 или 8 часов в день, шахтер не должен работать больше 3 или 4-х часов. В самом деле: когда все будут трудиться, когда множество непроизводительных работ будет уничтожено, а общая сумма ежедневного труда, распределенная между людьми, будет несравненно менее тяжелой и легче выносимой (вследствие более обильного питания, более удобных жилищных условий и развлечений, доступных для каждого), чем теперь для тех, которые работают и так мало получают, а также потому, что прогресс науки в применении к промышленности будет все более и более облегчать человеческий труд, люди сами будут отдаваться работе, хотя жалованье или вознаграждение и не будет скопляться у них в форме индивидуального богатства, потому что если здоровый, нормальный человек при хорошем питании сторонится от чрезмерных или дурно оплачиваемых работ, то он не захочет оставаться праздным, когда для него будет возможен ежедневный труд, соответствующий его склонностям и необходимый для него как с физиологической, так и с психической точки зрения.

Самые разнообразные виды спорта служат для праздных классов общества заменой производительного труда; это является физиологически необходимым как во избежание печальных по-

следствий абсолютного бездействия, так и в виде развлечения от скуки.

Самый важный вопрос заключается в том, как сделать вознаграждение пропорциональным труду каждого. Известно, что коллективизм принимает формулу—каждому по заслугам, тогда как коммунизм принимает другую: каждому по потребности.

Никто не может дать в настоящее время решения этой проблемы во всех ее деталях; но эта невозможность предсказать будущее до мельчайших подробностей еще не делает социализм неосуществимой утопией.

Никто не мог бы à priori предсказать последовательное развитие какой-нибудь цивилизации; это я покажу, когда буду говорить о способах социального обновления.

Вот что мы можем утверждать с уверенностью, на основании самых достоверных выводов психологии и социологии.

Нельзя отрицать, как это заявил и сам Маркс, что эта вторая формула, которая означает, по мнению некоторых, анархию социализма, представляет высший и более сложный идеал. Тем более нельзя отрицать и то, что формула коллективизма представляет фазу социальной эволюции, период индивидуальной дисциплины, необходимо предшествующий коммунизму.

Не надо думать, что социализм осуществит последний идеал человечества и что после него уже больше нечего будет желать и не за что будет бороться! Наши потомки были бы осуждены на праздность и на бесплодные скитания, если бы намеревались истощить всю сокровищницу человеческих идеалов.

Индивид, равно как и общество, лишенный идеала, или мертв или близок к смерти. Формула коммунизма сможет служить дальнейшим идеалом, когда путем исторического процесса, которым я займусь ниже, коллективизм будет вполне осуществлен.

Теперь мы можем заключить, что нет противоречия между социализмом и дарвинизмом в вопросе о равенстве людей. Социализм его никогда не утверждал; напротив, вместе с Дарвином он стремится к более совершенной жизни как индивида, так и общества.

Это позволяет нам ответить также и на другое часто повторяемое возражение, что социализм заглушает и уничтожает человеческую индивидуальность под свинцовой мантией коллективизма.

Это как раз противоположно истине. Не ясно ли, что именно в современном буржуазном строе происходит эта атрофия и гибель массы индивидуальностей, которые могли бы развернуться с пользой для себя и для всего общества. В настоящее время, действительно, за редкими исключениями, люди ценятся по их капиталам, а не по личным свойствам и качествам

Бедняк, не виновный в своей бедности ни душой, ни телом, может родиться с задатками гениального артиста или ученого; но если у него нет собственности, которая дала бы ему возможность победить первые жизненные препятствия и пополнить свое образование, или если счастливая судьба не столкнула его, как пастуха Giotto с богатой Cimabue, должен погибнуть бесследно в огромной темнице́ наемного труда, и общество потеряет в нем драгоценную интеллектуальную силу

Богач же, нисколько не обязанный богатству своими личными усилиями, будь он даже микроцефалом, будет играть первую роль в жизненной сцене и окруженный лестью и похвалами, которые будут ему расточать низкопоклонники, он по одному тому, что обладает богатством, вообразит себя не тем, что есть в действительности.

Когда собственность станет коллективной, то есть при социалистическом строе, всякому будут обеспечены средства к существованию, и ежедневный труд будет только способствовать выяснению специальных, более или менее оригинальных способностей каждого; лучшие и самые плодотворные годы человеческой жизни не будут больше уходить, как сейчас, на трудную и безнадежную борьбу из-за куска хлеба.

Социализм обеспечит всем человеческую жизнь, действительную свобо́ду проявлять и развивать свою индивидуальность—физическую и моральную, ту, которою люди одарены от природы, неравную и бесконечно разнообразную. Социализм не отрицает неравенства, он только хочет вернее направить к свободному и плодотворному развитию человеческую жизнь.

III.

Борьба за жизнь и ее жертвы

Говорят, что социализм и дарвинизм находятся в противоречии еще и на следующем основании. Дарвинизм показывает, что огромное большинство растений, животных, людей осуждено на гибель, потому что только незначительное меньшинство побе-

ждает в „борьбе за жизнь“; социализм хочет, чтобы все побеждали и никто не погибал.

На это можно прежде всего ответить, что даже в области биологической „борьбы за существование“ несоответствие между числом рождающихся и выживающих идет прогрессивно уменьшаясь по мере перехода от растений к животным и от животных к человеку.

Этот закон уменьшающегося несоответствия между „званными и избранными“ оправдывается даже на различных родах одного порядка.

В самом деле, у растений всякая особь дает ежегодно бесчисленное множество семян, и лишь бесконечно малая часть их выживает. У животных число детенышей каждой особи уменьшается, а число выживающих, напротив, возрастает. Наконец, для человеческого рода число особей, которые могут быть производимы каждым, очень невелико, а выживающих—наибольшее количество.

Больше того: как в царстве растительном, так и в мире животных и человека, низшие и простейшие роды и расы и классы, стоящие на низшей ступени развития, производят наибольшее количество детенышей, и поколения их следуют одно за другим с большей быстротой, вследствие меньшей продолжительности индивидуальной жизни.

Папоротник производит миллионы спор, и жизнь его очень коротка, тогда как пальма дает только несколько десятков семян (зерен) и живет столетие.

Рыба производит несколько тысяч яиц, тогда как слон или шимпанзе имеют всего несколько детенышей, которые живут большое число лет. В человеческом роде дикие расы наиболее производительны, и жизнь их мало-продолжительна, тогда как цивилизованные расы дают слабую рождаемость и высшую продолжительность жизни.

Из всего этого следует, что, даже держась на строго биологической почве, следует признать, что число победителей в „борьбе за существование“ делается все значительнее относительно числа рождений по мере того, как мы переходим от растений к животным, от животных к человеку и от низших родов и видов—к высшим.

Железный закон „борьбы за существование“ изменяется в направлении уменьшения числа трупов побежденных, и тем быстрее, чем сложнее и совершеннее становятся жизненные формы.

Было бы поэтому ошибочно выставлять против социализма дарвиновский закон естественного подбора в том виде, как он проявляется для примитивных форм жизни, не принимая во внимание его прогрессивного смягчения при переходе от растений к животным, от животных к человеку и даже к человечеству, от рас примитивных к расам более передовым.

А так как социализм представляет собою фазу будущего прогресса человеческой жизни, то еще меньше можно ему делать подобное возражение, основанное на таком грубом и неточном толковании дарвиновского закона.

Известно, что противники социализма злоупотребляли законом Дарвина или, вернее, его „зверским" толкованием, чтобы оправдать современную индивидуалистическую конкуренцию, которая часто является только скрытой формой людоедства и которая сделала из пословицы *„человек человеку волк"* характеристику нашего времени, тогда как Гоббс относил ее к естественному состоянию человека до заключения социального договора.

Но из того, что злоупотребляют каким-нибудь принципом, не следует, что принцип ложен; такое злоупотребление служит часто острием, на котором точнее выясняются природа и границы, а также практическое приложение принципа; это будет результатом моих рассуждений о полной гармонии между социализмом и дарвинизмом.

Уже в первом издании моего труда „Socialismo e criminalità" (стр. 179 и след.) я утверждал, что борьба за существование есть постоянный закон человеческой жизни, как и жизни всех живых существ, хотя постепенно смягчающийся и постоянно меняющий свои формы.

Такова и моя настоящая точка зрения, и по этому вопросу я нахожусь в противоречии с некоторыми социалистами, которые думали одержать более полную победу над возражением дарвинистов, утверждая, что в человеческих обществах закон борьбы за существование должен потерять всякое значение и всякое приложение, когда будет осуществлено *социалистическое* преобразование общества.

Это закон, который тиранически царит над всеми живыми существами, над микробами, как над антропоидными обезьянами, и вдруг он должен пасть у ног человека, как будто человек не есть лишь необходимое звено в огромной биологической цепи!

Я утверждал и утверждаю сейчас, что борьба за существование—неизбежный жизненный закон, а, следовательно, он неот-

делим и от человеческой жизни, но, оставаясь имманетным и постоянным законом, он мало-по-малу преобразуется в своем содержании и смягчает свои формы.

В жизни первобытного человечества борьба за существование почти не отличается от борьбы в мире других животных, это зверская борьба за ежедневное пропитание или за самку—голод и любовь—две основные потребности и два полюса жизни, и средством этой борьбы является почти исключительно физическая сила. В дальнейшей фазе прибавляется к этому борьба за политическое преобладание (в клане, племени, деревне, коммуне, государстве), и все больше и больше сила мышц уступает место силе ума.

В исторический период—греко-латинское общество борется за *гражданское* равенство (уничтожение рабства); оно побеждает, но не останавливается, потому что жизнь есть борьба. Средневековое общество борется за *религиозное* равенство, завоевывает его, но не останавливается; и в конце последнего века оно борется за равенство *политическое*. Должно-ли оно теперь остановиться и застыть в настоящем состоянии. Современное общество борется за равенство *экономическое*, не за абсолютное материальное равенство, но за то более положительное равенство, о котором я говорил уже. И все убеждает нас с математической точностью в том, что эта победа будет одержана, чтобы уступить место новой борьбе и новым идеалам наших потомков.

Постоянные изменения содержания идеалов борьбы за существование сопровождаются прогрессивным смягчением методов борьбы: сначала жестокая и физическая, она становится все более мирной и интеллектуальной, несмотря на некоторые атавистические возвраты к прошлому и на некоторые психо-физиологические проявления жестокости индивидов по отношению к обществу и обратно.

Мое мнение нашло в настоящее время блестящее подтверждение в замечательном произведении Новикова, который, однако, не принял во внимание половой борьбы.

В настоящий момент мне достаточно, чтобы ответить на антисоциалистическое возражение, показать, что не только несоответствие между числом рождающихся и выживающих постоянно уменьшается, но также, что и самая борьба за существование меняет содержание и смягчается в своих способах с каждой последовательной фазой биологической и социальной эволюции.

И социализм может смело утверждать, что условия человеческого существования должны быть обеспечены всем людям в обмен на общественный труд каждого, нисколько не боясь впасть в противоречие с дарвиновским законом выживания победителей в борьбе за существование, потому что этот дарвиновский закон должен быть понят и применен в своих высших проявлениях к прогрессивному закону развития человечества.

Научно понятый социализм не отрицает и не может отрицать, что всегда есть в человечестве проигрывающие в борьбе за существование.

Этот вопрос более непосредственно касается отношений, существующих между *социализмом и преступностью*, потому что те, которые думают, что борьба за существование есть закон, неприложимый к человеческому обществу, утверждают тем самым, что преступление (анормальная и антисоциальная форма борьбы за жизнь, как труд есть форма нормальная и социальная) должно исчезнуть. Они думают также найти противоречие между социализмом и учениями уголовной антропологии о врожденных преступниках, которые сами являются выводом из дарвинизма.

Я оставлю за собой право в другой раз полнее исследовать этот вопрос. Резюме же моей мысли, как социалиста и уголовного антрополога, таково:

Прежде всего, позитивная уголовная школа занимается современной жизнью, и заслуга ее неоспоримо состоит в приложении экспериментальных методов к изучению явлений преступности, в доказательстве лицемерия и бессмысленности современных уголовных систем, основанных на понятии о свободной воле и моральном заблуждении и реализующихся в системе тюремного заключения—этой аберрации XIX века, как я ее когда то назвал; этому школа хочет противопоставить простую изолюцию людей, неприспособленных к социальной жизни в силу своих врожденных или приобретенных, постоянных или преходящих патологических условий.

Во-вторых, утверждение, что с социализмом уничтожаются все формы преступления, не основано на строгом научном исследовании, хотя и вытекает из самых великодушных побуждений.

Позитивная уголовная школа доказывает, что преступление есть явление естественное и социальное—как сумасшествие и самоубийство,—обусловленное ненормальным органическим и психическим сложением преступника и влиянием физической и социальной

среды. Антропологические, физические и социальные факторы обусловливают всегда преступление, тяжелое или легкое—безразлично,—как, впрочем, они же обусловливают и все другие человеческие действия; меняется же для каждого преступника и для каждого преступления только преобладающая интенсивность того или другого порядка факторов.

Например, если речь идет об убийстве, совершенном из ревности или вследствие галлюцинации, мы имеем случай преобладания антропологического фактора, хотя из этого не следует, что не должны быть приняты во внимание другие факторы—физическая и социальная среда. Если, напротив, дело идет о преступлении против собственности или даже против личностей, но совершенном возбужденной толпой или под влиянием алкоголя и т. д., на первый план выступает социальная среда, хотя опять-таки нельзя и здесь отрицать влияния физической среды и антропологического фактора.

Чтобы вполне ответить на возражения, которые делаются социализму во имя дарвинизма, можно то же рассуждение повторить и по поводу общих болезней; преступление, впрочем, относится тоже к области человеческой патологии.

Все болезни, острые и хронические, заразительные и незаразительные, тяжелые и легкие, являются результатом антропологического сложения индивида и воздействий на него физической и социальной среды. Преобладающая интенсивность индивидуальных условий или условий среды меняется в зависимости от обстоятельств: чахотка или сердечные заболевания, например, зависят, главным образом, от индивидуального органического строения, хотя необходимо и здесь считаться с влияниями среды; проказа, холера, тиф и т. д., напротив, преимущественно обусловливаются той физической и социальной средой, в которой индивид находится. Так, чахоткой заболевают даже обеспеченные люди, при хороших питании и жизненных условиях, тогда как проказа и холера находят большею частью свои жертвы в среде бедняков, ослабленных плохим питанием.

Отсюда следует, что при социалистическом строе, где коллективная собственность будет обеспечивать каждому человеческие условия существования, все болезни, обусловливающиеся воздействием среды, т. е. плохим питанием или недостаточной защитой от холода, значительно сократятся или вовсе исчезнут, чему много помогут также научные открытия и развитие гигиены. Но болезни,

происходящие от поранений, сумасшествие или легочные заболевания и т. п. никогда не прекратятся.

То же нужно сказать и о преступлении. Если уничтожить нищету и бьющее в глаза неравенство экономических условий, то острый или хронический голод не будет уже служить стимулом к преступлению; лучшее питание способствует физическому и моральному усовершенствованию организма; злоупотребления властью и богатством исчезнут, и мы увидим значительное уменьшение числа случайных преступлений, определяющихся, главным образом, социальной средой. Но никогда не прекратятся покушения на насилие, в силу патологического полового извращения, убийства, совершаемые в припадке эпилепсии, кражи, обусловленные психопатологической дегенерацией.

По тем же причинам, несмотря на широко распространенное народное образование и на свободное развитие всех человеческих способностей и талантов, никогда не исчезнут ни идиотизм, ни глупость, как результат патологической наследственности.

Впрочем, различные причины смогут оказывать предупреждающее и смягчающее влияние на природную дегенерацию (общие болезни, преступность, сумасшествие, невроз): лучшая экономическая и социальная организация, ценные советы, которые будут даваться развивающейся экспериментальной биологией, и все уменьшающаяся рождаемость, в силу произвольного воздержания, в случае наследственных болезней.

В заключение мы скажем, что даже в социалистическом режиме—хотя и в несравненно меньшей пропорции—всегда будут побежденные в борьбе за существование; это будут жертвы слабости, болезней, сумасшествия, нервных болезней, самоубийства. Таким образом, мы можем утверждать, что социализм не отрицает дарвиновского закона „борьбы за существование". Неоспоримое преимущество социалистического режима будет, однако, состоять в том, что прекратятся все эпидемические и эндемические формы человеческой дегенерации—с устранением их главной причины—физической, а следовательно, и моральной нищеты большинства.

Тогда борьба за существование, оставаясь попрежнему вечным импульсом социальной жизни, примет не такие грубые, а более человеческие формы,—формы интеллектуальные; ее идеал физиологического и психического совершенствования человека будет все повышаться, опираясь на базу обильного ежедневного питания тела и духа, обеспеченного каждому человеку.

Закон „борьбы за жизнь“ не должен заслонять для нас другой естественный и социальный закон Дарвина. Конечно, многие из социалистов придали ему чрезмерное и исключительное значение, как некоторые индивидуалисты постарались совершенно забыть о нем. Я говорю о законе солидарности, который соединяет все живые существа одного рода,—например, животных, живущих обществами, вследствие обилия общей пищи (травоядные), или даже различных родов, что натуралисты называют симбиозом, соединением для жизни.

Утверждение, что борьба за существование есть единственный высший закон природы и общества, так же неточно, как и заявление, что этот закон совершенно не находит себе приложения человеческой жизни. Положительно верно одно: даже в человеческом обществе борьба за существование есть вечный закон, который смягчается по мере развития общества в своих формах и повышается в своих идеалах; но наряду с ним мы находим закон, влияние которого на социальную эволюцию делается чем дальше, тем значительней,—это закон солидарности или кооперации живых существ.

Даже в животных обществах постоянно проявляется взаимная поддержка в борьбе с силами природы и с другими родами животных. Она проявляется особенно интенсивно в человеческих обществах, не исключая даже и самых диких племен. Особенно часто ее можно констатировать у тех племен, которые, в силу благоприятных условий среды или обильных и обеспеченных средств существования, можно отнести к типу промышленному или мирному.

Тип военный или воинственный, который, к несчастью, является господствующим (в силу небезопасности и необеспеченности существования) в первобытные времена и в периоды упадка цивилизации, дает нам менее частые примеры взаимной поддержки. Промышленный тип имеет, впрочем, тенденцию, как показал Спенсер, вытеснять тип воинственный.

Имея в виду исключительно человеческое общество, мы можем сказать следующее: на первых ступенях социальной эволюции закон борьбы за жизнь берет верх над законом солидарности; с развитием же разделения труда, а вместе с ним—и сочетания частей в социальном организме, напротив, закон кооперации или солидарности отвоевывает себе все более и более широкую область.

Это происходит по причинам, указанным Марксом и составляющим его великое научное открытие, а именно: в силу обеспеченности средств человеческого существования и прежде всего и главным образом—питания.

В жизни индивидов, как и в жизни обществ, при обеспеченном пропитании, составляющем физическую основу существования, закон солидарности господствует над законом борьбы за существование и наоборот. У дикарей детоубийство и отцеубийство не только дозволены, но даже обязательны и освящены религией в случае, если племя находится на острове, где пропитание редко (как, например, в Полинезии); но антиморальные и преступные акты совершаются ими и тогда, когда пропитание более обильно и обеспечено. Точно также в нашем современном обществе, где большая часть людей не имеет ежедневного обеспеченного пропитания, борьба за жизнь или „свободная конкуренция“, как говорят индивидуалисты, принимает самые жестокие, самые грубые формы.

С того момента, как средства существования будут обеспечены каждому, в силу коллективной собственности, закон солидарности получит преобладающее значение.

Когда в семье дела идут хорошо и ежедневное пропитание обеспечено, в ней господствуют согласие и взаимное расположение; но как только появляется нужда, за ней следуют несогласия и борьба. Общество представляет нам ту же картину, только в больших размерах. Лучшая социальная организация обеспечит всюду согласие и взаимное расположение.

Такова будет победа социализма и таково, повторяю, самое полное и самое плодотворное толкование, которое должен дать социализм неизбежным законам природы, открытым Дарвином.

IV.

Выживание наиболее приспособленных.

Третья и последняя часть рассуждения Геккеля точна, если ее сузить до чисто биологической и дарвинистской области, но ее отправная точка ошибочна, если прилагать ее к области социальной жизни и выставлять, как аргумент против социализма.

Говорят, борьба за существование обеспечивает пропитание лучшим или наиболее приспособленным; она обусловливает, следовательно, аристократический процесс индивидуального подбора, но никак не демократическое уравнение социализма.

И здесь мы начнем с точного исследования и посмотрим, в чем состоит этот знаменитый закон естественного подбора, являющийся следствием борьбы за существование.

Выражение, которое употребляет Геккель и которое сделалось ходячей фразой: „выживание лучших или наиболее приспособленных“, должно быть исправлено. Надо выкинуть прилагательное *„лучших“*. Здесь то и кроются корни телеологического взгляда, усматривающего в природе и в истории конечную цель, которая должна быть достигнута путем постепенного усовершенствования.

Дарвинизм и теория всемирной эволюции, напротив, исключили всякую конечную цель из современного научного понимания и толкования естественных явлений; эволюция состоит одновременно и в сочетании и в раз'единении. Может случиться и случается, что, сравнивая два крайние пункта пути, пройденного человечеством, констатируют, что в общем замечается улучшение, действительный прогресс; но, во всяком случае, прогресс не шел по прямой восходящей линии, а по спирали, как выражается Гете, с ритмами прогресса и регресса, развития и разрушения.

Всякий цикл эволюции в жизни индивидуальной, как и в жизни коллективной, носит в себе зародыш цикла соответствующего разрушения; а этот последний, обратно, гниением форм уже изжитых приготовляет в вечной лаборатории новые формы жизни и развития.

Так, в социальной жизни человечества всякая фаза цивилизации носит в своих недрах и развивает зародыши своего собственного разрушения, откуда рождается в вечном ритме человеческой жизни новая фаза цивилизации, географическое положение которой может более или менее изменяться. Древние священные цивилизации Востока разрушаются и дают начало греко-римскому миру, за которым следует феодальная и аристократическая цивилизация Центральной Европы; уничтоженная своими собственными крайностями, как и предшествующие цивилизации, она замещается цивилизацией буржуазной, достигающей своего высшего развития в англо-саксонском мире. Но уже и эта последняя испытывает первые толчки грядущего разрушения, тогда как в ее недрах рождается и зреет новая цивилизация—социалистическая, которая расцветет на пространстве более обширном, чем все предыдущие цивилизации.

Поэтому неточно утверждение, что естественный подбор, определяемый борьбой за существование, обеспечивает выживание

лучших; в действительности, он обеспечивает выживание наиболее приспособленных.

В этом-то и заключается отличие дарвинизма естественного от дарвинизма социального.

Борьба за существование необходимо предполагает выживание индивидов, наиболее приспособленных к той среде и к тому историческому моменту, в который они живут.

В области биологической прогрессивное совершенствование живых форм, начиная от микроба и кончая человеком, определяется свободной игрой сил и космических условий.

В человеческом обществе, в так называемой сверхорганической эволюции (Спенсер), столкновение других сил и других условий определяет иногда, напротив, подбор *наизнанку*, который обеспечивает всегда выживание наиболее приспособленных к данной среде и к данному историческому моменту, но который испытывает противодействие со стороны испорченных условий—если те таковы—той же среды.

Это вопрос о „социальном подборе". Исходя из этой идеи, мало анализированной, некоторые писатели, социалистические и несоциалистические, приходят к полному отрицанию приложимости теории Дарвина к человеческому обществу.

В действительности же известно, что в современном цивилизованном мире естественный подбор испорчен подбором *военным*, подбором *брачным* и, главным образом, экономическим.

Временное безбрачие, на которое осуждены солдаты, имеет, конечно, прискорбное влияние на человеческую расу; молодые люди худшего сложения, освобожденные от военной службы, женятся рано, тогда как люди самые здоровые осуждены на временное бесплодие и подвергаются в больших городах опасности заражения сифилисом, последствия которого, к несчастью, очень гибельны.

Точно также при браке, который в современной цивилизации определяется экономическими интересами, происходит обыкновенно извращенный половой подбор. Женщины, почти вырождающиеся, но имеющие хорошее приданое, легче находят мужей, чем самые сильные женщины из народа или бесприданницы из буржуазной среды, которые осуждены на насильственное бесплодие или на выше или ниже оплачиваемую проституцию.

Современные экономические условия влияют на все социальные отношения. Монополия богатства обеспечивает собственникам

победу в борьбе за существование, богачи живут дольше людей, плохо питающихся. хотя они и менее сильны; дневной и ночной труд взрослых, происходящий в нечеловеческих условиях, и еще более гибельный труд женщин и детей, на который они осуждены современным капитализмом, ухудшают с каждым днем биологические условия существования пролетарских масс.

К этому прибавляется еще извращенный моральный подбор, в силу которого в настоящее время капитализм в своей борьбе против пролетариата благоприятствует выживанию рабских характеров, тогда как сильных и всех, кто не расположен выносить его современного экономического строя, он преследует или старается держать в тени.

Первое впечатление, которое получается при констатировании всех этих фактов, таково, будто дарвиновский закон естественного подбора не имеет никакой цены и не находит никакого приложения в жизни человеческих обществ.

Я утверждал и утверждаю, наоборот, прежде всего, что эти извращения социального подбора не стоят в противоречии с законом Дарвина, и, больше того, что они служат материалом для аргументов в пользу социализма. Действительно, только социализм сможет привести к более благотворному функционированию этого неизбежного закона естественного подбора.

В самом деле, дарвинов закон не определяет *„выживание лучших“*, а *только „выживание наиболее приспособленных“*.

Ясно, что вырождение, произведенное социальным подбором, обязанным современной экономической организации, только еще больше способствует выживанию наиболее приспособленных к этой самой экономической организации.

Если победители в борьбе за существование—худшие и слабейшие, это не означает еще, что закон Дарвина здесь неприложим; это только означает, что среда извращена и что выживающие—это и есть наиболее приспособленные к извращенной среде.

В своих этюдах по криминальной психологии я слишком часто должен был констатировать, что в тюрьмах и в мире преступников в выигрыше остаются преступники самые жестокие или самые коварные; то же самое и с нашим современным экономическим индивидуализмом: победа принадлежит тому, кто меньше всего стесняется, борьба за существование благоприятствует тем, кто лучше всего приспособлен к миру, где всякий ценится по тому,

что он имеет (каким бы способом он его ни приобрел), а не по тому, что он есть.

Итак, дарвинов закон естественного подбора господствует даже в человеческом обществе. Ошибка тех, которые это отрицают, происходит оттого, что они смешивают среду и настоящий исторический момент,—который носит в истории название буржуазного, как средне-вековой назывался феодальным,—с историей всего человечества и поэтому не видят, что начальные результаты современного извращенного социального подбора являются только подтверждением дарвинова закона *„выживания наиболее приспособленных“*. Народная наблюдательность резюмировала этот факт в пословице: „бочка дает лишь то вино, которое в ней находится“, а наблюдение научное находит его об'яснение в необходимых биологических отношениях, существующих между данной средой и индивидами, которые рождаются, борются и выживают в этой самой среде.

С другой стороны, этот факт дает решительный аргумент в пользу социализма. Освобождая среду от всяких извращений, которыми ее загрязняет необузданный экономический индивидуализм, социализм необходимо исправит результаты естественного и социального подбора. В среде, здоровой физически и морально, индивиды, наиболее приспособленные, следовательно, те, которые выживут, будут здоровыми. В борьбе за существование победа будет принадлежать тому, кто обладает наибольшей и самой плодотворной физической и моральной энергией. Коллективистская экономическая организация, обеспечивая каждому средства к существованию, необходимо должна будет улучшить физически и морально человеческую расу.

На это отвечают: положим, что социализм и дарвиновский подбор могут быть соглашены между собой; не ясно ли, что выживание наиболее приспособленных поведет к аристократическому индивидуализму, что, очевидно, противоречит социалистическому равенству.

Я ответил отчасти на это вовражение, заметив, что социализм обеспечит всем, а не только некоторым привилегированным или нескольким героям, как в настоящее время,—свободу существования и развития своей индивидуальности. Тогда, действительно, в результате борьбы за существование будут оставаться лучшие и именно потому, что в нормальной среде победа будет принадлежать самым нормальным индивидам. Именно тогда со-

циальный дарвинизм, продолжая дарвинизм естественный, приведет к подбору лучших.

Чтобы вполне ответить на это заявление, указывающее на неизбежность какого-то аристократического подбора, мне придется напомнить другой естественный закон—закон ритмических колебаний—вперед и назад, обусловливающий жизненное равновесие.

К дарвиновскому закону естественных неравенств надо прибавить другой закон, от него неотделимый и вполне выясненный Jacoby, продолжившим труды de Morel'я, Lukas, Spensaer'a, Lombroso и других.

Та самая природа, которая делает из „подбора" и аристократического возвышения условие жизненного прогресса, восстанавливает вслед за тем равновесие, подчиняясь уравнительному и демократическому закону.

„Из массы людей всплывают индивиды, семейства и расы, которые имеют тенденцию подняться выше общего уровня; они достигают с трудом крутых высот, доходят до вершины власти, богатства, ума, таланта и, раз достигнув, устремляются вниз и исчезают в безднах безумия и вырождения. Смерть есть великая уравнительница; уничтожая все, что поднимается, она демократизирует человечество.

Все, что стремится создать монополию на естественные силы, должно столкнуться с высшим законом природы, который дал всем живым существам право пользоваться и располагать природными стихиями: воздухом и светом, водой и землей.

Все, что слишком возвышается или опускается сравнительно с средним уровнем,—постепенно поднимающимся по мере развития человечества, но для каждого исторического момента имеющим абсолютную величину,—не живет и не исчезает.

Кретин и гений, умирающий с голоду, и миллионер, карлик и великан—одинаково представляют собой естественных или социальных уродов, и природа безжалостно осуждает их на вырождение или на бесплодие, безразлично, являются ли они продуктами органической жизни или же социальной организации.

Неизбежная судьба всех семейств, обладающих какой-либо монополией—монополией власти, богатства или таланта,—это полнейшее вырождение и вымирание рода; последние поколения таких семейств сплошь да рядом состоят из одних неудачников, самоубийц или людей, неспособных к произведению потомства.

Аристократические фамилии, династии правителей, семейства артистов или ученых, потомства миллионеров—все следуют общему закону, который лишний раз подтверждает эгалитарные выводы социалистической науки.

Ни одно из трех противоречий между социализмом и дарвинизмом, выставленных Геккелем и повторяемых после него всеми, не может устоять перед искренним и более точным исследованием естественных законов, носящих имя Чарльза Дарвина.

Прибавлю, что дарвинизм не только не находится в противоречии с социализмом, но он служит для него одной из основных научных посылок. Как справедливо заметил Вирхов, социализм есть лишь логическая и жизненная производная дарвинизма и спенсеровского эволюционизма.

Лориа А.

Социальный дарвинизм.

Вот уже несколько десятилетий, как делаются попытки применить в области социальных и экономических наук результаты, которыми естествознание обязано теории Дарвина. Это течение, этот социальный дарвинизм получил столь значительное развитие, что заслуживает нашего внимания. Мы должны оговориться, что считаем в высшей степени законным и благородным желание открыть в выводах одной науки новые источники развития другой, так как такое желание находится в полной гармонии с господствующей в наше время философской идеей о неразрывной связи и взаимной зависимости различных отраслей знания. Если мыслители прошлых столетий могли еще рассматривать отдельные ветви научного дерева, как гетерогенные образования, не находящиеся ни в каком отношении друг к другу, то прогресс знаний должен был произвести полный переворот в наших взглядах на этот предмет.

Мы знаем теперь, что *виды наук*, как и виды животных, не поддаются какой-либо абсолютной классификации, что отмечаемые между ними различия совершенно произвольны, что все они имеют один общий центр—всеобъемлющую истину, которая является конечной целью стремлений нашего интеллекта. Мы знаем также, что всякое новое великое открытие в одной какой-либо области человеческого знания должно немедленно найти себе отклик в других областях, что звезда, засиявшая в одном месте нашего умственного горизонта, должна озарить своими лучами самые удаленные уголки его. И ни в чем так ярко не проявилась эта интимная связь между различными, по виду совершенно противоположными, проявлениями человеческого интеллекта, как в бессмертных исследованиях Дарвина о естественном подборе.

Все знают—и сам Дарвин со свойственной гению скромностью подтверждает,—что основные положения его теории внушило ему чтение книги экономиста Мальтуса „Закон населения". Политическая экономия, следовательно, явилась вдохновительницей современных естественно-научных воззрений. Было вполне логично поэтому предположить, что, подобно тому, как естествознание получило от экономической науки свое начальное движе-

ние, первый толчек по славному пути, точно так же и политическая экономия в соприкосновении с обновленным естествознанием почерпнет новые силы, которые проложат ей дорогу к великим завоеваниям. Нет ничего, таким образом, удивительного, если экономисты и социологи стали усердно перерабатывать социальные теории применительно к принципам дарвинизма. Но если эту работу во многих отношениях следует признать плодотворной и достойной всякой похвалы, то в других отношениях она не выдерживает критики и заслуживает осуждения. Я намерен в последующем изложении вкратце рассмотреть те применения дарвинизма в социологии, которые я считаю пагубными и по существу ложными, не касаясь пока тех из них, которые, на мой взгляд, совершенно правильны.

Теория Дарвина, как известно, исходит из той аксиомы, что имеющееся на земле количество пищи недостаточно для того, чтобы прокормить все живые существа, и последние только ценой беспрестанной борьбы могут добыть себе средства к существованию. Естественно, что в этой борьбе слабые гибнут, так как они не в состоянии достать себе пищу или, по крайней мере, иметь ее в достаточном количестве, а сильные выживают и торжествуют победу. Благодаря этому выживанию элементов, наиболее приспособленных к условиям существования, вид улучшается, совершенствуется и достигает более высокой ступени развития.

Такова в общих чертах та теория, которую некоторые социологи поспешили применить к феноменам и условиям социальной жизни. Подобно другим организмам, и люди, утверждают они, ведут между собой ожесточенную борьбу за существование, которая в наши дни проявляется в самой необузданной конкуренции; в этой беспощадной борьбе одерживают верх наиболее сильные, и их победа служит своего рода закваской для дальнейшей эволюции и прогресса.

Не следует поэтому сетовать на безжалостную конкуренцию, на жестокие схватки, в которые люди вступают друг с другом, стараясь каждый столкнуть своего ближнего, чтобы занять его место; не следует желать, чтобы законодательство пыталось смягчить эту борьбу, потому что, обеспечивая победу лучших и более достойных, борьба эта является могучим фактором прогресса.

Всякое умеряющее воздействие государства пагубно, так как оно служит на пользу единственно тем элементам, которые природой осуждены на гибель. Нелепо, наконец, критиковать суще-

ствующий общественный строй и протестовать против неравенства в распределении богатств, так как это неравенство является непосредственным результатом естественного неравенства; иными словами, более низкое экономическое положение служит показателем более низкого физического и умственного состояния.

Итак, полнейший квиэтизм, невозмутимое философское равнодушие и законодательное dolce farniente—вот что рекомендуют нам новейшие толкователи дарвиновской теории.

Я считаю такое применение принципов дарвинизма в области общественных явлений совершенно ложным; оно вытекает не из добросовестного изучения предмета, а из поверхностного взгляда на сущность экономической борьбы за существование. В самом деле, кто даст себе труд хоть несколько разобраться в этом чрезвычайно сложном явлении, тот легко убедится, что экономическая борьба между людьми во многих отношениях существенно отличается от борьбы за существование между животными.

Прежде всего, экономическая борьба представляет собой борьбу человека с человеком, столкновение двух существ одного и того же вида, между тем, как у животных борьба ведется (что прекрасно отметил Уоллес) исключительно или почти исключительно между представителями различных видов.

В этом—первое отличие.

Второе отличие более существенное. В то время, как в борьбе за добывание необходимой им пищи животные пускают в ход свои собственные органы, в экономической борьбе, которая находит свое наиболее яркое выражение в борьбе собственников с несобственниками, класс собственников старается завладеть известным количеством богатств посредством эксплоатации труда другого класса. В данном случае перед нами, следовательно, уже не борьба за существование в смысле Дарвина, а совершенно отличное от нее явление, имеющее в мире животных свою аналогию в паразитизме.

В самом деле, взаимные отношения собственников и несобственников можно рассматривать, как форму борьбы за существование только с той оговоркой, что форма эта весьма специальная, соответствие которой среди низших организмов мы находим в борьбе паразита с его добычей, борьбе, по характеру своему глубоко отличающейся от той, которую ведут между собой независимые существа. В последнем случае победа (за весьма редкими исключениями, на которых я не считаю нужным здесь

остановиться) оказывается на стороне более сильных, слабые же погибают; но как торжество первых, так и поражение вторых является по отношению к виду в одинаковой степени факторами прогресса. Наоборот, из борьбы паразита с его добычей победителем выходит более слабый, потому что паразит всегда слабее своей добычи. Что паразит должен быть слабее своей добычи, неизбежно вытекает из того, что он живет на счет другого существа, благодаря чужому посредничеству. И, действительно, слепень слабее быка, муха слабее лошади, гриб стоит на более низкой степени развития, чем растения и животные, на которых он прорастает.

Другая черта, характеризующая паразитизм и отличающая его от борьбы между двумя независимыми организмами, заключается в том, что он сам по себе не служит причиной гибели существа, ставшего добычей паразита; и это вполне естественно, так как смерть добычи сделала бы невозможным дальнейшее существование паразита.

Отметим, наконец, последнее отличие: для организма, живущего самостоятельной жизнью, борьба служит школой совершенствования, между тем, как бездеятельный образ жизни паразита способствует деградации и атрофии его сил.

Таким образом, при паразитизме отсутствуют совершенно все те условия, которые—как победа и выживание более сильных, гибель слабых—превращают обычную борьбу животных за существование в источник прогресса и усовершенствования вида.

Теперь обратимся к человеческой борьбе, к тому спору, который в течение веков, не прекращаясь, ведется между собственниками и несобственниками; мы без труда откроем здесь те же черты, которые характеризуют явления животного паразитизма.

Впрочем, между паразитизмом и экономической борьбой существуют некоторые различия, и на самых интересных из них я намерен, насколько позволит мне время, остановиться.

Животный паразитизм выражается во внедрении паразита в тело другого существа, для которого этот процесс чаще всего является роковым, неустранимым. Социальный паразитизм, наоборот, осуществляется путем насилия, посредством которого часть общества, ставшая добычей, лишается возможности работать на себя и вынуждается отдавать свою рабочую силу паразитам.

Однако, ни это отличие, ни некоторые другие не умаляют, в общем, справедливости того положения, что явления обще-

ственного паразитизма в существенных чертах совершенно аналогичны тем, которые мы выше признали характерными для животного паразитизма.

Мы знаем, что в экономической борьбе победу торжествуют собственники. Но кто осмелится утверждать, что эти победители, действительно, являются более сильными, а побежденные рабочие, более слабыми? Разве, наоборот, не последние являются жизненным нервом, движущей силой прогресса? Разве не они воплощают в себе стойкость человеческой воли, борющейся с силами природы? А что такое эти собственники, как не кучка изнеженных, праздных богачей, избравших своим девизом: otium cum dignitate?

Что касается умственного и нравственного превосходства, которое многие так охотно приписывают классу собственников, то его настолько трудно доказать на основании фактов, насколько легко опровергнуть на основании даже самого поверхностного наблюдения над окружающей жизнью. В самом деле, не надо быть особенным скептиком для того, чтобы усомниться в духовном превосходстве современных Крезов, когда видишь, как вчерашний клоун из третьеразрядного цирка становится во главе богатейшей компании и занимает место среди королей космополитической плутократии.

В начале 18-го ст. Луазо, мэр Шатодена, написал целую книгу, в которой приводит доказательства, что феодальная собственность явилась результатом воровства и преступлений. „Но положение вещей,—говорит Маркс,—ничуть не изменилось от того, что на смену рыцарям меча пришли рыцари промышленности, которые пустили в ход те же гнусные средства, при помощи которых в свое время римские вольноотпущенники приобретали власть над своими патронами“.

Надо заметить, что в сущности полнота аналогии между паразитизмом и экономической борьбой, глубокая противоположность между последней и борьбой, которую ведут друг с другом свободные животные, нисколько не нарушится, если даже придерживаться того взгляда, что победители-собственники являются в действительности более сильными, а побежденные в грандиозном состязании рабочие физически и духовно стоят ниже их.

В самом деле, в животном царстве свободная борьба обусловливает прогресс вида, так как она ведет к исчезновению слабых и выживанию и совершенствованию сильных. А что мы видим в результате экономической борьбы? Как и при парази-

тизме, праздная и безличная жизнь победителей (собственников) не только не укрепляет, но подтачивает их силы, а рабочие, которые так же необходимы для существования собственников, как для существования паразита необходима его добыча, не исчезают совершенно, а жалко прозябают, чтобы преждевременно умереть от переутомления и голода. Вот почему борьба людей за существование не является, подобно свободной борьбе в мире животных, залогом прогресса и надлежащего подбора, а, наоборот, подобно животному паразитизму, играет роль могущественного фактора упадка и вырождения вида. И так как рабочие принадлежат к тому классу населения, который всех быстрее размножается, то понятно, что вырождение под влиянием экономической борьбы принимает с течением времени все более грозные размеры и число вырождающихся беспрерывно растет не только абсолютно, но и относительно.

В противоположность тому, что мы наблюдаем в мире низших существ, где рост населения является условием, наиболее благоприятствующим действию естественного подбора, в человеческом обществе, наоборот, подбор (естественный) с ростом населения задерживается или извращается. Допустим, однако, что первые собственники, основатели огромных состояний, были на самом деле наиболее сильными и способными, а рабочие и бедняки наиболее слабыми и умственно-отсталыми; забудем все, что мы говорили относительно результатов общественного паразитизма. Даже при этих гипотетических условиях, которые, как мы видим, делают человеческую борьбу в своем исходном пункте аналогичной борьбе за существование в животном царстве, экономическая борьба роковым образом должна была бы раньше или позже принять противоположный характер, благодаря одной черте, свойственной исключительно человеческому обществу,—наследованию имуществ.

Благодаря праву завещания, тот, кто создал огромное состояние, передает его своим детям и внукам вплоть до отдаленнейших потомков. Таким образом, если даже предположить, что тот, кто впервые нажил богатства, был выдающимся человеком, героем в промышленности или гениальным изобретателем, то это еще не говорит в пользу того, что такими же должны быть его сыновья или более отдаленные потомки.

Наоборот, современная антропология блестяще доказала, что высокие физические и умственные качества родителей стираются у их наследников, и очень часто потомство великих людей и вы-

дающихся талантов состоит из идиотов, которых только один шаг отделяет от безумия или совершенного вырождения.

Кто не помнит маленького белокурого принца, выведенного и так тонко обрисованного Зола, этим Кановой житейской грязи, в одном из его наиболее распространенных произведений, этого маленького принца, который с такой гордостью произносит каждый раз свою фамилию, одну из знатнейших фамилий Фра. ции, и который так туп, что по целым ночам льет шампанское на свой рояль, желая напоить его.

Впрочем, зачем искать в романах, когда мы в повседневной жизни встречаем тысячи подобных образчиков умственного вырождения. Какие жалкие ничтожества—эти потомки княжеских родов, эти, поистине, *нисходящие* потомки, потому что с каждым поколением они опускаются все ниже и, предаваясь всевозможным порокам, шулерничая за картами, преждевременно умирают от белой горячки или физического истощения.

„Когда я слышу,—пишет один господин, путешествовавший по Иберийскому полуострову,—как при мне произносят какую-нибудь знатную испанскую фамилию, я знаю заранее, что увижу перед собою маленького, бледнолицого и уродливого рахитика". Другой путешественник замечает, что, когда очутишься среди высшей французской знати, можно подумать, что находишься в обществе больных людей.

Маркиз Мирабо в своем „Друге людей" говорит о членах своей касты, как о пигмеях, и сравнивает их с высохшими, поблекшими растениями. Англичане, которые умеют в самых незначительных актах проявлять глубокое понимание жизни, отдают дань этому роковому закону, в силу которого привилегированные расы обречены на вырождение: они требуют, чтобы тот, кто в награду за заслуги возведен королем в пэры, немедленно переменил свою фамилию. Мудрый обычай, благодаря которому гений не должен опасаться, чтобы его фамилия не была бы впоследствии запятнана его выродившимися потомками.

Но дегенераты, о которых мы говорим, наследуют не одни лишь богатства, но и шансы на победу в борьбе за существование, благодаря чему из этой борьбы выходят победителями не самые сильные, а самые презренные и духовно отсталые элементы.

Итак, допуская даже, что борьба людей за существование в исходном пункте обеспечивает победу сильным, приходится при-

знать, что право наследования изменяет и извращает начальные отношения между силой победителей и побежденных и венчает победными лаврами самых слабых и недостойных.

Не прав ли, в таком случае, мой друг Колаяни, когда он сравнивает эту борьбу с состязанием двух индивидов, из которых один, крепкий, вынужден сделать требуемое расстояние пешком, а его соперник, хромой и горбатый, сидя в карете. Ясно, что приз достанется последнему, хотя бы он не был ни сильнее, ни искуснее в беге, чем его конкурент; своей победой он, очевидно, обязан случайным обстоятельствам, благодаря которым ему в распоряжение досталась карета в то время, как его соперник был лишен ее.

В экономической борьбе эту роль кареты исполняет наследство, которое часто позволяет хромым быстро подвигаться вперед по пути к счастью, оставляя далеко позади себя людей крепких, но располагающих одними ногами.

Рядом с основной формой человеческой борьбы—классовой борьбой между богатыми и трудящимися—идет не менее жестокая борьба между членами одного и того же класса: богатые соперничают с богатыми, а рабочие и бедные вырывают друг у друга хлеб. Можно было бы предположить, что если в главной борьбе победа достается слабым, то, по крайней мере, в взаимной борьбе отдельных членов одного класса побеждают наиболее сильные. Но факты безжалостно рассеивают и эту иллюзию.

Посмотрите, в самом деле, как ведется борьба в недрах класса собственников, и вы убедитесь, что и здесь чаще всего торжествуют самые низкие и грязные элементы, что и здесь победу обеспечивает не талант, а обман и лихоимство, которые являются вернейшими средствами, чтобы нажить несметные богатства.

Есть еще один чрезвычайно важный момент, который в людской борьбе препятствует выживанию наиболее сильных; этот момент, свойственный исключительно человеческим обществам, заключается в губительном влиянии экономического фактора, который извращает действие полового подбора или не дает ему естественно проявиться.

Платон не мог бы применить своей теории, согласно которой любовь призвана соединять богатство и бедность, к условиям современного брака, освящающего только союз богатых с богатыми и бедных с бедными. Никто, я думаю, не станет отрицать,

что в наше время люди при заключении брака руководятся исключительно экономическим критерием. Но должны ли мы в таком случае удивляться, если плодами нередко противоестественного подбора являются вырождение и декаденство.

Вспомните жестокую отповедь, которую Шекспир в своем „Короле Лире“ заставляет законного сына выслушать из уст незаконнорожденного брата: „Я чувствую, что в моих жилах течет бурная кровь молодости. Могучий отпрыск, я явился плодом любви двух прекрасных, молодых и пылких существ, а ты, хрупкое создание, лишенное энергии и жизни, обязан своим появлением на свет Божий скучному, холодному союзу двух людей, связанных между собой контрактом, который не мог воспламенить их сердца огнем чувств“.

Как часто эти пламенные слова находили себе подтверждение в физическом и нравственном превосходстве „незаконных“ потомков над родившимися от законного брака! История сохранила немало славных имен, принадлежавших людям, родившимся вне брака, перед которыми меркнет воспоминание об их законных братьях. Насколько, напр., Дон Жуан Австрийский стоит выше Филиппа II, или Вандам—Людовика XIII и Гастона Орлеанского! А Дюнуа, принц Евгений, Мориц Саксонский, д'Аламбер и много других знаменитых людей, которые должны были только в силу своего незаконного рождения склониться перед своими братьями, законными дегенератами. Если подобные печальные факты случались часто в прошлые века, то они не стали реже и в наше время всепоглощающего экономического эгоизма, когда стремление к материальному благосостоянию возведено в своего рода культ и брачный подбор является результатом расчета, так часто идущего вразрез с требованиями природы. Не вправе ли мы видеть в этом новый и убедительнейший довод в пользу того, что следует провести резкую грань между ролью полового подбора у людей и естественного подбора у животных: в то время как последний служит причиной беспрестанного совершенствования вида, первый толкает человечество на путь вырождения.

Но, возразят мне, ведь в той жестокой борьбе за существование, которую ведут между собой члены рабочего класса, должны одерживать верх, действительно, только наиболее сильные, которые в состоянии добыть себе наибольшую долю жизненных средств, осуждая более слабых на вымирание. Есть ли, однако, какое-либо основание для подобного возражения, когда мы видим, как сильные и интеллигентные английские рабочие не в со-

стоянии конкурировать с грубыми и вырождающимися китайцами, как сельско-хозяйственные рабочие Восточной Германии вытесняются поляками и русскими, когда на наших глазах женщины и дети постепенно замещают на фабриках взрослых мужчин и выбрасывают их на мостовую? Разве мы не убеждаемся на каждом шагу в том, что наиболее тяжелые работы, т. е. те, которые требуют от рабочего наибольшей затраты физических сил, являются одновременно и наихуже оплачиваемыми? Явления современной жизни, доступные нашему ежедневному наблюдению, доказывают нам с полной очевидностью, что во взаимной конкуренции рабочих успех оказывается на стороне самых слабых. Факт этот станет понятным, если мы примем во внимание, что именно среди слабых капиталист может легче всего найти для себя податливые, послушные и покорные орудия, или, называя вещи своими именами,—потому, что паразит внедряется ежедневно в тело того организма, который лучше всего поддается эксплоатации.

Надо ли, далее, распространяться о том, что и естественный подбор не дает никаких преимуществ лучшим, более сильным элементам рабочего класса, так как милитаризм, вырывая из его рядов самых крепких и здоровых индивидумов и лишая их временно брачной жизни, этим обеспечивает за слабыми значительный перевес при размножении.

Итак, с какой бы мы стороны ни стали рассматривать положение вещей, мы приходим к одному и тому же заключению, что борьба людей за существование носит характер, противоположный тому, которым отличается борьба в животном царстве. Имеем ли мы дело с основной формой борьбы, с классовой борьбой между имущими и неимущими, или же с второстепенными и, если можно так выразиться, концентрическими столкновениями между членами одного и того же класса,—всегда исход состязания более благоприятен для слабых, чем для сильных элементов, так что в конечном результате борьба людей за существование в противоположность животной борьбе, способствующей прогрессу вида, является фактором регресса и вырождения. И если, тем не менее, некоторые писатели утверждают—как, напр., в новейшее время Ферри со свойственным ему увлекательным и вместе с тем мужественным красноречием,—что в человеческом роде также выходят победителями из борьбы наиболее приспособленные элементы, но что именно потому, что эти элементы оказываются наиболее приспособленными к условиям жизни в порочной среде, они являются и наименее достойными членами общества,—то этим

писателям мы ответим, что, утверждая таким образом, они спасают, правда, формулу, но не учение; они сохраняют только принцип, фразу Дарвина о выживании более сильных, но не дух его теории; в их толковании функция подбора заключается не в совершенствовании вида, как полагал Дарвин, а в вырождении его, и, таким образом, их утверждения не только не опровергают наших заключений, но, наоборот, дают новое доказательство его верности.

Положение, которое мы защищаем, только при поверхностном отношении к нему может внушить чувство горечи, внимательный же исследователь найдет в нем источник истинной радости.

В самом деле, настаивая на том, что только у низших видов война всех против всех—bellum omnium contra omnes—может служить плодотворным элементом прогрессивного развития, человечество же она должна неминуемо вести к разложению,—что другое хотим мы сказать, как не то, что человечество должно вступить на новый путь, что в жестокостях непрекращающейся борьбы оно тщетно будет искать закваски для под'ема своих нравственных и физических сил? Можно примириться с тем фактом, что низшие виды обречены на постоянную борьбу, можно признать естественным, что такая борьба является даже conditio sine qua non их прогресса, но человеческие существа именно потому, что они человечны, т. е. существа высшего порядка, требуют для своего совершенствования других условий, и то сильно действующее средство, которое так благотворно влияет на жизнь и развитие низших организмов, может у людей, существ с высшей организацией, вызвать маразм и смерть. Вот почему не в борьбе и не во взаимном истреблении должны люди искать условий, необходимых для своего развития, а в справедливости и сострадании. Пора отрешиться от мысли, будто и в человеческом роде слабые осуждены вести вечную и безнадежную борьбу с сильными. Разве история не дает нам никаких оснований надеяться на то, что наступит эра мира для нашего рода, состарившегося в вековой борьбе против природы и судеб? Разве она не укрепляет нас в убеждении, что безжалостная борьба за существование не есть роковая участь человечества, а лишь грустное и бессмысленное наследие первобытного варварства? История рисует нам, как война, носившая в начале, у каннибалов, чисто зверский характер, с ростом цивилизации постепенно теряла свои кровожадные черты; как с течением веков поле для человеческих разногласий постоянно суживалось: сначала войны велись из-за

обладания женщиной, затем ради распространения какой-либо национальной религии, во имя известных национальных предрассудков или капризов королей и их фаворитов. Впоследствии мотивами для войны служили коммерческое соперничество, стремление к национальному об'единению или низвержению тираническої власти, а в настоящее время, когда междоусобные распри введены в русло экономической и капиталистической конкуренции, для международных столкновений не осталось никаких других мотивов, кроме жалкого тщеславия какого-нибудь принца или временного соперничества выживших из ума дипломатов.

Тот зародыш прогресса, который заключается во всякой борьбе, не может служить исходной точкой для истинной социальной эволюции, пока в человеческом характере не одержат вверх более благородные и более возвышенные желания, чем те, которые господствовали в нем до сих пор. Пока люди будут руководиться в своих поступках стремлением оберегать свои личные интересы и удовлетворять свои эгоистические желания, только борьба—и борьба, не знающая ни отдыха, ни пощады,—будет в этом состоянии социального детства единственным источником прогресса и инициативы. Но я не считаю несбыточной утопией наступление такого строя, при котором люди будут все свои стремления направлять к физическому и духовному самоусовершенствованию, побуждаемые к этому не грубым желанием победить своих хуже вооруженных противников или захватить удобнейшее место на жизненном пиру, а святым и возвышенным стремлением развить свои способности до возможно большей высоты.

Можно допустить, не опасаясь прослыть фантазером, что те чувства, которые в настоящее время побуждают мыслителей, уже достигших богатства и славы, совершенно бескорыстно всей душой отдаваться отысканию истины, можно допустить, говорю я, что подобные чувства с течением времени получат большее распространение и станут когда-либо достоянием всего человечества.

Можем ли мы оставаться в роли зрителей борьбы за существование и, подобно римской толпе в цирке или упорствующим в своем доктринерстве социальным дарвинистам, воодушевлять гладиаторов на мировой арене,—мы, которые знаем, что эта борьба ведет к торжеству худших, к победе зла над добром? Нет, наш долг—стараться по мере сил смягчить эту борьбу и ограничить сферу ее действий Вместо того, чтобы тратить свои силы в братоубийственных распрях, соединимся все для того, чтобы дружно вести ту единственно плодотворную борьбу, которую цивилизация

поручила нам и для которой она требует всех наших сил—борьбу с сопротивляющейся материей. Пусть в людских отношениях борьба сменится единением, эгоизм—альтруизмом, конкуренция—любовью, и тогда соединенным усилиям общественной благотворительности, всеобщей солидарности и государственного вмешательства в пользу обездоленных удастся выполнить благородную миссию: облегчить людские страдания и подготовить почву для физического и морального возрождения человечества.

Мы далеки от жестоких взглядов Спенсера и его последователей, которые восстают против социального законодательства и вмешательства государств в пользу неимущих классов под тем предлогом, что эти классы, как наиболее слабая часть населения, силой вещей роковым образом осуждены на страдания и гибель. Мы, наоборот, требуем, чтобы государственная власть стала на защиту неимущих и, насколько она в силах, смягчила бесчеловечные жестокости, невинными жертвами которых они являются; мы требуем этого потому, что прекрасно знаем, что поражения, которые терпят в жизненной борьбе трудящиеся массы, являются результатом экономических условий, а не их действительной отсталости в духовном или физическом развитии.

В богатой эпизодами борьбе, которую мы в течение многих лет ведем против социального дарвинизма, мы можем опереться на один авторитет, значение которого никто не станет оспаривать, хотя наша ссылка на него, быть может, покажется несколько неожиданной: мы имеем в виду самого Дарвина. Дело в том, что великий натуралист сам был очень далек от тех преувеличений, которые впоследствии допустили его ученики-социологи; он всегда вполне определенно высказывался в том смысле, что прогресс человечества может осуществляться и помимо братоубийственной борьбы из-за средств к существованию и что социальная борьба тем существенным образом отличается от животной борьбы, что в ней торжествуют не лучшие элементы, а чаще всего самые недостойные и низкие.

В последние годы своей жизни великий ученый очень пессимистически смотрел на будущность человечества: он указывал на то, что в человеческих обществах не проявляется действие естественного подбора, благодаря чему в них выживают не самые сильные и здоровые элементы. В обнародованной переписке Дарвина мы находим горячие протесты (я припоминаю по этому поводу письмо его к Фоксу от 7 марта 1852 г.) против гнусного

поведения английских собственников, этих, как он выражается, грубых существ, у которых в груди вместо сердца—камень.

А, между тем, если верить нашим чрезмерным дарвинистам, эти-то собственники и являются самыми пригодными элементами, так как никому в жизненной борьбе не достается столько победных лавров и сокровищ, сколько им. Пусть же наши противники в полемике с нами не ссылаются на великого Дарвина, потому что он на нашей стороне, и напрасно стараются они, прикрываясь его прекрасной теорией прогресса и совершенствования видов, заглушить всякую критику социального строя, всякую попытку борьбы с общественным злом. Никакие теоретические словоизвержения не в силах заставить смолкнуть голоса протестующих против общественного неустройства и возмущающихся царящей в общественных отношениях несправедливостью Научные теории не задерживают вихря человеческого прогресса: наоборот, они усиливают лишь его стремительность.

Правда, не один раз случалось, что гениальные идеи могучих мыслителей истолковывались вначале в консервативном и реакционном духе; но истина скоро обнаруживалась, потому что истина не может мириться с несправедливостью, и каким бы пышным одеянием последняя ни прикрывалась,—лучи всемогущего знания раскроют ее наготу.

Так, теорию Агассиса о множественности человеческих видов рабовладельцы сначала приводили в оправдание рабства, но очень скоро пришлось убедиться, что это учение наносит новый удар отвратительному учреждению.

Точно также и теория Дарвина, в которой некоторые софисты стараются почерпнуть оправдание для существующей экономической организации, становится с течением времени могущественным орудием социальной реформы.

Дине-Денес Иозеф.

Марксизм и новые веяния в естествознании.

Те годы, когда Карл Маркс и Фридрих Энгельс вчерне набрасывали и совершенствовали исторический материализм, революционизируя этим общественную науку, были чрезвычайно революционной эпохой и для наук естественных. Непосредственно перед „Коммунистическим манифестом“ (1847) и почти одновременно со „Святым семейством“ (1845) и „Положением рабочего класса в Англии“ (1844) появились составившие эпоху труды Роберта Майера о сохранении силы (1842 и 1845), „Химические письма“ Либиха (1844) и речь Гельмгольца „О сохранении силы“ (1847) Далее следовала почти десятилетняя пауза, пока в 1859 г. не вышла книга Маркса „К критике политической экономии“, в предисловии к которой исторический материализм впервые появился в совершенно зрелой форме. В том же году появляется „Происхождение видов“ Дарвина, годом раньше „Целлюларная патология“ Вирхова и только через год „Органическая химия на основе синтеза“ Бертло, а еще через год работы Пастера о микробах и Клод-Бернара о механизме ощущений. Затем проходит еще 7 лет до выхода первого тома „Капитала“ (1867) В то же самое время появляются дальнейшие труды Дарвина, Гексли, Молешотта и главное произведение Геккеля „Всеобщая морфология“ (1866).

Несмотря на то, что все основы современного естествознания были заложены одновременно с марксизмом, в произведениях Маркса это мало чувствуется. Правда, в первом томе „Капитала“ с большим трудом сыскали некоторые положения, имеющие отношение к современным естественным наукам, и Вольтман на этом основании даже готов был причислить Маркса к последователям органической социологии. Но по изучении произведений Маркса получаешь скорее впечатление, будто современные естественные науки интересовали его лишь в мере своего прямого влияния на товарное производство

Но так как, по сообщениям Эвелинг и Либкнехта, мы знаем, что на деле Маркс не только питал живейший интерес к современным естественным наукам, но и основательно их знал, то тот факт, что он почти совершенно игнорировал их в своей системе,

только доказывает, что законы природы он считал совершенно отличными от законов социальных и для установления последних полагал вполне достаточным исторический материализм.

Правда, десять лет спустя, в 1877 году Фридрих Энгельс уделил много места естествознанию в своем произведении „Переворот в науке, совершенный г. Евгением Дюрингом". Но и здесь он нисколько не пытался построить социологию на естественно-научной основе. Скорее он стремился, как он это ясно об'являет в предисловии к 4 изданию, показать, „что в природе в путанице бесчисленных изменений действуют те же диалектические законы движения, что господствуют и в истории над кажущейся случайностью событий".

Маркс показал, что в истории нет прочных вечных состояний и прочных граней между различными состояниями, что собственность, хозяйство, классы, мораль, духовная жизнь имеют вечно изменяющиеся формы, что все эти изменения подчинены единому закону. Энгельс хотел показать то же самое для явлений и состояний природы.

Он знал и допускал в том же предисловии, что доказательство проведено им не так полномерно, как у Маркса. Но он знал в то же время, что ход естественно-научного исследования все больше клонит к такому доказательству, и предвидел в теоретическом естествознании революцию, которая и сопротивляющихся принудит принять это воззрение.

Ныне эта революция налицо. В различных областях естественных наук добыты новые знания, и все они сводятся к пункту, который хотел выяснить Энгельс, именно к тому, что в природе „нет непримиримых противоречий, нет сильно выраженных граней и разл.чий" и что если в природе и есть противоречия и различия, то только мы вложили в природу их оцепенелость и абсолютное значение.

Цель следующих строк вкратце указать на эти новые знания и на их полное соответствие тем началам, которые нам дает марксизм.

Когда Энгельс писал своего „Анти-Дюринга", для нашего познания не только в природе существовали еще бесчисленные нерешенные противоречия, не только явления природы разделялись еще на ряд по большей части резко разграниченных классов, но даже между отдельными отраслями естествознания удерживались

столь резко выраженные грани, что переступление их встречалось чрезвычайно резко, как насильственное вторжение во враждебную страну

Прежде всего здесь, как два обособленных мира, противостояли друг другу органические и неорганические естественные науки. В науках органических учение о формах организмов—морфология и их внутренних процессах—физиология образовывали опять-таки два обособленных царства. В неорганическом естествознании этому делению соотзетствовали области физики и химии. А сколько почти совершенно самостоятельных подразделений, подобно суверенным княжествам, в которых неограниченно царили специалисты-ученые, было еще внутри этих больших царств. Дробление было так велико, что люди, думавшие об об'единении, о монизме естествознания, клеймились, как утопические мечтатели.

А ныне? Кто решился бы теперь предпринять деление естественных наук на органические и неорганические? Если еще в начале 60 г.г. положение „органические тела суть во всех отношениях потомки неорганических соединений" считалось смелым, то нынче нет такого натуралиста, который не признавал бы, что органические тела возникают, сохраняются и исчезают по тем же законам, что и неорганические соединения.

Правда, и нынче есть ученые, так называемые неовиталисты, которые утверждают, что органические тела определяет особая, а именно „жизненная сила". Но это утверждение нисколько не содержит в себе отрицания упомянутого только что факта. И неовиталисты признают, что органический мир непререкаемо подчинен законам мира неорганического. Но если, несмотря на это, ряд натуралистов, которым мы обязаны, впрочем, тонкими и точными исследованиями, принимает все-таки какую-то особую энергию в качестве главного или хоть вспомогательного деятеля органического мира, какую-то особенную силу жизни или души или воли, то они делают это только потому, что во всех явлениях органического мира видят целесообразность, т. е. акты телеологические, стремящиеся к определенной цели развития.

Но исследования последнего десятилетия приводят к признанию того же пути развития и для неорганического мира.

И здесь все явления показывают известную целесообразность, стремление к определенной цели, последовательный под'ем от простого к сложному, непрерывный переход от недифференцированного к все более высокой дифференциации,—о чем, впрочем, я еще поговорю.

Если этим опрокидывается последняя попытка обособить друг от друга органический и неорганический миры, то и грани, установленные внутри этих миров, постепенно и все больше исчезают.

Хотя Ламарк и Дарвин и те, что достроили их теории, и поставили развитие форм организмов, морфологию, на точную основу, но при этом всевозможные таинственные силы,—как, напр., наклонности, инстинкты,—сохранили все-таки свое значение, и теория происхождения не об'яснила физиологических процессов, лежащих в основе морфологических явлений, и здесь для всевозможных особых „способов действия", особых энергий еще осталось место.

Правда, уже Геккель и за ним еще решительней Негели пытались свести и эти процессы к механическим причинам, а Ру придал более глубокий смысл теории приспособления и борьбы за существование, показав, что функциональное раздражение усиливает органы, что существует, следовательно, функциональное приспособление, и части каждого организма ведут между собою борьбу на подобие самих организмов. Но только в последнее время настоящее решение вопроса приблизили коренные исследования Жака Лэба.

Он показал, что за многими инстинктами совершенно так же, как и за рефлективными действиями стоят не особые силы или целесознательные намерения, но самые обыкновенные физические и химические процессы. А после того, как он показал далее, что оплодотворение яйца обусловлено не особой силой, что и неоплодотворенное яйцо может быть двинуто к развитию посредством физических и химических воздействий и что повсюду в мире организмов действует та же работа тех же энергий, как и в мире неорганическом, — исчезла последняя грань не только между морфологией и физиологией, но и между органическим и неорганическим мирами.

Еще сильнее и понятней и заурядному уму оказывается об'единение физики и химии. В 1898 г. Оствальду удалось осуществить учреждение физико-химического института и нынче, лишь несколько лет спустя, едва ли возможно обособленно расклассифицировать физику и химию; приходится примириться с сочетанием обоих в качестве „экспериментального естествознания". И даже последняя попытка такой классификации, которую сделал в 1900 г. знаменитый химик Вант-Гофф, когда он сказал, что физика есть учение об изменении форм работы, а химия—учение об

изменении материи, пала с тех пор, как стало ясно, что изменение материи совершенно тождественно изменению форм работы.

Как повсюду в жизни, так и в естествознании преодоление старого в мелочах гораздо труднее, чем в великом. Особенно трудно изгнать старую традицию противоположностей и резких ограничений из маленьких областей специальных наук. Подобно тому, как исторический материализм принимают для великих переворотов, для обширных эпох, но не для узко ограниченной сферы повседневной жизни, подобно тому, как демократию терпят в качестве общего принципа, в то время как в жизни повсюду проводятся резкие грани между отдельными классами и сферами интересов, так же обстоит дело и в естественных науках. Даже естествоиспытатели, уже согласившиеся с тем, что органический и неорганический мир—одно, что морфология и физиология сливаются в высшем единстве биологии, а физика и химия—в высшем единстве экспериментального естествознания и что не сегодня-завтра и эти высшие единства сольются в единстве еще более высоком,—даже эти передовые естествоиспытатели часто еще восстают против тех, кто в пределах физики и химии отказывается от удержавшихся противоположностей и граней.

Как ни привлекательно было бы здесь войти в частности и показать, насколько вся обширная область физики и химии вплоть до последних уголков охвачена революцией, открыто стремящейся к цели свести все явления в пределах этих областей к общей причине, но я хочу все-таки ограничиться главными моментами и указать лишь на то, как главнейшие противоположности и грани близятся к исчезновению.

Уже раньше Майеровым законом сохранения силы или, как он позже правильнее был назван, сохранения энергии, согласно которому сумма существующей в мире энергии есть величина постоянная и затраченное при каком бы то ни было естественном процессе количество энергии сохраняется, хотя появляется в конечном результате в других формах энергии, был дан мощный толчек провозглашению единства сил природы. Затем это понимание было сильно подкреплено доказательством, чаще всего опирающимся на работы Максвелля и Герца, что—как говорит один историк современного естествознания—„в свете и электричестве можно усматривать лишь проявление одной и той же силы природы, к которым различно относится лишь человеческая познавательная способность; в нас самих, а не об'ективно в природе,

лежит основание различия". После этого с каждым днем становится вероятнее, что и таинственнейшая из всех прежних первоначальных сил, именно так называемое химическое сродство, сводится к электрическим процессам, и так долго мечтаемое „единство сил природы" было бы установлено, если бы только знать, в чем состоит эта одна сила природы, к которой можно свести все прочие.

И мы стоим на пороге решения этой великой задачи Но раньше, чем о нем говорить, я должен упомянуть еще о некоторых других загадочных вопросах, ибо решение всех их надо ожидать из одного пункта.

До сих пор в учении об элементах индивидуализм был еще сильнее и крепче, чем в учении об энергиях. Для химии всякий элемент есть неразрушаемая индивидуальность, вещь в себе Подобно тому, как коллективизм о мнимую прирожденную индивидуальность отдельных людей, всякое единство понимания природы должно было разбиться об основные индивидуальности, из которых построен весь мир. Здесь приходилось сказать с Данте: „Оставьте всякую надежду". Элементы не исчезают, но их число постепенно растет. Если и существуют сродства,—прочные отношения между элементами, то было бы алхимистической фантазией надеяться, что когда-нибудь удастся создать из одного элемента другой.

Это было неприкосновенной верой, пожалуй, законом природы, пока несколько лет назад не удалось перевести элемент радий в элемент гелий. Консерваторы в ужасе творят крестное знамение в виду такого поношения естественно-научной догмы, сверхмудрецы относятся к нему скептически, а революционеры продолжают революцию. Норман Локиер и другие показали, что в солнце и еще больше в еще горячих звездах некоторые элементы разлагаются и что при достаточном жаре это разложение идет еще дальше и должно, наконец, привести к „первоначальной химической форме". Из этой первоначальной химической формы развились затем постепенными ступенями все дальнейшие формы, и органическая форма есть только предтеча последней ступени этой лестницы

Этим положением все вещества природы сводятся к одному веществу, подобно тому, как силы природы к одной силе. Но, как там встает вопрос о форме этой первичной силы, так и здесь — вопрос о форме первовещества.

Этими двумя вопросами мы достигли высочайшей проблемы всего естествознания, вопроса об отношении силы и вещества или, выражаясь научно,—материи и энергии.

До сих пор между ними сохранялось непримиримое противоречие. Как тело и дух представляли мнимо-вечный дуализм в органическом мире, так материя и энергия еще более вечный дуализм во всей природе. Материя была вечным покоем, энергия—вечным движением, и покой материи нарушался только воздействием на нее энергии. То, что нашей мыслью никоим образом, даже с помощью тончайших инструментов, материя не воспринималась иначе, как посредством воздействия энергии теплоты, света, электричества и т. д., и то, что ни одна из этих энергий опять-таки для нас не существовала без посредства материи,—это не служило препятствием дуалистам. Да там, где дуализма не хватало, они охотней хватались за устарелый бессмысленный триализм, и между материей и энергией вдвигали еще загадочный эфир, долженствующий об'единять в себе тысячи противоречивых свойств,—прочный и эластичный, как сталь, и в то же время невесомый и нематериальный, чтобы проникать все тела.

Как крепко ни держится большинство естествоиспытателей за старые учения, юная революция в естествознании состоит именно в устранении и этих последних противоположностей и резчайших граней. Изучение „лучистой материи"—пользуясь выражением, идущим от Фарадея и снова обновленным у Крукса,—привело к этой революции.

С тех пор, как Круксу удалось довести пустоту в Гитторфовой трубке до 1/20.000.000 атмосферного давления и только этим собственно обусловить изучение катодных лучей, а Леннард в 1892 г. сумел посредством своего аллюминиевого окошка извлечь эти лучи из трубки, вихрем прошли сотни и тысячи новых наблюдений над лучистой материей. В 1895 г. Рентген нашел свои Х-лучи, год спустя Бекерель—свои лучи. Лучи, так называемого темного света, ультрафиолетового света были исследованы. Ряд ученых старался об'яснить лучения, так называемого, радиоактивного тела, пока, наконец, Густав Лебон не показал, что все тела более или менее радиоактивны.

Стоит великая загадка. Если закон сохранения силы и покоя материи существует,—как может радиоактивное тело без всякого внешнего воздействия только из себя самого развивать такие несметные энергии, какие содержатся в радиоактивных лучениях.

Разные крупные ученые пытались дать на это робкий ответ, указывая на то, что мы имеем здесь дело с расторжением, диссоциацией материи, но только Густав Лебон имел мужество ясно формулировать ответ и опрокинуть этим доселе прочнейшие основы точного естествознания.

Его учение, которое он подтверждает многочисленными опытами, состоит в следующем:

Радиоактивность есть диссоциация атомов. Каждый атом есть только сгущенный эфир, поддерживаемый несметными силами в равновесии, и как только это равновесие нарушается, он снова излучается в мировой эфир, при чем снова освобождается энергия, послужившая для сгущения. Все элементы произошли из этого эфира через движение, все силы природы, все энергии суть не что иное, как разнообразнейшие формы, в которых мы воспринимаем это движение, и материя есть также только известная форма, в которой мы воспринимаем это движение.

Как блестяще подтверждается этим тридцать лет тому назад высказанная мысль Энгельса: „движение есть способ существования материи".

Я пришел к концу. Хорошо знаю, что я должен был сделать некоторые скачки и много предоставить фантазии читателя, но мое дело—только показать, что в явлениях природы нет постоянных противоположностей, нет прочных граней.

И это доказала юная революция в естествознании. Все явления природы суть движения, и разница между ними состоит лишь в том, что мы, люди, воспринимаем эти движения в различных формах, как марксизм во всех социальных явлениях видит лишь различные формы движения производительных сил.

Предсказание Энгельса сбывается! И природа, совершенно так же, как история, подвластна закону диалектического движения. Можно предвидеть наступление времени, когда будет признано и единство этих обоих теперь еще, повидимому, различных законов. Но это осуществится не перенесением законов движения одной части природы—биологии, химии или физики—на историю, а подчинением и природы и истории высшему, единому закону.

Геркнер Генрих.

Дарвинизм и социальная политика.

Жалобы, высказанные несколько лет тому назад одним даровитым, к сожалению, слишком рано умершим юристом на то, что естественно-историческое образование грозит оттеснить политическое, не имели успеха. Как раз в последнее время нам с большей, чем когда-либо, самоуверенностью и победоносностью пред'является требование, чтобы политические и социальные проблемы решались в высшей инстанции перед лицом естествознания. Снова и снова предпринимаются попытки подвергнуть критике с точки зрения дарвинизма современные социально-политические стремления. Относительно основательности этого метода даже у тех, кто наблюдает извне идейную борьбу, должны возникнуть очень решительные сомнения: ведь дарвинисты встречаются одинаково во всех социальных лагерях, а, между тем, каждый из них верит, что только программа его направления может быть согласована с дарвинизмом.

Сам Дарвин называл себя либералом или радикалом. Дарвинисты германских университетских кафедр, такие люди, как Геккель и Вейсманн, стоят на правом крыле национал-либерализма. Сэр Альфред Россель Уоллэс, который разделяет с Дарвином заслугу обоснования теории подбора, является сторонником земельной реформы.

Наконец, другие дарвинисты, как зять К. Маркса, д-р Э. Авелинг, как ботаник Додель-Порт, Грант-Аллен, д-р А. Блашко и д-р А. Плец, склоняются к социализму. Р. Вирхов также высказал в 1877 г. мнение, что дарвинизм может благоприятствовать социализму.

Сомнения относительно возможности обсуждения социально-политических вопросов с точки зрения дарвинизма значительно подкрепляются еще тем, что еще не достигнуто единогласие по самым основным принципам дарвинизма. Так, учение об унаследовании приобретенных особенностей с такою же решительностью опровергается Вейсманном, с какою утверждается другой стороной. Существуют даже известные ученые, уверяющие, что весь дарвинизм находится в настоящее время в процессе формирования, о вероятных результатах которого нельзя высказать ничего определенного.

В виду такого положения дел, нельзя было бы упрекнуть социал-политиков, если бы они отсоветовали дарвинистам браться за социально-политические вопросы, прежде чем они совершенно выяснят самый дарвинизм. Однако, этот дружеский совет встретил бы, наверно, меньше всего внимания со стороны тех, по отношению к которым он наиболее уместен. А так как дело идет не о простых доктринерских вопросах, но о крайне важных в практическом отношении обстоятельствах, то нам здесь невозможно отказаться от обсуждения дарвинистской социальной политики.

Послушаем сначала самого Дарвина. Он считает борьбу необходимой для прогрессивного развития человечества. „Как и всякое другое животное, человек, без сомнения, достиг своего теперешнего высокого положения благодаря борьбе за существование, являющейся следствием быстрого размножения, и если он должен прогрессировать еще выше, то надо опасаться, что он должен и впредь подвергаться упорной борьбе В противном случае он впал бы в вялость, и лучше одаренные люди не преуспевали бы в борьбе за жизнь больше, чем люди менее одаренные. Поэтому естественный прирост населения не должен быть значительно сокращен какими бы то ни было средствами, хотя он и ведет к многим и очевидным бедствиям“. Но тот же Дарвин замечает: „Как бы ни была справедлива и не продолжала быть таковой и теперь борьба за существование—но если иметь в виду высшую сторону человеческой природы, существуют и другие гораздо более важные факторы. Ибо моральные качества развивались прямо или косвенно скорее благодаря влиянию привычки, благодаря рассудочным силам, образованию, религии и т. д., чем благодаря естественному подбору, хотя действию этого последнего фактора с достоверностью можно приписать те социальные инстинкты, которые образуют основу развития человеческого ума“ („Происхождение человека“).

Но возникает имеющий решающее значение вопрос: всегда ли благодаря борьбе за существование, действующей при условиях современного социального строя, действительно выживают лучшие в умственном и нравственном отношениях люди. Они ли являются победителями в борьбе за существование, за привилегированное положение. Являются ли те, кто умеет лучше других приспособляться к существующим отношениям, носителями тех свойств, от распространения которых зависит духовное, нравственное и физическое облагораживание человечества.

Как рассказывает А Р. Уоллес, Дарвин в одной из последних своих бесед с ним высказался далеко не оптимистически о будущем человечестве, при чем основывался на том наблюдении, что в нашей современной цивилизации не осуществляется естественный подбор и наиболее лучшие не переживают. Победители в борьбе за денежное могущество отнюдь, дескать, не являются лучшими или умнейшими. Уоллес вполне верен этим воззрениям и является поэтому решительным противником ныне существующего экономического строя. Он считает современное состояние нашего социального развития не только крайне несовершенным, но и проникнутым развратом и до мозга костей прогнившим.

„Возможно ли в таком обществе, в котором значительный процент женщин должен работать ежедневно по многу часов, чтобы заработать себе кусок черствого хлеба, и в котором еще больший % их видит себя вынужденным вступать в мало соответствующий душевной склонности или вовсе этому не соответствующий брак, как единственное средство обеспечить себе долю личной независимости или физического благосостояния,—можно ли при таком положении думать о том, чтобы установить такие отношения женщины к мужчине, которые так же служили бы благу личности, как и интересам расы. Стоит только взглянуть, с одной стороны, на жизнь богачей, как она изображается в аристократических газетах или даже в отделе об'явлений таких газет, как „The Field“ или „The Queen“, с бесконечным кругом удовольствий и роскоши, с почти невообразимой расточительностью и фантазией, которые проявляются в счетах за дамские туалеты и в издержках по 20.000 марок на цветы для одного только бала,—а, с другой, на ужасное положение миллионов рабочих, мужчин, женщин и детей, как оно изображено детально в неопровержимом документе, в „Отчете комиссии палаты лордов для расследования Sweating-system“, и еще более ужасное положение тех, кто тщетно ищет какой бы то ни было работы, кто видит медленное умирание от голода своих детей и крайней беспомощностью и отчаянием побуждается к убийству и самоубийству. Может ли мыслящий человек, хотя бы только на минуту, согласиться с тем, что имеется хотя бы самое отдаленное вероятие, чтобы мы могли в таком обществе, где считаются необходимыми такие ужасные противоположности между роскошью и голодом и в котором законодательство признает их вещами, до которых ему практически нет никакого дела, чтобы в таком обществе когда-либо успешно были разрешены такие грозные социальные проблемы, как брачный и семейный вопросы, как средства для содействия физическому и

моральному прогрессу. Что за ирония—продолжать заваливать могилу современного общества, в которой скрыты прах и кости мертвецов, разными планами нравственного и физического совершенствования расы.

„На основании того, что я привожу ниже, я твердо убежден в том, что если мы очистим авгиевы конюшни нашего современного социального строя и введем такие учреждения, чтобы все должны были принимать участие в физическом и умственном труде и чтобы все работники пожинали полную плату за свой труд, то будущность расы будет обеспечена теми же законами человеческого развития, которые привели к медленному, но непрерывному прогрессу высших свойств человека. Если мужчины и женщины будут в одинаковой мере вполне свободно следовать своим влечениям; если станут одинаково неизвестны праздность и порочная или бесполезная роскошь, с одной стороны, и угнетающий труд и голод—с другой; если все будут получать наилучшее и наиболее основательное образование, которое только допустимо при данном уровне культуры и знаний; если знамя просветленного общественного мнения будет водружено мудрейшими и лучшими и его требования будут планомерно запечатлеваться в умах молодежи,—тогда окажется, что процесс отбора проявится сам собой с тенденцией постоянно устранять низшие и более вырождающиеся человеческие типы и тем постоянно поднимать средний уровень расы".

По тем же мотивам, Дарвин и А. Р. Уоллес и другие дарвинисты считают необходимыми социальные реформы. А. Тилле и А. Плец нападают особенно на право наследования, так как оно мешает людям вступать в борьбу при равных условиях. Подобным же образом часто упоминавшийся в последнее время биолог-дарвинист Бенжамен Кидд решительно отрицает, чтобы в настоящее время уже все люди вступали в жизненное соперничество при условиях равного социального положения. От осуществления этого идеала равного социального положения мы еще настолько далеки, что будущие поколения будут изумляться и, пожалуй, смеяться над тем, что в современном нашем обществе мы видим такой строй, в котором человек, благодаря свободной конкуренции, получает полностью свое вознаграждение, „в котором подходящий человек может быть уверен, что попадет на подходящее место и, находит достаточно побуждения работать наилучшим образом, строй, в котором всем членам общества предоставлены необходимые средства для полного использования и применения сил и спо-

собностей". Действительно, надо только немного подумать, чтобы увидеть, как далеки мы еще от этой цели. При господствующих общественных порядках значительная часть населения, как бы ни были велики его природная доброкачественность или способность, принимает в борьбе за жизнь участие лишь при таких условиях, которые исключают всякую возможность успеха. „Они являются в мир, в котором лучшие места не только уже заняты, но в действительности остаются в вечном владении. Ибо к числу тех привилегий, которые капитал унаследовал от феодализма, принадлежит и то, в силу которого богатые классы из поколения в поколение располагают этими местами, благодаря чему все остальное население остается навсегда исключенным. Даже тот многочисленный и увеличивающийся род мест, которые приобретаются только значительными познаниями и высшим образованием, остается для большей части народа в настоящее время почти так же строго и безусловно недоступным, как и при прежних общественных порядках, и это только потому, что эта часть народа не имеет возможности достигнуть такой умелости и образования, которые в настоящее время являются исключительной привилегией богатства".

Чтобы достигнуть эволюционистского идеала равного социального положения, по мнению Кидда, наш общественный строй должен испытать почти столь же коренной переворот, какой он испытал в прошедших стадиях; свою весьма интересную книгу он заканчивает прямо-таки энтузиастским прославлением современных демократических социальных реформ: „Мир еще не видел той демократии, которая теперь постепенно начинает господствовать в западных странах. Сравнивать эту демократию с древностью— значит совершенно не понимать ни природы нашей цивилизации, ни характера тех сил, которые ее создали. Ни по внешним формам, ни по духу своему современная демократия не имеет ничего общего с демократиями прошлого. Как бы ни был значителен прогресс во внешних формах, все же более важное различие лежит гораздо глубже. Постепенное освобождение народа и овладение им верховной властью было у нас продуктом медленного этического развития, которое оказало глубокое влияние на характер и в котором идеи равенства и взаимной ответственности единственным в своем роде образом восторжествовали в общественном мнении. Историческим фактом нашего времени, заслоняющим по своему значению все остальное, является пришествие демократии. Но признание этого факта имеет сравнительно мало значения, если мы, вместе с тем, не представим себе, что это по существу

новая демократия. Многие говорят об этом новом повелителе наций, словно это тот же ничтожный „демос“, которого слух с давних времен щекотали лестью бесчестные ухаживатели. Это— не так. Даже те, кто берет на себя руководительство демократией, еще не понимают ее вполне. Те, кто верит, что она вместо порядка водворит хаос, не понимают правильного характера ее силы. Они не понимают, что ее пришествие увенчает результат этического движения, в котором известные особенности и свойства найдут себе самое полное выражение, какое только они когда-либо могли найти в истории человечества,—свойства, которые мы все привыкли считать наивысшими, на какие только способна, вообще, человеческая природа“ (Kidd Benjamin „Sociale Evolution“).

Как явствует из приведенных заявлений Дарвина, Уоллеса, Кидда, социальная реформа не только вполне согласима с дарвинизмом, но должна даже быть признана естественным выводом из этого учения.

Противоречие между социально-реформаторскими демократическими стремлениями и воззрениями дарвинизма возникло благодаря тому, что некоторые дарвинисты, мало осведомленные в фактическом ходе экономической и социальной жизни, были настолько наивны, что усмотрели в конкуренции в области капиталистического индивидуализма „естественную“ борьбу за существование, в которой все наиболее способные выходят победителями. И не менее ложно было представление, которое составилось о требованиях равенства, выставляемых социальными реформаторами и социалистами. Они представляли себе механическое, внешнее нивеллирование, какое, быть может, и провозглашалось в некоторых социал-демократических произведениях второго и третьего ранга, и едва ли им было известно, что даже социал-демократ Фр. Энгельс заявил, что каждое требование равенства, идущее далее требования отмены классов, неизбежно приводит к абсурду. Требование равенства, какое носится перед глазами враждебных социальным реформам дарвинистов, коренится в буржуазном мировоззрении 18-го века; оно, как говорит Энгельс, является чем угодно, только не вечной истиной, а К. Маркс называет его „народным предрассудком“.

Разумеется, основывающиеся на естествознании социал-политики по большей части также не замечали, что научный марксизм не выставил картины коммунистического государства будущего. Они видят в суб'ективных утопических фантазиях какого-нибудь социал-демократического писателя или оратора квинт-эссенцию

коммунизма и воображают, что уничтожили последний, раз им удалось установить, напр., какое-нибудь противоречие между содержанием Бебелевской „Die Frau und der Sozialismus“ и некоторыми теориями дарвинистов.

Мнение о том, что дарвинизм при известных условиях может быть применен для защиты консервативно-аристократических стремлений, было впервые высказано в Германии Геккелем, писавшим в своем полемическом произведении против Вирхова („Свободная наука и свободное учение“):

„Дарвинизм скорее может быть чем угодно, только не социализмом. Если пожелать придать этой английской теории определенную тенденцию, что, впрочем, возможно, то эта тенденция может быть только аристократической, отнюдь не демократической и менее всего—социалистической. Теория подбора учит, что в человеческой жизни, как и в жизни животных и растений, везде и всегда может существовать и процветать лишь небольшое привилегированное меньшинство, тогда как остальное большинство прозябает и более или менее преждевременно гибнет. Бесчислены зародыши всякого животного и растительного вида и те особи, которые выходят из этих зародышей. Несравненно меньше зато между ними число счастливых особей, которые разовьются до полной зрелости и действительно достигнут жизненной цели, к которой стремятся. Жестокая и беспощадная „борьба за существование“, которая свирепствует повсюду в природе и должна свирепствовать в силу естественной необходимости, эта беспрерывная и безжалостная конкуренция всех живущих есть неопровержимый факт; только отборное меньшинство привилегированных, сильнейших в состоянии с успехом выдержать эту конкуренцию, тогда как громадное большинство конкурентов необходимо должно погибнуть в бедствиях. Этот трагический факт можно оплакивать, но его нельзя отрицать и нельзя изменить. Много званных, но мало избранных“.

„Подбор, отбор избранных необходимо связан с падением, гибелью основного большинства. Поэтому один английский исследователь называет дарвинизм прямо „переживанием наиболее приспособленного“, победой лучшего. Во всяком случае, этот принцип подбора далеко не демократичен, а, напротив того, аристократичен в настоящем смысле слова. Если поэтому дарвинизм, по мнению Вирхова, будучи проведен последовательно, имеет весьма опасную сторону, то эта последняя может состоять лишь в том, что служит опорой аристократическим стремлениям. Но каким

образом социализм мог бы воспользоваться этими стремлениями и каким образом им можно об'яснить ужасы коммуны,—это, говоря откровенно, для меня абсолютно непостижимо".

Надо заметить, что здесь Геккель прежде всего заботится о том, чтобы взять под защиту дарвинизм от упрека Вирхова, будто он может благоприятствовать социализму. Далее, Геккель об'являет дарвинизм „аристократическим в настоящем смысле слова", значит не аристократическим в обычном политико-юридическом значении. Несмотря на это, Геккель, однако, прибавляет еще к этому: „Впрочем, мы не можем при этом случае не указать на то, как опасно подобное непосредственное перенесение естественно-исторической теории на поприще практической политики. Крайняя сложность отношений нашей современной культурной жизни требует от практического политика столь осторожного и беспристрастного наблюдения, столь основательного исторического образования и критического сравнения, что он лишь с большой осторожностью и оговорками решится на подобное применение законов природы к практике культурной жизни".

Эти мудрые слова следовало бы в настоящее время подчеркнуть дважды и трижды, если сравнить их с значительными и практически весьма опасными заблуждениями, в которые впали антрополог О. Аммон и многие из его читателей.

Аммон полагает, что доказал неопровержимо, что в пределах современного экономического строя действительно, в общем, побеждают сильнейшие и лучшие по своим нравственным, умственным и физическим свойствам. Для доказательства он пользуется антропологическими принципами.

Аммон принимает на основании различных антропологических исследований, что население Германии возникло из смешения двух рас. Одна из них (тип А), длинноголовая, отличается светлым пигментом, раса германская. Другая (тип В) представляется круглоголовой, отличается темным пигментом, происхождения азиатского. С обоими расами связаны определенные душевные свойства. Германцы представляют собой „народ исполненный дикого мужества, преданности и верности, гордости и искренности". Их переселения служили не для приобретения добычи, но имели целью завоевание земли для населения. „Длинноголовые германского происхождения являются, по мнению Аммона, носителями высшей духовной жизни, от природы призванными занять господствующее положение, прирожденными защитниками общественного порядка. Все

их существо предопределяет их к аристократии. Склонностью к буржуазному приобретательству они обладают лишь в незначительной степени".

Напротив того, это последнее свойство весьма выработано у темных круглоголовых азиатского происхождения. „Ловкие в каждом сельско-хозяйственном и техническом искусстве так же, как и в торговле и денежных делах, они являются отличными крестьянами, рабочими и торговцами и притом, по большей части, послушными подданными. Более одаренные среди них умеют также организовать промышленные предприятия и увеличивать свое состояние. Чисто научные стремления, которым длинноголовые предаются со всей страстью своей натуры, движимые жаждой знания, недоступны круглоголовым; но практическое применение новых изобретений не ускользает от них, и они часто ставят в экономическую зависимость от себя слишком несвоекорыстных длинноголовых. Их склонность к демократическому учению равенства основывается на том, что сами они никоим образом не выходят за пределы посредственности и чувствуют антипатию, если не ненависть, к величию, которого они не в состоянии охватить". Если спросить, где Аммон так точно изучил душевные свойства длинно и круглоголовых, то хотя и приводятся некоторые замечания о свойствах гуннов, калмыков, тагар, самоедов, мадьяр и китайцев, но все же и по Аммону южно-германские круглоголовые не происходят от этих народов.

На каком основании известные душевные свойства приписываются определенным типам черепов? Ведь наиболее известные антропологи до сих пор не сделали этого! Самое отношение между формой головы и расой считается учеными антропологами отнюдь недостаточно исследованным. „В этом отношении,—замечает И. Ранке,—еще так много темного, что было бы неправильно и ненаучно, если бы мы уже теперь пытались выбрать окончательное решение между различными возможными об'яснениями: только невежество и диллетантизм, а не углубление в естественно-историческое исследование, может породить мнение, будто бы возможно уже теперь представить законченную, абсолютно установленную систему природы".

Для полной картины этой „социал-антропологии" недоставало бы характерной черты, если бы мы не упомянули еще о том, как Аммон считает нужным высказаться на основании своего изучения о промышленном городском рабочем классе.

„Я желал бы обладать гласом ангела,—говорит Аммон,—чтобы воззвать к нашим государственным людям: о, не верьте, чтобы потомки городских жителей, будь то члены образованных классов или фабричные рабочие, могли сохранить (erhalten) человечество... Да, конечно, в настоящее время это—грудные дети, по потребностям которых все отмеривается, но они больны, их жизненный нерв не перевязан, так как они потеряли связь с укрепляющей землей. Высокоразвитые в умственном отношении люди подобны махровым цветкам, которые своими великолепными красками и запахом доставляют наслаждение, но неспособны производить семян. А городской пролетариат хотя, и производит массу семян, но плоды его невкусны и непитательны и не могут быть таковыми, так как не имеют ни настоящей почвы, ни необходимого света и влажности. Кто однажды погрузился в пролетариат, уже погиб для человечества, за редкими исключениями, столь же мало изменяющими ход вещей, как одна ласточка делает весну. Но, как уже сказано, об этом неизлечимом больном современное государство заботится с наибольшей любовью, тогда как было бы гораздо легче и справедливее сохранить здоровых здоровыми. Государство издает законы для охраны рабочих от эксплоатации... Несмотря на все эти законы, рабочие остаются больными и, вместо того, чтобы становиться довольными, они делаются все недовольнее и притязательнее в своих требованиях. Все более и более обнаруживается тщета старания приобрести расположение пролетариата. Он вовсе не хочет этого, но у него есть потребность беспрестанно ворчать, спорить, угрожать. Это в его природе, ибо, как бы ни стало благоприятно его положение, никогда нельзя будет воспрепятствовать вырождению его инстинктов.

„Если же, с другой стороны, здоровое крестьянское сословие, этот прирожденный охранитель традиционного стиля и отцовских обычаев, безнадежно обрекается на гибель, то друг отечества имеет повод озабоченно спрашивать, где должны найтись силы для сопротивления, если когда-либо зараженный пролетариат приступит серьезно к осуществлению своих идеалов наслаждения.

„Нездоровый и ставший извращенным в своих наклонностях рабочий с присущими ему фабричными испарениями представляет собой, по словам Аммона, „избалованную личность“ (Ammon. „Die Bedeutung des Bauerstandes“). Рабочее сословие состоит, как образно выразился Гансен, „из выпавших сквозь сито малоценных отрубей“. Если мы себе представим, что некогда наше исчезающее крестьянство не будет больше в состоянии воспитать здоро-

вые силы для пополнения высших сословий, то перед нами развернется печальная картина. Ибо это значит не что иное, как то, что предводители и руководители человечества должны будут выходить только из фабричных рабочих и пролетариата, следовательно, из малоценных выпавших сквозь сито отрубей. Идеалы, которые высоко держало до сих пор человечество, исчезнут с лица земли вместе с крестьянами, и на их место появятся другие идеалы меньшей ценности... Все свойства характера, которые способствуют бескорыстной и неподкупной преданности общим интересам, неизбежно исчезнут. Останется только грубая польза, и самый беспощадный, а не самый лучший, будет господином" (Ammon).

Вопрос об избирательном праве Аммон также решает по антропологическому масштабу: „Всеобщее прямое избирательное право означает при свете антропологии не что иное, как то, что круглоголовое большинство под предводительством социал-демократов или клерикалов должно господствовать над длинноголовым меньшинством, этим истинным носителем духовной культуры".

Этих выдержек должно быть достаточно, чтобы дать понятие о размере заблуждений нашего автора.

Быть может, некоторые читатели удивятся, что здесь уделено такое детальное внимание социал-антропологическому учению О. Аммона о предопределении. Пусть, однако, припомнят, что „Естественный подбор у человека" встречен был сочувственно, отчасти с энтузиазмом, целым рядом научных периодических изданий первого ранга, что „Общественный порядок" выдержал в короткое время два издания и что „Значение крестьянского сословия" было признано одним уважаемым экономистом достойным премии. Притом Аммону помогает то обстоятельство, что он стремится в своих трудах соединить две отрасли знания, которые редко возделываются одной и той же личностью. Поэтому представители естествознания легко склонны считать его выдающимся социал-политиком и статистиком, а статистики и социал-политики легко признают его крупным антропологом.

Да и что, вообще, может быть в настоящее время приятнее для высших классов, как „естественно-историческое" доказательство того, что становящееся для них столь неприятным промышленное рабочее сословие от природы предназначено к ворчанию, спорам и угрозам, что оно представляет собой „малоценные выпавшие сквозь сито отруби", что, наконец, надо прекратить баловать его и что высшие классы в целом обязаны своим высшим положением высшей духовной одаренности и добродетели.

Крупные ошибки, в которые легко впадают люди с односторонним естественно-историческим или только зоологическим образованием, когда они берутся за социальные проблемы, коренятся в особенности в том, что они совершенно не признают значения, которым обладает социальный класс. Действительно, биологическое и зоологическое изучение мало пригодно для того, чтобы познакомить с этими вопросами. Эти дарвинисты исходят из наивного представления, будто борьба за существование между людьми разыгрывается по большей части непосредственно между всеми людьми. На самом же деле о действительном соперничестве можно говорить только в применении к членам одного и того же класса, одной и той же профессиональной группы и социального слоя. Но образование профессий, социальное расслоение и классообразование суть продукты исторических событий и процессов развития. Они могут быть приняты не посредством естественно-исторического, но помощью социально-исторического образования.

На западе и юге Германской империи, в Швейцарии, во Франции, в Соединенных Штатах Северной Америки существует многочисленный класс мелких и средних сельских земельных собственников На германском северо-востоке, в Судетских областях, в Великобритании и Италии класс крупных землевладельцев и даже владельцев латифундий противостоит сельскому пролетариату. Это такие условия, которые не могут быть поняты при посредстве антропологических категорий. Здесь удовлетворительные выводы может дать только социальная история аграрных отношений. Она рассказывает нам, как происходило дело. Она нам, напр., показывает, что при прусском освобождении крестьян целый слой мелких крестьян был устранен от права регулирования и выкупа и что из него совершенно сознательно был выработан класс неимущих сельских рабочих. История дает нам понимание событий, которые после битвы при Белой Горе повели к образованию богемских латифундий или которые отняли у ирландского или шотландского народа его землю.

Как и в пределах сельских условий, точно так же образование классов промышленного населения опять-таки обусловливается большей частью не естественными явлениями, но явлениями историческими, изменениями в торговых путях, в средствах сообщения и технике. Если ремесленное сословие падает ныне, тогда как фабричный рабочий класс приобретает значение, то это явление прежде всего совпадает с переворотами в технике производства, которые в многих ремеслах делают способными к кон-

куренции только фабрично-организованные предприятия. При других технологических предпосылках многие из тех, которые ныне зарабатывают свой хлеб в качестве рабочих и преданы социал-демократическим стремлениям, пели бы в дудку „охранительных“ партий, все равно, был ли бы их черепной показатель равен 81,2 или 80,9. Принадлежность к определенному классу полагает грань, которую, в общем, не может перейти отдельный индивидуум, какова бы ни была его даровитость. Сын неимущего фабричного и сельского рабочего не сделается, за редкими исключениями, только подтверждающими правило, ни фабрикантом, ни профессором университета, ни советником министерства. Даже при отличных дарованиях он в лучшем случае достигнет самых низших ступеней ближайших к нему социальных слоев. Он, быть может, благодаря военным заслугам, получит какую-нибудь низшую должность и поднимется в сословии низших чиновников. Он может дойти до поста надсмотрщика или мастера и таким путем достигнуть социального положения низших слоев среднего класса. Только дети его, для которых социальная исходная точка стоит на несколько ступеней выше, могут подвинуться еще дальше вперед. Конечно, и им едва ли можно думать о таких профессиях, которые не сразу доставляют самостоятельный доход. Напр., в тех германских государствах, которые дают своим молодым чиновникам хотя бы умеренное жалованье тотчас же, перспективы складываются благоприятнее, чем, напр., в Пруссии, где референдарий и асессор по целым годам должны жить без вознаграждения, т. е., следовательно, на доходы или средства своего семейства.

Следует затем еще вспомнить, что классовое положение находится под властью общих экономических кон'юнктур. Так, например, в настоящее время условия конкуренции не особенно благоприятны для сельских хозяев германского востока. Способный интеллигентный помещик может поэтому увидеть себя принужденным раздробить свое поместье на „рентные имения“, тогда как менее даровитые крестьяне гороздо более в состоянии продержаться.

Лишь в пределах одинакового социального класса, одинаковой профессионильной и общественной группы, в пределах, действительно доставляющих всем членам равную социальную возможность, может совершаться своего рода естественный отбор, и возвышение к привилегированному положению будет часто результатом личного дарования. Во всяком случае, и здесь надо заметить, что число привилегированных положений и в этой группе

не должно необходимо совпадать с числом высших в ней талантов. Все это зависит от таких процессов развития, на которые отдельный человек не оказывает никакого влияния или только малое. В некоторых отраслях промышленности, быть может, сильно уменьшается число предприятий, тогда как растет их размер. Следовательно, это означает уменьшение числа привилегированных предпринимательских мест. Или быстрое процветание какого-нибудь города или перемены в таможенной политике могут создать весьма выгодные кон'юнктуры для отдельных отраслей промышленности. Тем самым значительно увеличится возможность стать в привилегированное положение. На благоприятные места попадут менее крупные таланты, тогда как в другом месте более даровитые должны удовольствоваться менее крупными позициями.

Однако, и по другой еще причине следует подумать, прежде чем судить о личности—даже в пределах ее класса—просто по внешнему успеху. Можно сказать только одно, что она наилучшим образом приспособилась к данным условиям. А способность приспособления может быть в нравственном отношении безразличной и даже безнравственной. Например, в текстильной промышленности некоторые личности особенно преуспели благодаря тому, что были менее добросовестны, чем их конкуренты, в применении менее ценной и искусственной шерсти. Столь же мало можно при всяких обстоятельствах называть достойным похвалы преимуществом способность к приспособлению, проявляемую на жизненном пути художника, военного, ученого или политического деятеля. Ведь иначе „карьерист" должен был бы представлять идеальный тип человека.

Не об уничтожении свободного соперничества идет речь в социальной реформе, как то часто ошибочно полагают естествоиспытатели. Соперничество должно остаться, но внешние условия и формы, в которых оно происходит ныне, должны быть настолько преобразованы, чтобы всем все более и более открывалась одинаковая возможность социального успеха и чтобы, в общем, те выходили победителями в борьбе, в которых наиболее совершенным образом воплощены драгоценнейшие, согласно нашим нравственным понятиям, свойства.

Соперничество тем самым будет скорее усилено, чем смягчено. Образование классов часто действует ныне на соперничество стесняющим образом. Существуют социальные слои, для которых имеется несоразмерно больше привилегированных позиций, чем это соответствовало бы числу высших среди них дарований.

Таланты в этих случаях проявили бы гораздо больше деятельности, если бы им пришлось вступить в фактическое соперничество с подобными же талантами других слоев, а не оставаться „среди своих", покоясь на лаврах крупного богатства, равно как политических и социальных привилегий. И само собой понятно, что и в низших слоях даровитая личность станет трудиться гораздо более, если будет знать, что ее возвышению не препятствуют никакие неподвижные внешние преграды, никакие неподатливые надменные предрассудки.

Поэтому крупными успехами и великими людьми отличаются не эпохи замкнутой родовой аристократии, окостенелых сословий, господства классового и расового чванства, но те эпохи, в которые мужественно расшатывались узы традиционных классов, препятствия для равного социального положения. Сколько французов, которые с блеском выступили после великой революции в качестве солдат, чиновников, художников, ученых и деловых людей, не будь этого насильственного уничтожения бессердечного строя привилегий, вряд ли смогли бы возвыситься и приобрести местное значение.

Бюхнер Людв., проф.

Дарвинизм и социализм

или борьба за существование и современное общество.

Состояние человеческого общества в прошлом и настоящем представляет собой в глазах друга человечества во многих отношениях мало утешительную картину. Она показывает нам громадные *противоположности* высшего счастья и глубочайшего бедствия. Безграничная бедность рядом с безграничным богатством, безграничное могущество рядом с безграничной слабостью, безграничное изобилие рядом с безграничным недостатком, чрезмерная работа рядом с ничегонеделанием и лентяйничеством, политическая свобода рядом с экономическим рабством, баснословное знание рядом с глубочайшим невежеством, красивое и изящное всех видов рядом с безобразным и отталкивающим, высший под'ем человеческого бытия и сил рядом с глубочайшим их упадком, тупое суеверие рядом с высшей свободой духа—вот характер того общества, которое, как кажется, стремится еще превзойти по силе этих противоположностей самые худшие времена политического гнета и рабства в прошлом. Уже издавна люди так яростно *враждовали* между собою и со своим собственным родом, что по сравнению с ними самые дикие и свирепые звери показались бы кроткими ягнятами.

Хотя времена самого дикого варварства и кровожадности большей частью и миновали в цивилизованных странах, они все же *повторяются* в другой форме, в тех потрясающих общественных трагедиях убийства, самоубийства, смерти от голода, незаслуженной болезни, преждевременной болезни, преждевременной смерти, безработицы и т. д., которые почти ежедневно нам приходится видеть, а мы не в состоянии предотвратить их ужасного повторения или ответить на них чем-нибудь другим, кроме мимолетного порыва сострадания. Ежедневно мы видим людей, быстро или медленно погибающих от недостатка самого необходимого для жизни, между тем, как рядом с ними лучше обставленная часть общества задыхается от избытка и довольства, а национальное благосостояние достигает никогда невиданной, но обыкновенно служащей на пользу лишь отдельным индивидуумам высоты. Когда мы видим, что сотни тысяч подвергаются вырожде-

нию вследствие роскоши, тогда как миллионы испытывают ту же участь вследствие нужды и лишения, то является почти искушение признать правым того английского писателя, который спрашивает: „Разве это в порядке вещей, чтобы миллионы людей чуть не умирали от голода для того, чтобы несколько тысяч гибло от диспепсии (переполнения желудка)".

Статистика показала грустный факт, что *средняя продолжительность жизни* бедных составляет немного больше *половины* продолжительности жизни богатых. Таким образом, бедняк уже в силу факта своей бедности лишается не только наслаждения жизнью, но даже и самой жизни. Сильнее всего это проклятие нищеты тяготеет над миром несчастных невинных *детей*, уже с первым вздохом своим принимающих в себя зародыши ранней смерти или же последующей болезни и главным образом, и именно по вине общества. Статистика показывает, что в среднем *половина* всех детей бедняков покидает эту земную юдоль плача *до* достижения пятилетнего возраста вследствие недостаточного питания, дурного ухода и т. д. Громадный национально-экономический вред этой беспрерывной, бесцельной растраты сил бросается в глаза. Все миллионные расходы деньгами и трудом, понесенные для этих детей, с их смертью безвозвратно проп дают для общества и никогда не могут быть возмещены последующей его работой.

Не должно ли глубоко возмущаться сердце друга человечества, когда ему приходится слышать, что целые толпы детей бедных выгоняют без завтрака утром в школы, или когда ему приходится читать об отчаявшихся отцах и матерях, отдающих себя и своих детей в жертву добровольной смерти, чтобы избежать смерти от голода или нужды, или когда ему приходится видеть, как политический или экономический кризис выбрасывает на мостовую целые толпы трудолюбивых рабочих и их семьи без пропитания, или когда ему приходится наблюдать, что увеличение преступлений против жизни и собственности большей частью является следствием скрытой войны между неимущими и имущими, или когда ему приходится убеждаться, что эгоизм и себялюбие являются теми столпами, на которых построено человеческое общество, и т. д.? Проходя по улицам наших городов, мы почти на каждом шагу можем наблюдать, как непосредственно рядом, над и под палатами богатства и роскоши ютятся вертепы порока и нищеты, как рядом с ломящимися от яств столами и пресыщенными желудками голод со впалыми глазами молча пе-

реносит свои страдания и как рядом с надменным довольством безнадежная нужда робко и боязливо заползает в грязные углы или же в мрачном отчаянии замышляет страшные дела против государства и общества. Одна весьма правильная поговорка говорит: „Кто не работает, тот не должен и есть“. Однако, как много людей и *не* работает или же никогда не работало и сколь многие из действительно трудящихся никогда не могут поесть досыта. Отсюда следует то неопровержимое заключение, что те, которые работают, должны трудиться не только для себя, но и для содержания целой армии дармоедов. Пусть не возражают, что последние живут трудами или заслугами своих предков, потому что все самое необходимое для жизни не может быть создано заранее и, раз оно уничтожено, необходимо должно быть произведено трудами современников.

Это *неравное* распределение распространяется не только на *материальную*, но и на *духовную пищу*.

Сколько талантов или гениев должны тянуть лямку ежедневной жизни, так как счастье не улыбнулось им при рождении, и как часто мы видим весьма ограниченные головы на вершинах власти или учености. Как раз идеальнейшая умственная работа обыкновенно оплачивается хуже всего, философы и поэты обыкновенно прирожденные пролетарии и только после смерти своей они достигают тех почестей, которые подобали им при жизни, тогда как спешная и поверхностная фабричная работа во вкусе толпы оплачивается лучше всего еще при жизни.

Для примера вспомним только о жалких немецких *комедиях*, способных забавлять только пустые головы и, несмотря на это, более или менее отодвигающих на задний план все лучшие произведения на сценах, которые должны бы быть духовными воспитательными учреждениями для народа. Так же, как с *театрами*, становящимися в полную зависимость от платящей публики, обстоит дело и с нашими *газетами* и *еженедельными изданиями*, высший идеал которых составляет и должно составлять большое число подписчиков, и потому они наряду с интересами своих руководителей и издателей придают обыкновенно гораздо больше значения временному вкусу публики, нежели распространению истины и просвещения. Подобного же упрека, хотя и в меньшей степени, заслуживает также *книжная литература* в которой мужественное прямодушие и философская *верность* убеждению, несомненно, всюду должны бороться с горами пошлости, невежества, злословия или безучастия, меж тем как жалкая, расчитанная на лю-

бопытство и сенсацию или же льстящая предрассудкам толпы литературная макулатура может также смело расчитывать, что найдет себе тысячи жадных читателей. Какое *бесконечно вредное* влияние должно иметь и уже имело это вынужденное подчинение господствующему вкусу или укоренившимся предрассудкам читающей публики, слишком хорошо известно, чтобы надо было распространяться об этом. Как часто, подводя итоги нашей газетной и книжной литературе, приходится вспоминать горькие слова Шекспира: „Истина —это собака, которая должна сидеть в конуре и которую выгоняют плетью, между тем, как комнатная собачка (т. е. ложь) имеет право стоять у огня и испускать дурной запах". Если мы спросим себя о *причинах* этой грустной действительности, то, думается нам, мы найдем ответ в явлении, с которым нас знакомит ближе *естествознание*, по успехам и значению своему далеко превосходящее ныне все другие науки. Это—неумолимая *борьба за существование*, получившая со времени *Дарвина* такую большую известность. Прежде всего она наблюдается в растительном и животном мире, где она является основной причиной изменения и прогресса, при чем обыкновенно только более сильные, более способные или же одаренные теми или иными преимуществами индивиды одерживают в этой борьбе или состязании победу над своими товарищами. Повода к состраданию эта борьба обыкновенно нам не дает, ибо смерть внезапна, наступает без полного сознания и обыкновенно решающим фактором здесь является только личная сила или какая-либо особенность. Это *борьба*, ведущаяся особями в общем совершенно одинаковыми военными приемами или бегством, или состязанием, при чем особь не пользуется никакими особыми преимуществами перед другими в смысле защиты со стороны общества. Изобилие и богатство природы довольно равномерно распределены между всеми ними, и нет никакой привилегии, которая запретила бы одному брать что-либо дозволенное другому. *Решающей* является лишь индивидуальная сила или способность. Если животное и считает свою нору или гнездо своей собственностью, то оно все-же должно быть готовым к тому, что во всякое время оно может быть обеспокоено в этом владении или же удалено из него другими более сильными существами.

Но у *человека* эта борьба принимает совершенно другой вид, вследствие его социального строя; появляясь на свет, человек уже находит все, вернее, все *хорошие* места за житейской трапезой занятыми, и если ему не приходит на помощь рождение, богатство, чин и т. д., он с самого начала уже принужден расходовать свои силы и свою жизнь на службе и в пользу тех, кто

владеет собственностью и кому это владение обеспечено обществом.

Поэтому здесь не всегда побеждает лучший, но самый богатый, побеждает не самый дельный, а самый могущественный, не самый способный или прилежный, но имеющий преимущества по своему социальному положению, не самый умный, а самый лукавый, не самый честный, но тот, кто в своих руках имеет различные средства политической и социальной эксплоатации и умеет наиболее хитро воспользоваться ими. По той же причине, а также вследствие того, что это отношение переходит из поколения в поколение, и *должно* создаваться то описанное уже нами положение крайнего социальнсго *неравенства*, которое является отличительным признаком современного общества и которое будет все усиливаться с течением времени. Впрочем, борьба человека за существование представляет *две* совершенно разные *стороны*, которые следует строго различать. *Одна* сторона заключается в *борьбе человека с природой* и с налагаемыми ею границами, стесняющими свободное развитие его сил; эта борьба, как известно, ведется человеком с наибольшим успехом, возрастающим с каждым днем. В этом успехе в большей или меньшей степени принимают или могут принимать участие все люди.

Вторая сторона представляется в *виде борьбы человека с ему подобными*, могущей, однако, быть как прямой, так и косвенной борьбой или состязанием за условия существования. Эта борьба теперь сделалась постольку более трудной, жестокой и неумолимой, поскольку борьба с природой стала легче. Она и будет становиться тем сильнее, чем значительнее будут успехи в материальной области и чем больше будет возрастать число людей и количество их потребностей. Благодаря этой борьбе, эгоизм и индивидуализм сделались властителями мира. Это—вообще соперничество, *война всех против всех*, при чем смерть одного обеспечивает хлеб другому и несчастье одного дает счастье другому. Могучий инстинкт самосохранения и гнет общественного эгоизма преобладает над всем. Сопротивление ему стало невозможным без тяжелого наказания сопротивляющихся. Действительно, там, где дело идет о благосостоянии или об интересах отдельной личности, общественному эгоизму обыкновенно так же мало знакомы сострадание или пощада, как тигру, терзающему свою жертву; и этого нельзя, даже не следует ставить в упрек индивиду, ибо инстинкт или интерес самосохранения в общественном организме, в том виде, в каком он является ныне, повелительно предписывает ему, *как* он дол-

жен поступать, если не хочет способствовать собственной гибели. Даже наиболее самоотверженный друг человечества не может не подчиняться этому требованию эгоизма, не подвергая самого себя величайшей опасности. Это—до известной степени великое и всеобщее бегство или скачка страха перед нуждой и лишениями жизни без сострадания или помощи к падающим—подобно знаменитому переходу великой Наполеоновской армии через Березину, где каждый заботится лишь о своем собственном спасении. Кто не желает быть растоптанным, тот сам должен топтать других и следовать всеобщему боевому крику: „Спасайся, кто может", „Гибни, кто должен". Благодаря привычке, чувство индивида к ужасам подобного состояния мало-по-малу притупляется, как у сражающихся к ужасам битвы.

Кому неизвестна знаменитая книга американского писателя *Беллами*, в которой он сравнивает состояние человеческого общества с большой удобно устроенной каретой, занятой сравнительно небольшим числом людей, между тем как большинство, впряженное в нее, изо всех сил тащит ее через горы и долины, трясины и болота, подгоняемое кнутом *голода*, сидящего кучером на козлах. Я считаю, что это сравнение, как вообще все сравнения, хромает во многих отношениях, но в общем оно все-таки метко, на что указывает чрезвычайный успех книги. Последний был бы немыслим, если бы значительная часть людей не была глубоко убеждена в неестественности и несправедливости положения современного человеческого общества и если бы она не встретила в книге изложения ее собственных более или менее сильно волнующих ее чувств.

Конечно, лишь немногие осмелятся серьезно отрицать, что подобное состояние общества сопровождается и должно сопровождаться величайшим для него экономическим и моральным ущербом. С одной стороны, бедность, нищета и недостаток воспитания и образования порождают большую часть преступлений против государства и общества, между тем как, с другой стороны, чрезмерное богатство влечет за собой праздность и всякие пороки; вследствие этого, государство и общество принуждены содержать дорого стоющий *суд* со всеми его отвратительными придатками и столь же дорого стоющие *благотворительные учреждения* для бедняков. В моральном отношении всеобщая конкуренция порождает безобразные страсти, как-то: зависть, ненависть, безжалостность, алчность, жестокосердие, взаимную вражду и борьбу без взаимной любви и поддержки. Каждый думает только о

себе и действует только ради своей собственной выгоды, ибо он знает, что в случае нужды никто за него не вступится и что он не найдет опоры себе в обществе. В *правильно* же организованном обществе выигрыш одного должен бы в то же время быть общим приобретением и обратно, и девизом его должно бы быть: „Один за всех и все за одного“, между тем как теперь имеет место как раз противное тому. Наибольший выигрыш доставляет нам одно из самых печальных явлений, именно смерть тех, кого мы сильнее всего любили в жизни, так как мы получаем от них *наследство*. Архитектор-строитель и все при постройке занятые рабочие должны радоваться, когда рушатся или сгорают дома; врач должен радоваться, когда усиливаются болезни; адвокат живет процессами, лишающими его сограждан спокойствия и имущества; судья должен находить удовольствие в больших уголовных процессах; офицеры должны радоваться, когда разражается величайшее бедствие человечества—война, так как они ожидают от нее повышений; кабатчик или продавец алкогольных напитков должен радоваться, когда усиливается пьянство; все ремесленники и производители должны радоваться, если приготовленные ими предметы потребления очень скоро становятся негодными; буре или граду, несмотря на причиняемый этими явлениями природы вред, рад стекольщик или страховой агент; и, вообще, почти все, что одному приносит вред, дает другому заработок, пользу.

Перечень подобных примеров из жизни можно было бы увеличить до бесконечности, но это увеличение ничего не изменило бы в конечном результате.

К этому присоединяется еще *деморализирующий* характер самой работы, которая делается обыкновенно не для общего блага, а вследствие стесненных личных обстоятельств. Современный рабочий—такой же раб, как и в прежние времена, с той только разницей, что не плеть господина, а плеть голода ставит его в зависимость от работодателя. В свою очередь этот работодатель—сам тоже раб—раб капитала, конкуренции, промышленного кризиса, забастовок, убытков и бывает часто в гораздо худшем положении, чем оплачиваемый им рабочий.

Если нелепость такой системы уже достаточно велика в *моральном* отношении, то еще более велика она в смысле экономическом. Действительно, в то время, как земля производит столько питательных веществ, что ими с избытком могло бы прокормиться все живущее человечество,—а при более правильном ведении хо-

зяйства она могла бы производить еще гораздо больше,—и в то время, как национальное благосостояние и накопление колоссальнейших богатств в руках отдельных индивидов достигает никогда еще невиданной высоты,—мы среди этого избытка все же должны быть свидетелями уже описанных нами сцен голода, нужды, незаслуженных болезней и преждевременной смерти. Как лицемерна забота государства о гражданах с целью предохранить последних от малейшего поступка против жизни, собственности или здоровья в то время, как оно спокойно и снисходительно смотрит на то, что нужда, бедность и лишения постоянно доводят, быстро или медленно, тысячи людей до добровольной или недобровольной смерти или что, благодаря недостаточному питанию и воспитанию, вырастает и духом и телом изуродованное юношество,—будущие кандидаты на скамью подсудимых, наполняющие впоследствии тюрьмы или обременяющие богадельни. Издают строгие законы против жестокого обращения с животными, но *не* обращают внимания на страшные *жестокости по отношению к человеку,* не обращают внимания на то, что бедные чахоточные девушки или женщины, даже жители целых округов, таковы ткачи Силезии и области рудных гор, день и ночь работают за плату, едва хватающую, чтобы спасти их от голодной смерти; закрывают глаза на то, что тысячи людей для той же цели жертвуют жизнью и здоровьем в абсолютно вредной атмосфере некоторых отраслей фабричного производства; закрывают глаза на то, что босоногие едва покрытые лохмотьями дети бродят в зимний мороз по улицам наших городов, не обращают внимания на то, что дюжина людей теснится в помещении, едва достаточном для одного, в то время, как другой один имеет в своем распоряжении десять, двенадцать и даже более комнат; не видят ничего зазорного в том, что жилища бедных были часто хуже собачьих конур и конюшен богачей; или чтобы многим ничего другого не оставалось, как ночевать под открытым небом под страхом преследования или наказания за это; или чтобы люди быстро или медленно гибли от голода, между тем как одни лишь *остатки* со стола богачей или ничтожная часть их избытка могла бы предотвратить это и т. д. и т. д.

Повторяю, что, вообще, лишь немногие будут иметь смелость отрицать эти факты или защищать связанное с ними нелепое положение вещей, как таковое. Признание социального неустройства и социальных нелепостей, как таковых, вытекает уже из того обстоятельства, что вызванная ими *литература* с бесчисленными проектами улучшения сделалась теперь почти необозримой. Но,—

отвечают обыкновенно на эти проекты,—это положение, к сожалению, *невозможно* изменить. Так было издавна, так будет и останется всегда.

Неравенство—необходимый атрибут человеческого общества. Всегда были благородные и низшие сословия, богатые и бедные, и масса существовала всегда лишь для работы и повиновения. Разум и справедливость в социальном отношении оставались всегда лишь идеалами и все социальные реформаторы, в роде Платона с его государством разума, на практике всегда терпели позорное крушение. Если бы в настоящее время и захотели *разделить* поровну все имущество, то очень скоро снова наступило бы прежнее неравенство. Кроме того, как ясно показывает вычисление, подобное всеобщее *разделение собственности* принесло бы каждому в отдельности относительно лишь очень незначительную выгоду.

При этом не упускают случая напомнить о великих благодеяниях *конкуренции*, дающей настоящий импульс работе и прогрессу и приведшей к тому, что теперь, благодаря дешевизне продуктов производства, потребление более или менее приноравливается к производству, тогда как раньше вообще придерживались того взгляда, что обратное отношение является единственно правильным и возможным.

Но чем же помочь, сталкиваясь с этими трудностями? На этот вопрос тем более трудно ответить, что до сих пор все бесчисленные попытки и проекты разрешения социального вопроса оставались безуспешными. Однако, это не должно отпугивать друга человечества от постоянной мысли новых и новых средств помощи. *Надо помочь*, и главное—*можно помочь*! Надо помочь, если мы не хотим рисковать тем, что каждый политический переворот в настоящем (а недостатка в них никогда не бывает) будет сопровождаться тяжелыми социальными потрясениями. Всеобщее чувство социального недовольства овладело большинством людей и именно в низших слоях населения, и будущая революция уже не остановится, как первая и вторая французские революции, перед „*собственностью*“. Нет недостатка в ясных признаках этих страстей и желаний, волнующих народную душу; в свое время они обнаружатся, и насильственные меры не в состоянии будут достичь чего-нибудь другого, кроме воспитания мучеников и фанатиков. Нигилисты в России, коммунисты во Франции, социал-демократы в Германии, фении, ирредентисты, динамитчики, все выше подымающий свою голову и образующий формальную

школу анархизм—это до некоторой степени лишь буревестники или предостерегающие сигналы грядущего *переворота* и политик или правитель, упускающий их из виду, походил бы на шкипера, не обращающего внимания на вьющихся вокруг его корабля морских чаек или видящего в них скорее предмет преследования, нежели предостережения перед грозящей опасностью. И в самом деле, „кто проводит время в охоте за чайками, того застигнет неожиданная буря и нанесет вред его жизни и состоянию“ (Раденгаузен).

Но если бы даже удалось (что вполне возможно) надолго подавить путем насильственных мер всякие попытки социального переворота, то все же упомянутое недовольство и неудовлетворенность не только не исчезли бы из общества, а, наоборот, еще более увеличились бы или усилились. Со временем между имущими и неимущими классами общества возникло бы что то в роде *скрытой войны*, не менее нарушающей спокойствие и счастье общества, чем война открытая. Действительно, если мы, например, узнаем, что в 1864 году в Англии на три тысячи лиц приходилось годового дохода около 5.000 миллионов марок, т. е. более чем общая годовая прибыль всех земледельческих рабочих всей Англии и Уэльса, то вряд ли мы имеем право считать возможным продолжительный социальный мир на почве подобных ненормальных отношений.

Но, к счастью, нет недостатка в возможности *изменить* это состояние или же не дать разразиться грозной буре, при этом не прибегая к насильственным мерам, а именно— с помощью целого ряда мирных реформ, которые, стоя на почве современного общественного строя, медленно и постепенно поведут к улучшению общего положения вещей, предполагая, что удастся убедить *большую* часть людей в благодетельности и необходимости подобных мер. Само собой разумеется, что при этом мы игнорируем радикальное решение социального вопроса в том виде, как это требует *коммунизм*.

Такое положение, при котором все имущество было бы общим, а работа совершенно свободной или добровольной (об этом более подробно речь впереди), конечно, возможно, но в настоящее время в широком масштабе оно *невыполнимо*, отчасти вследствие всеобщего несочувствия ему, отчасти вследствие слабости человеческой природы, сделавшейся, благодаря господству долгих лет эгоизма и индивидуализма, *неспособной* к подобному идеальному положению вещей. Это положение было бы возможным или осу-

ществимым лишь в конце долголетнего воспитания человеческого духа в альтруистическом и коллективистическом направлении, т. е. в духе всеобщей братской любви и гуманности.

Таким образом, после этого не остается ничего другого, как изыскать другие средства или способы помощи.

И здесь снова правильное указание дает нам *естествознание*, которое в настоящее время в состоянии произвести не только *духовное*, но и *социальное освобождение* человечества.

При этом я снова возвращаюсь к правильно освещенной этой наукой *борьбе за существование*, к сожалению, носящей при современных социальных отношениях еще грубый характер такой же борьбы в органическом мире вообще, с тою лишь разницей, что *в последнем случае* она ведется более или менее *равными*, в первом же—*весьма неравными* средствами.

В первом случае спасающий лозунг гласит: *замена силы природы силой разума*, т. е. возможное *уравнение* средств и условий, при которых и с которыми ведется борьба. Вместо борьбы отдельных индивидов за существование, должна стать *всеобщая совместная борьба всех за жизнь*. Другими словами, грубую естественную борьбу должна заменить *общая*, регулируемая разумом и справедливостью *социальная борьба* в условиях жизни.

Борьба в том виде, как она ведется при современных социальных отношениях, гораздо меньше заслуживает названия собственно борьбы или состязания с одинаковыми средствами, нежели нормированного законом *угнетения*. Как же иначе назвать борьбу человека, которого, вооруженного одной только деревянной саблей, послали бы против ружей и пушек,—или состязание в скорости между человеком, пользующимся для передвижения лишь собственными ногами, и другим, имеющим в своем распоряжении лошадей или железные дороги. Как же иначе назвать состязание двух людей, из которых один владеет всеми преимуществами чина, богатства, воспитания, образования, социального положения и т. д., между тем как другой не располагает ничем, кроме сил своих рук и своего необразованного ума.

Исход такой борьбы или состязания можно уже заранее предвидеть. Обыкновенно судьба отдельного человека предопределена уже при его рождении, и общественное рабство того, колыбель которого стояла в хижине бедняка, предрешается с первым же вздохом. „Оковы низкого рождения,—говорит *И. К. Фишер*—мы влачим всю жизнь, и о них разбивается часто неслыханное напряжение целой жизни“.

Конечно, возразят мне,—есть очень яркие *исключения* из этого правила. Так, например, вспомним об американском *Джей Гульде*, переселившемся в Америку бедным пастушком и умершем, не имея себе равного, миллиардером. Нельзя, разумеется, отрицать этих исключений или счастливых случайностей; но они именно и являются лишь чрезвычайно редкими исключениями, которые не опровергают общего правила. Обыкновенно, чин и богатство удерживаются за отдельными семьями или слоями общества на неопределенно продолжительное время.

К счастью, угнетенные классы общества не вполне сознают или чувствуют свое положение. Сила привычки притупляет их чувства и заставляет их смотреть на это творение рук человеческих, как на неизбежное определение судьбы. Если бы это не было так, то уже давно наступила бы та *социальная революция*, которая беспрестанно возвещается, но которая все же еще никак не приходит. Природа также мудро устроила то, что счастье основывается скорей на характере и темпераменте отдельного индивида, нежели на внешних условиях жизни. Обладающий счастливым темпераментом в каждом положении будет чувствовать себя более или менее хорошо в то время, как меланхолика или мнительного и склонного к унынию человека не будут радовать и удовлетворять никакие счастливые обстоятельства.

Тем не менее, все упомянутые уже обстоятельства и явления ясно показывают, что общество вообще чувствует себя в высшей степени нездоровым и идет навстречу грядущему перевороту. Ужасающее распространение социал-демократии было бы немыслимо, если бы низшие слои буржуазного общества все больше и больше не сознавали своего угнетенного положения. „Факт тот,—говорит *Ф. А. Ланге* в своем превосходном сочинении *о рабочем вопросе*,—что борьба за существование именно *теперь* снова чувствуется во всей своей подавляющей тяжести в самом могущественном и решающем слое нации и что людей начинает удручать *однообразие* этого гнета“.

Изменение этого печального положения, как уже сказано, возможно лишь с помощью *большего* уравнения в средствах, которыми каждый отдельный индивид ведет борьбу за существование,—уравнения, долженствующего распространяться прежде всего на *имущественные* отношения. Далее, с помощью превращения индивидуальной борьбы в *общественную*, солидарную борьбу *всех* против таких бедствий жизни, как голод, холод, нужда, лишения, болезнь, старость, неудача, состояние инвалидности и смерть,—

или с помощью введения такого положения, при котором благо отдельного индивида будет более или менее идентично с общим благом и обратно,—такого положения, при котором станут истиной прекрасные слова: „Один за всех и все за одного“.

Такое положение, по моему убеждению, было бы очень легко установить без ущерба для стремления отдельного индивида к работе и приобретению, так чтобы каждый пользовался плодами своего собственного трудолюбия, своей собственной деятельности и интеллигентности, а именно через *примирение* интересов отдельного индивида с интересами всего общества.

Во всяком случае, надо сознаться, что *полное уравнение* в этом направлении, по крайней мере, для начала,—едва ли мыслимо. Но уже и *частичное уравнение* должно иметь и будет иметь самые благодетельные последствия и, вероятно, постепенно приведет к положению, обещающему окончательное решение социального вопроса. Таким образом, столь благодетельная сама по себе и поощряющая сила *конкуренции* будет не ослаблена этим решением, а, напротив,—она обострится, при чем каждый будет пользоваться лишь плодами своего собственного трудолюбия и не будет в состоянии жить на чужой счет. Решение этого вопроса возможно также *без* уничтожения естественного неравенства общества по рождению, семейному положению, местожительству, задаткам, внутренним потребностям, духовному и телесному превосходству, различию занятий и т. д. Это естественное неравенство не может быть устранено, ибо оно вложено в самую природу человека и вещей, Поэтому в примирении индивидуализма с коллективизмом или, выражаясь вульгарно, с социализмом, т. е. в правильно организованном соглашении интересов и потребностей отдельного индивида с интересами и потребностями всего общества заключается, очевидно, вся социальная проблема будущего. „Положительно немыслимо,—говорит *В. Э. Бакгауз*,—чтобы в государстве, учреждения которого основываются на законе разума, социализм и индивидуализм должны были действовать, как враждебные силы“. Внутренняя связь идивидуалистической идеи с социалистической, отдельного индивида с обществом означает в действительности проведение великого политико-экономического *основного закона*, по которому выгода отдельного индивида должна всегда быть также и общественной выгодой. Пора найти разрешение конфликта между интересами отдельного индивида и интересами всего общества в экономической жизни народов,—разрешение, находящееся не в руках темных сил судьбы, а единственно и

только в руках самого человека. „Социальное и индивидуальное хозяйство в государстве стоят в тесной связи между собою; они взаимно дополняют и помогают друг другу, они нераздельны, как тело и душа“, и т. д.

Что же касается *средств* этого примирения или социального освобождения, то они могут быть *троякого* рода, а именно:

1) *Отмена*, так называемого, поземельного дохода (ренты) или возвращение обществу естественно и законно принадлежащего *всем* права владения землей (само собой разумеется, со включением сюда водных сил и горных промыслов).

2) *Реформа* права наследства, постепенно ведущая, быть может, к *полному* уничтожению его.

3) *Превращение* государства во всеобщее, взаимно связанное во всех частях *страховое общество* против болезни, старости, несчастных случаев, инвалидности и смерти.

Что касается *первого* пункта, то вряд ли может быть другой менее оспариваемый принцип естественного права, как тот, что мать-земля, родившая всех нас, но никем сама не рожденная, без которой невозможно само человеческое бытие, *принадлежит* не отдельным индивидам, а *всем*. Как человек является продуктом земли, также и бытие его должно быть основано на праве владения ею. Человек ничто и он не может ничего сделать без помощи матери-земли и ее никогда неиссякаемой силы: он не может ничего добыть, ничего создать, ничем овладеть без пользования ее силами и дарами. Отсюда следует, что, согласно простейшим принципам *справедливости*, пользование этими дарами и силами должно быть *в равной мере* предоставлено каждому появляющемуся на свет Божий человеку и что право на землю— такое же естественное право *каждого* человека, как право дышать чистым воздухом, пить источаемую землей воду или пользоваться солнечным светом. К сожалению, в действительности этот принцип подвергается самому вопиющему нарушению. Целый ряд обстоятельств, как-то: насилие, завоевание, война, наследование, купля, дарение, феодальное и ленное владение и т. д., привел с течением времени к тому, что *меньшинство* людей, благодаря владению землей, сделалось *господами* всего человечества; в конце концов все было так разделено, что не оставалось уже свободного места для приходящего слишком поздно, и этот последний, если он случайно не рождался собственником, должен был бы висеть в воздухе, если тотчас же не приобретал прав

опуститься на землю, закрепощая полученные им от природы рабочие силы за владеющими землей и орудиями производства. Громадная сила привычки довела до того, что большинство людей это бесправие принимает за нечто естественное или само собой понятное. А, между тем, тот, кто исследует причины этого явления, скоро приходит к заключению, что *частное* владение и собственность произошли *не* естественным путем, а при помощи насилия и узурпации. В глубокую старину это естественное право было признано более или менее почти повсюду, как, напр., в Палестине, Греции, Италии, Германии, Галлии, Индии, Китае, Японии, Перу и т. д. Уже в самых древних исторических документах человеческого рода мы находим ясно выраженную *идею общности земли*; так, например, немногочисленные относящиеся к этому вопросу изречения Библии настолько ясны, что не оставляют никаких сомнений. Правда, у древних евреев земля была *родовой* собственностью; но через каждые 50 лет происходил новый раздел ее. Точно также китайский мыслитель Лаотсе признавал во владении землей *святое благо*, дарованное *всем* людям Богом Вселенной. Согласно этому, право владения землей в Китае было лишь *правом пользования* и было преемственно лишь, как таковое, между тем как сама собственность оставалась в теории и остается еще и до нашего времени за обществом, представителем которого является государство. Индивидуальное владение землей могло быть проведено в Китае лишь целым рядом *насильственных* мероприятий, захватом и узурпацией. То же самое было и в Японии, где лишь завоеватели монголы насильно ввели феодальную систему. Жителям Индии до покорения их англичанами не было известно ни право отчуждения земельной собственности, ни право завещания ее.

По мнению *Бакгауза*, в высшей степени вероятно, если не несомненно, что в начале нашей *истории* земля повсюду была *общественной* собственностью народов. Древние философы высказывались в том же духе. *Аристотель* заявляет, что земля необходимо должна составлять общественное достояние, а *Платон* требует, чтобы каждому гражданину был дан в пользование неделимый и неотчуждаемый равный по величине и доходности другим участок земли. Рим и Греция имели вначале соответствующее этому *земледельческое* государственное устройство. Запрещение продажи и завещания земли в Спарте долгое время поддерживало равенство владения; а в Афинах *Солон* и его последователи вообще подвергли частное владение и собственность

тяжелым ограничениям; вероятно, это был отголосок первоначального коммунизма.

В Риме частное владение землей лишь постепенно образовалось из общинного. Будучи сначала общественной собственностью, земля впоследствии сделалась собственностью отдельных семей и родов, составляющих по отношению к владению до некоторой степени лишь одно лицо. Только благодаря *закону двенадцати таблиц* и введению права продажи и завещания, частная собственность получила перевес над общественной. Крупная земельная собственность постепенно поглотила мелкую, и, наконец, создалось то же положение, которое мы еще и теперь видим в Англии. Достоверно также, что по *древне-германскому* праву большая и самая необходимая часть обрабатываемой земли или, так называемые, пограничные части *марки* находились во всеобщем владении сообщников (Маркгеноссен), тогда как внутренние части марки принадлежали частным лицам лишь в качестве „управителей". „Использование и эксплоатация поземельной собственности отдельными лицами исключительно для собственной выгоды были совершенно незнакомы древним германцам". Этому земельному праву и доказываемому им духу общественности древние германцы обязаны своей свободой и неисчерпаемой силой. И только демонической силе римского законодательства с его чрезмерным подчеркиванием личного права владения и собственности удалось также и в древней Германии создать частное право на землевладение. Это был Нессов хитон, коварно завещанный умирающим Римом германским исполинам. Но древне-германские юридические установления отличались таким первобытным здоровьем, что остатки общинного владения землей удержались под разными названиями и до настоящего времени в отдельных немецких землях и областях. Органу „Немецкого Общества реформы землевладения" журналу „Фрейлянд' удалось доказать, что в Германии еще существует более *ста* местностей, оставшихся при счастливом общинном владении. Но в гораздо большей степени сохранилось это первоначальное устройство как в значительной части России, так в некоторых селах Сербии и Кроации, а также и у многих азиатских орд в форме русского, так называемого, „мира", при чем землей владеют и обрабатывают ее все члены общества вместе, урожай же равномерно делится между всеми.

В Швейцарии остаток этого древнего устройства мы находим в форме, так называемой, „альменды". По данным *Летурно*, во всей Африке индивидуализация и мобилизация поземельной

собственности составляет лишь *исключение*. То же самое относится и к туземцам Америки, у которых места охоты и рыбной ловли принадлежат не отдельным индивидам, а *всему* племени.

На Яве еще всюду существует общность земли и устройство, приближающееся к упомянутой русской сельской системе „мира“. По *Прескотту* у древних перуанцев существовал систематически проведенный и руководимый сверху коммунизм, вследствие чего было отсутствие бедности и нужды и достаточная забота и попечение о старых, слабых, больных или несчастных и т. д.

Если мы, основываясь на этих данных, обратимся к предшествующей истории человека, то должны будем, конечно, признать, что, как подробнее изложено автором в его сочинении о золотом веке,—дикие орды первобытных времен так же мало знали и признавали личное право собственности, как современные дикари,—и именно *не* только охотники и рыболовы, у которых едва-ли была возможна прочная земельная собственность, но также и земледельцы. Лишь оружия и орудия, приготовленные индивидом для себя, считались его частной собственностью, хотя по *Плутарху* даже древним лакедемонянам было дозволено пользоваться лошадьми, собаками и орудиями соседей, если те сами не пользовались ими.

Впрочем, возврат к прежнему состоянию или возвращение обществу естественно и по справедливости всем принадлежащего владения землей,—даже и помимо всех социальных или естественно-правовых оснований,—является такой экономической или политико-экономической *необходимостью*, что, несмотря на все сопротивление, его в конце концов не избежать.

Действительно, при колоссальном приросте населения в европейских странах нет другого средства для наибольшего увеличения доходности земли. Поэтому и увеличение доходности земельного участка и степень этого увеличения не могут и не должны быть предоставлены на усмотрение отдельного владельца, но в интересах всего общества от земли должно быть взято *все*, что она может дать. А это возможно лишь при ведении хозяйства в крупных размерах и на основании принципов агрономии, а также и при том условии, чтобы ни один кусочек земли не оставался неиспользованным сообразно его положению и качеству, тогда как частное хозяйство в данном случае поступает или может поступать совершенно произвольно и часто весьма нерационально. Нигде это не проявляется так ярко, как в Англии, где, как из-

вестно, вся предназначенная для обработки земля, при населении около 35 миллионов душ, находится в руках 14—15.000 собственников, получающих с нее обыкновенно без труда или какого-либо особого усилия с их стороны ежегодный доход не менее 4.000 мил. марок. Так, например, из колоссальной площади имений герцога Сетерлендского (11 миллионов акров) обрабатывается лишь около 23.000 акров. Общий же доход считается в среднем по одной марке с акра, тогда как местами он мог бы быть увеличен в 40 раз. Но безмерно богатые английские лендлорды предпочитают пригодную для обработки землю, на которой могли бы прокормиться тысячи трудолюбивых людей, превращать в пастбища для овец, охотничьи парки, беговые ипподромы или барские сады и т. д. и для этой цели они не колеблясь бессердечно выгоняют фермеров или поселившихся на их земле жителей; совершенно аналогичные явления, если не в такой степени, как в Англии, наблюдаются и повсюду.

Так, например, в Германии 10 крупнейших земельных собственников владеют *девятой частью* всей возделываемой площади Германии в то время, как во Франции по отношению к разделению земли дело обстоит гораздо лучше. Даже в Америке, где имеется достаточный избыток земли, печальные следствия частного землевладения проявляются уже в такой мере, что известное сочинение американца *Генри Джорджа* „О прогрессе и бедности“, в котором это владение землей выставляется, как *главный* источник социального зла, нашло здесь целый *миллион* читателей.

Одним из неразумнейших и вместе с тем несправедливейших поступков или упущений американского правительства было то, что оно с самого начала не об'явило всю необ'ятную территорию, находившуюся в его распоряжении, *национальной собственностью* и не отдало ее по частям в аренду частным лицам, что нетрудно было ему сделать, а частью роздало ее монополистам и частным обществам, частью сбыло за бесценок частным лицам или же предоставило произвольному захвату. Исключение сделано лишь по отношению к большому Национальному Парку в штате Колорадо, по размерам своим почти столь же обширному, как все Саксонское королевство, но это произошло не ради национально-экономических целей, а для удовольствия богатых и состоятельных классов. Если бы таким образом поступили со всей землей, то последствием этого было бы безмерное, неисчерпаемое национальное богатство американского народа, тогда как теперь это колоссальное сокровище служит только на пользу частных лиц.

Поразительнее и несправедливее всего подобное соблюдение частной выгоды кажется в тех случаях, когда вследствие простого возрастания количества населения ценность земельной собственности часто поднимается до невероятной высоты, как, напр., в разрастающихся больших городах и их окрестностях, где участки земли, не имевшие до того почти никакой цены, в течение короткого времени часто превращаются в настоящее золотое дно для их владельцев даже без всякого содействия или заслуги последних, а единственно лишь вследствие прилежания и деятельности всего общества, которое, тем не менее, весь результат своего прилежания, без всякого из'ятия, отдает в распоряжение частного собственника.

Что касается *способа* перехода частного землевладения в государственное или общинное, то это лишь *второстепенный* вопрос, на который различные сторонники реформы землевладения дают самые разнообразные ответы. Само собой разумеется, что при этом не может быть и речи о насильственном присвоении, а лишь об отчуждении ренты или самой земли за умеренное и по справедливой оценке устанавливаемое вознаграждение. В самом деле, если, как доказано, многие и, быть может, именно самые крупные владения и приобретены не законным путем, а путем насилия, то, тем не менее, вследствие невозможности по истечении столь долгого времени исследовать законность права приобретения и сделать потомков ответственными за проступки их далеких предков, никто *не* может быть ограничен в своих *теперешних* законных правах.

Наиболее распространенным способом был бы *выкуп* по прежней оценке или за наличные деньги, или же за государственную ренту, выдаваемую в форме закладных листов, при чем небольшие имения или земельные участки должны были бы оплачиваться по их полной стоимости, очень же большие подлежали бы некоторому уменьшению цены. Во всяком случае, тут для начала потребовались бы большие денежные средства; но они не являлись бы серьезным препятствием, если бы, благодаря принятию моего второго предложения об ограничении наследственного права, все землевладение или, по крайней мере, большая часть его в течение одной человеческой жизни, или еще менее того, вернулось государству. Далее, благодаря увеличению населения и более рациональному ведению земельного хозяйства, к этому присоединилось бы постоянное возрастание ценности земли; являясь продуктом деятельности самого общества, это возра-

стание при всех обстоятельствах шло бы также на пользу самого общества или государства.

Если бы автор этого сочинения хотел говорить лишь в духе прежней школы земельных реформаторов, то он мог бы покончить на этом, ибо эта школа, как уже сказано, полагает, что она имеет основание ожидать окончательного уничтожения социальных бедствий от осуществления своих стремлений. Однако, не будучи в состоянии разделять этих чаяний, автор вынужден в духе своего глубже захватывающего проекта уравнения средств, которыми отдельному индивиду приходится вести борьбу за существование, перейти к изложению своего *второго* предложения об ограничении или даже отмене наследственного права или наследственного капитализма.

Правда, автор сознает, что с этим предложением он попадает в некотором роде в осиное гнездо и должен быть готовым ко всяким враждебным нападкам критики. В самом деле, когда замешивается личный интерес отдельного индивида, тогда уже нет места какому бы то ни было спокойному и справедливому обсуждению. Никто не хочет позволить лишать себя права оставлять своим детям и внукам то, что он сам нажил. И отдельный человек вполне прав, пока он стоит на почве существующих социальных отношений. Но дело обстоит совсем иначе, когда социальный реформатор предвидит совершенно другие и долженствующие быть совершенно другими отношения. Поэтому, как политические революции производятся не с помощью розовой водицы, так и социальные реформы, обещающие столь благодетельные последствия, не могут быть проведены слабыми полумерами. Впрочем, для подкрепления моего предложения я прежде всего могу сослаться на то, что налог на наследство уже давно признан и применяется, как один из самых справедливых и менее всего тяжких, и что нужно только дать ему более широкое распространение, особенно при непрямом наследовании, для того, чтобы ближе подойти к моему предложению.

Число сторонников этой идеи—обложения таким налогом—как среди ученых, так и среди неученых с каждым годом увеличивается, и нет недостатка в авторитетных, даже консервативных профессорах государственного права, которые высказываются в ее пользу; таковы: Бринц, Рошер, Марло, Умпфенбах, Шеффле, Пфицер, Блунчли, Барон, Галлиер и т. д. Что и настоящие социалисты согласны с этим, понятно само собой. Уже международный рабочий конгресс в Базеле в 1869 г. внес в свою программу *уни-*

чтожение частной земельной собственности и наследственного права; а французский всеобщий конгресс социалистов в 1880 г. утвердил последним пунктом своей программы *уничтожение* наследственного права для родственников побочной линии и всякого рода наследования на сумму более 20.000 франков. Также и программа английских радикалов полностью принимает оба названных требования. Среди новейших писателей радикального направления *Макс Норday*, основываясь на недопускающих возражения доводах, стал на сторону этого воззрения в своей известной книге об условной лжи культурного человечества. По моему мнению, подобная реформа наследственного права, т. е. ограничение или уничтожение наследственного капитализма, является *простым требованием социальной справедливости*, ибо никто не может считать соответствующим этому требованию то, что одни из появляющихся на свет людей, хотя и с различными качествами, но с одинаковым правом на существование, родятся со всеми средствами для удовлетворения своих потребностей, а другие только с голодом. Никто не станет считать вытекающим из естественной справедливости тот факт, что один человек еще в колыбели утопает в роскоши, считает своей собственностью миллионы или огромный участок земли, который должен бы принадлежать всем,— при этом не имея лично за собой ни малейшей заслуги, в то время, как другой, подобно Сыну Человеческому, не знает, где преклонить голову, чтобы отдохнуть от трудов и тяжести своего бедственного существования. Вспомним, например, каприз одного богатого англичанина, который завещал все свое громадное состояние лично ему совершенно незнакомой даме только потому, что ему понравился ее красивый нос; вспомним далее подобные же примеры совершенно бессмысленных завещаний в пользу ненуждающихся наследников. Подумаем об имениях, завещанных в вечное владение церкви и обращенных, таким образом, лишь *во вред* всему обществу, о безобразных подлых заискиваниях ради наследства, о бесчисленных спорах наследников, часто влекущих за собой глубокий разлад всей семьи и дающих пищу самым отвратительным инстинктам человеческой природы; о вреде фидеикомиссов, об огромных частных состояниях, сохранившихся благодаря постоянной передаче по наследству и представляющих собой как бы государство в государстве—денежное государство в политическом; о передаче наследства по отдаленным боковым линиям родственников, никогда не видевших или не знавших завещателя, и т. д. и т. д. Так называемое *духовное завещание* или право свободного распоряжения оставляемым имуществом также вовсе *не*

вытекает из естественного права, а является более поздним изобретением, по всей вероятности, римского происхождения; так, например, в древней Германии оно было совершенно неизвестно. Самой ранней ступенью собственности, по превосходным исследованиям *Лабулэ* и *Лавелэ* о происхождении понятия собственности, была *общественная* собственность. Только римское право со своим чрезмерным подчеркиванием индивидуализма и личного права владения и собственности покончило с прежним положением вещей и довело до крайности в духе личного эгоизма—до отношений, от которых нам еще и теперь, к сожалению, приходится тяжело страдать. В настоящее время, как говорит *Лавелэ*, собственность совершенно утратила свой былой социальный характер. Вполне отличаясь от того, чем она была вначале, она уже не имеет в себе *ничего общественного*. Привилегированная, свободная, ничем не сдерживаемая или не имеющая никаких обязанностей, она, явно игнорируя интересы общества, не преследует никакой цели, как только благо отдельного индивида, и т. д.

„Право собственности,—говорит Лабулэ в своем премированном сочинении об истории этого права,—есть создание общества... Каждый раз, когда общество что-либо меняет в нем, оно поступает совершенно законно и никто не может препятствовать этому во имя более древнего права, так как до него и после него не существует ничего. В нем единственный источник и начало права".

Отдельный индивид не может дарить приобретенное или унаследованное им кому угодно уже потому, что его приобретение не является чисто личным, а возможно лишь в обществе и при содействии общества. Одним из наиболее ярких подобного рода примеров является упомянутое уже громадное повышение ценности земли внутри больших развивающихся городов и в их окрестностях, дающее миллионы в распоряжение отдельных владельцев, не имеющих за собой никакой заслуги, и не приносящее обществу, вследствие огромного повышения платы за наем помещения, не только никакой пользы, но даже вред. Это—состояние форменного наемного *рабства* неимущих по отношению к имущим, и законодательство давно уж должно было положить этому предел.

Понятно, что такая решительная социальная мера, как ограничение наследственного права, могла бы осуществиться не сразу, а только постепенно и без слишком крупного или слишком внезапного нарушения частных интересов. Но именно в этой *возмож-*

ности постепенного, все более широкого проведения ее в жизнь заключается главное преимущество самого проекта, при чем практика и ежедневный опыт постоянно могли бы приходить на помощь теории и поддерживать ее. Следуя этому пути, нетрудно будет также решить, итти ли до полного уничтожения наследственного права или же только до известного предела ограничения его.

Главная польза или преимущество нашего проекта заключается в его уравнивающей справедливости или в том, что при его осуществлении каждый человек пользовался бы лишь плодами своего собственного трудолюбия, своей собственной деятельности, а не плодами деятельности или счастья своих предков без всякого усилия с своей стороны. Сыновья богатых родителей обыкновенно пользуются привилегией быть необразованными, невежественными, ленивыми или беспутными, так что большое, именно незаслуженное богатство часто становится не благосостоянием, а проклятием. Большинство людей смотрит на богатых или знатных по рождению, как на существа высшего рода, к которым можно приближаться только с некоторым робким благоговением, хотя эти трутни общества стоят гораздо ниже тех, которые сами себе строят жизнь. В основе знаменитого изречения *Прудона* „собственность есть воровство“ лежит постольку вполне правильная мысль, поскольку лишь владение, приобретенное собственным трудом, может быть названо законной собственностью, между тем, как владение наследственное без всякого усилия может рассматриваться, как род воровства по отношению к имуществу и рабочей силе всего общества. Действительно, если разбогатевшая с помощью наследства часть общества живет до известной степени в состоянии довольства и относительного бездельничанья, то это возможно лишь благодаря тому, что она заставляет работать за себя свои деньги, но так как деньги работают не сами, то благодаря страданиям, работе и лишениям более бедных собратьев, которые должны добывать деньги. Мы не говорим, что следует посягать на собственность, приобретенную личным трудом и бережливостью, а говорим, что надо лишь до известных пределов ограничить ту собственность, которая своим возникновением обязана трудолюбию или счастью других людей. Кто в этом усмотрит несправедливость, тот, вероятно, имеет особое понятие о справедливости.

Дальнейшая, еще недостаточно оценимая выгода или преимущество моего проекта состоит в том, что с его выполнением

будет положена непереходимая граница чрезмерному скоплению крупных частных состояний в одних руках, что является, как уже замечено, „государством в государстве“, денежной властью наряду с политической властью. Громадный вред подобного накопления в политическом отношении замечается именно там, где, как, например, в Америке, господствует несчастная манчестерская доктрина и где крупные или богатые железнодорожные общества иногда держат целый штат в полной политической зависимости от себя. Американские директора железных дорог при громадном протяжении и важности тамошней железнодорожной сети в настоящее время играют такую же роль, как средневековые феодалы, и, вследствие плохого управления или неудовлетворительного состояния дорог, ежегодно почти безнаказанно убивают, калечат и увечат сотни и тысячи людей. Да в Америке не скрывают той опасности, что со временем железнодорожная монополия покорит даже конгресс и союзное правительство. В Европе же грозит опасность или возможность того, что крупные капиталы при известных обстоятельствах будут в состоянии решать вопрос о войне или мире или заставят подчиниться своей воле парламенты. Неужели же деньги представляют собой теперь всеопределяющую силу и бог Маммон—это единственный бог, которому еще молятся с действительным усердием?

Последнее и главнейшее преимущество моего проекта основывается на том, что государство, не имея необходимости прибегать к ненавистной системе налогов, легчайшим способом добывает достаточные денежные средства для того, чтобы в интересах всего общества быть в состоянии провести все необходимые меры, каковы: воспитание и содержание детей в случаях, когда отдельные семьи не в силах этого сделать, бесплатное всеобщее обучение, призрение вдов и сирот, искоренение нищенства и незаслуженной безработицы, доставление средств для работ и производств, обслуживание путей сообщения и т. д.

Если подумать, напр., о том факте, что, по обнародованным прусским министерством финансов данным, в одной только Пруссии ежегодно переходит по наследству 1.200 миллионов марок (впрочем, по другим источникам, эта оценка еще слишком незначительна), то отсюда явствует, как велики должны бы быть доходы от этой меры, да еще в связи ее с государственным обложением земельной ренты.

Естественно, конечно, что против нее и ее удобоисполнимости имеется уже наготове множество возражений, среди которых глав-

ную роль играет указание на внушающее опасение стеснение наклонности к приобретению, опасность расточительности и обход закона посредством дарения при жизни наряду с причинениями убытка семье.

Но нельзя не упомянуть здесь о том, что в качестве *побуждения к работе* влияние наследственного права по сравнению с правом собственности представляет собой явление более низкого порядка. Во всяком случае, мы постоянно слышим, что чрезмерно бережливые люди, накопляющие ненужные богатства, уверяют, *что это они делают только ради своих детей.* Однако, тот, кто безусловно поверил бы этим убеждениям, показал бы себя плохим знатоком человеческой природы. Большей частью люди копят для себя и ради удовольствия владеть и только обманывают себя или других, говоря, что это делается для потомков,—это уже видно хотя бы потому, что именно среди лиц, не имеющих кровных наследников, встречаются самые большие скупцы и скопидомы. Напротив, было бы гораздо естественнее, если бы те, которые приобрели свои богатства или достигли благосостояния собственными трудами, требовали или ожидали от своих детей или наследников таких же трудов, такой же работы, вместо того, чтобы напрягать все свои силы и приготовлять им покойное ложе, на котором те могли бы беспечно растянуться с детских лет. В этом отношении мы могли бы поучиться у *животных*, которые ведь также с самым трогательным старанием заботятся о прокормлении и воспитании своих детей, но предоставляют их самим себе с того момента, как только те становятся способными содержать себя собственными силами. Так должно бы быть mutatis mutandis и у людей. Действительно, автору во время его пребывания в Америке рассказывали, что там, именно в Нью-Йорке, очень богатые семьи имеют обыкновение отдавать значительную, даже большую часть своего состояния научным, художественным или гуманитарным учреждениям или употреблять ее на, так называемую, филантропию и, таким образом, принуждать членов своей семьи к работе, руководствуясь при этом опытом, который показывает, что сыновья очень богатых семей в сознании этого богатства весьма часто гибнут в лености и распутстве. Но, вообще, говоря,—это, конечно, лишь достойные похвалы *исключения.* На самом же деле, богатство и деньги скрывают в себе, к сожалению, демоническую притягательную силу, которая не дает покоя тем, кто раз вступил на этот путь, и порождает все усиливающуюся алчность к большему в той степени, в какой она удовлетворяется. Поэтому жажда денег и обладания

имеет ту особенность, что она не утоляется, а еще сильнее возбуждается удовлетворением. Но в то же время удовлетворение ее оказывает у большинства людей *вредное* влияние на характер, оно делает людей жадными, жестокосердными и эгоистичными и только в виде исключения отдельным индивидам оно дает повод удовлетворять с помощью богатства прекрасные и благородные стороны человеческой природы по собственному внутреннему побуждению.

Всему этому самым благодетельным образом будет противодействовать разумно составленный закон о *пошлине на наследство*, дающий подлежащему учреждению право облагать наследства пошлиной во имя государства и управлять наследством, поскольку это необходимо и целесообразно, в пользу детей, в остальных случаях в пользу государства. Чрезмерной бережливости, жадности, алчности, бесполезному собиранию и слишком большому скоплению богатств в одних руках, таким образом, будет поставлена известная преграда, при чем у отдельного индивида не будет отнято то побуждение к приобретению, которое зиждется на первой заботе о потомстве и на любви к работе. „Действительно,—удачно замечает профессор Галлиер,—самое бесчестное—это смотреть на работу, как на бремя, и не относиться к ней с уважением ради нее самой. Кто здоров и силен телом или духом, для того работа—высшее наслаждение жизни.

И неужели богач будет так бесчестен, что будет сидеть в ничегонеделаньи, зная, что дальнейшее приобретение пойдет не на погибель его детей, а на благо государства, на благо его сограждан. Если кто-нибудь обладает большими богатствами, то он вдвое и втрое больше обязан работой показать себя *достойным* этих богатств. Дармоед—бесчестный человек“.

Присоединяясь к этим прекрасным словам, мы можем выразить надежду на то, что сознание индивидом *полезности* его работы не только для него самого и его близких, но и до известной степени и для общества будет оказывать на него ободряющее и облагораживающее влияние и этим самым поможет подготовить то состояние, при котором счастье отдельного индивида будет совпадать со счастьем всего общества, при чем значит то, что индивид считает потерянным с одной стороны, с другой стороны он снова с процентами получит обратно.

Что касается моего *третьего* и последнего предложения, то оно относится, как уже сказано, *к превращению государства в большое всеобщее солидарное страховое общество* против старо-

сти, болезни, несчастных случаев, инвалидности, незаслуженной нужды и смерти. Уже одним этим мероприятием мир был бы одним ударом избавлен от большей части социального зла, и дорого стоющее призрение бедных, часто приносящее больше вреда, чем пользы, стало бы совершенно ненужным. Не было бы больше несчастных и одиноких без собственной в том вины, и великий принцип общественной взаимности обратился бы в *правило* не только для отдельных кругов, но и для *всего* человеческого общества. Само общество с его различными расчленениями не подверглось бы при этом никаким изменениям, а продолжало бы существовать, как до сих пор, и каждому индивиду давалось бы, смотря по его обстоятельствам или потребностям, по его житейскому и социальному положению и по тем жертвам, которые он приносит и принес своей работой или своим состоянием для поддержания государства. Конечно, мне возразят, что жертвы при этом должны были не уменьшиться, а значительно увеличиться. Но подобное рассуждение не может быть принято во внимание по сравнению с огромными *преимуществами* такого устройства; кроме того, тяжесть, возложенная на плечи всех граждан без исключения, не была бы слишком велика для каждого в отдельности. Не следует забывать, какие громадные жертвы уже теперь приносятся частными лицами ради различных целей страхования и сбережения и какие страшные тяжести ложатся на общество беспрестанно возрастающими издержками на призрение бедных. Не следует упускать также из виду огромного морального преимущества, заключающегося в том, что каждый живет и работает в сознании, что он не может быть в любую минуту без вины изгнан или отвергнут обществом или что его потомки могут пасть жертвой голода и несчастья, наконец, не следует забывать, что материальные жертвы, которые государству постоянно приходится приносить для защиты от преступлений против личности и собственности, должны будут значительно сократиться. Если государство, как, например, великое герцогство Гессенское в Германии, принуждает каждого домовладельца участвовать в государственном страховании от огня и этим кладет основание солидарности всех граждан-домовладельцев в защите их собственности от огня,—то почему же оно не имеет права установить подобную же солидарность граждан в борьбе с причиняющими еще больший вред болезнями, старостью, инвалидностью и смертью? И как легко и просто было бы управлять такой махинацией в сравнении со сложными и обременительными для отдельного индивида законоположениями государственного социализма *Бисмарка*, в котором едва ли в состоянии разобраться законовед.

Тем не менее, мы с радостью можем приветствовать то, что введение этого государственного социализма представило самое убедительное доказательство, что *необходимость* меры, подобной проектируемой мною, уже достаточно сознана как в официальных, так и в парламентских кругах. Но, к сожалению, при этом слишком часто придется вспоминать известную пословицу: „Вымой мне шерстку, да только шкуры не замочи". Этот государственный социализм, сам по себе заслуживающий полной похвалы, является лишь *слабым опытом* на пути социальных реформ и совершенно неспособен устранить социальное зло. Он может стать даже опасным, поскольку, не имея возможности исполнить обещанное, он вводит во вредный обман и, таким образом, противодействует радикальным реформам. То же самое относится и ко множеству *частных* благотворительных учреждений, деятельность которых направлена против нищенства.. пьянства, бедности, безработицы, недостатка в квартирах и т. д., а также к поднятию религиозного, нравственного или интеллектуального уровня низших классов населения; или к под'ему мелкого сельского хозяйства; или к устройству производительных и потребительных кооперативов или к попыткам снова воскресить старое цеховое устройство; или улучшить положение трудящихся классов установлением нормального вознаграждения и нормального рабочего времени и т. д. Все это, по правильному замечанию *Бакгауза*, лишь *паллиативные* средства, которые, правда, там и сям скрывают от взора социальное бедствие или дают скоропреходящее облегчение, но по существу своему способствуют только дальнейшему распространению зла.

Как недостаточен государственный социализм, так же недостаточно и *частное* страхование, имеющее при том столь многие невыгоды, что из него вырос *Бисмарковский* план превращения страхования жизни в государственное предприятие,—план, который, как известно, потерпел крушение, встретив сопротивление парламентариев и приверженцев манчестерской системы. Впрочем, мой проект существенно отличается от Бисмарковского плана, ибо, по моему, страхование должно быть для каждого гражданина не добровольным, а *обязательным*, в зависимости от его положения, состояния или заработка. Если бы государственных доходов не хватило для указанной цели (что при принятии моих первых двух проектов едва ли было бы мыслимо), то следовало бы взимать страховые взносы в виде налога, пока застрахованный еще трудоспособен.

Вот основные черты предлагаемой мною в противовес планам *социал-демократов социальной реформы*. Реформа эта,

само собой разумеется, может и должна быть проведена лишь *мирным путем* и именно только склонив на свою сторону с помощью постепенного убеждения большинство влиятельных лиц.

Конечно, и социал-демократия точно также уверяет нас, что хочет достичь своей цели мирным путем. Но это может быть лишь уверением, вызванным тактическими соображениями. Уже слово демократия указывает на *господство народа* и вместе с тем на переворот в политических отношениях. Поэтому, прежде чем перейти к более подробному изложению важного различия между *социальной реформой* и *социал-демократией*, я должен заметить, что мои проекты не имеют совершенно ничего общего с коммунизмом. Я имею в виду не упразднение частной собственности и не ограничение личной свободы, а, напротив, большее развитие их благодаря расширению границ, стесняющих отдельного индивида в борьбе за существование, а также благодаря тому, что в случае нужды помощь государства была бы доступна каждому, но не как милостыня, а как право, приобретенное работой. Кто при таких условиях и при возможности свободного развития своих сил ничего не производит, тот достоин своей участи. Он гибнет не в силу условий или несправедливости общества, а по своей собственной вине.

Конечно, коммунизм вовсе не есть что-либо страшное и чудовищное, как это обыкновенно представляет себе большинство людей. Можно, как уже было замечено, легко представить себе *государство*, основанное на коммунистических началах,—государство, в котором все имущество было бы общим, а работа совершенно добровольной, предполагая, что развившиеся в течение долгих лет и при благоприятствующих им общественных условиях эгоистические инстинкты и склонности человеческой природы превратились бы в *альтруистические*, что, конечно, могло бы произойти очень лишь медленно и постепенно.

Кроме того, не все известные до сих пор коммунистические попытки потерпели крушение, и там, где они не удавались,—это происходило часто не столько вследствие внутренней невозможности, сколько вследствие гнета внешних неблагоприятных условий—среди общественного строя, основанного на совершенно других началах. Ведь уже и в теперешней государственной и общественной жизни существует не малое количество коммунистических учреждений, которые, если верна односторонняя и сухая манчестерская доктрина, все должны были бы быть упраздняемы и предоставляемы почти всегда неудовлетворительной частной деятельно-

сти. Стоит только вспомнить о налогах и их разнообразном применении для целей общественного блага; о государственных долгах, в которых каждый индивид принимает участие; о воинской повинности, принуждающей каждого жертвовать самой жизнью и здоровьем ради общественных интересов; о так называемых законах об отчуждении; о преподавании, которое ведется государством на общественый счет; об обязательном обучении; о железных и обыкновенных дорогах; об общественных постройках; о государственной почте и о телеграфе; об общественном здоровье; об общественном призрении и попечении о бедных; о государственных мероприятиях, направленных к поднятию сельского хозяйства; о государственном надзоре за фабриками, горным промыслом, банками, постройками и т. д., о минеральных источниках; об общественных музеях, библиотеках, местах для прогулок, домах призрения, больницах и т. д. Все это—всякое обложение граждан со стороны государства и общества для иных целей, чем полиция, суд и войска, т. е. не для внешней и внутренней защиты индивида, представляет собой более или менее *социалистические или коммунистические* учреждения, находящиеся в прямом противоречии с манчестерской доктриной, которая видит в государстве одно только *полицейское* учреждение для защиты личности, собственности и общественной безопасности и которая, таким образом, навязывает ему в некотором роде роль оплаченного городового.

Но все это не препятствует тому, чтобы порою проявлялось еще столь сильное и всеобщее нерасположение ко всякого рода коммунистическому государственному устройству, что все дальнейшие рассуждения являются излишними. Должны, как уже сказано пройти годы и годы практики альтруизма и коллективизма, чтобы до некоторой степени можно было победить это нерасположение.

На первое же время будет достаточным, если, руководясь сделанными мною предложениями, будет достигнуто большее *соглашение* между государственным и частным владением или между интересами отдельного индивида и всего общества. Это та же программа, которую политикоэконом *Шеффле* выставляет в своей „Квинт-эссенции социализма“, видя эту квинт-эссенцию в *замене частного капитала коллективным или общественным*. Она согласуется также в главных своих чертах с расширенной программой, которую *Бебель* в своем сочинении о „Женщине“ кладет в основу будущего социального государства, требуя, чтобы понятия *государства* и *общества* в будущем совпали и чтобы исчезло суще-

ствующее ныне противоречие между социальной и политической организацией.

Благодетельность подобного строя или примирение частных и общественных интересов можно уяснить себе лучше всего *сравнением* государственного организма с устройством животного или человеческого организма. Здесь происходит постоянное движение жизненных соков от периферии к центру и обратно—от центра к периферии. Чем энергичнее и беспрепятственнее совершается это движение, тем лучше состояние здоровья, между тем как задержка в обмене соков в отдельных местах тела влечет за собой болезнь и смерть.

То же самое относится и к *государству* и *человеческому обществу*, которые лучше, чем энергичнее происходит обмен частной и общественной деятельности. Большие частные состояния подобны тем нагноениям и застоям крови, которые, являясь на каком-нибудь отдельном месте, препятствуют вышеописанному обмену и гибельно действуют на общественный организм. С осуществлением моих проектов подобное препятствие станет уже более невозможным. Действительно, они способствуют постоянному возвращению частного владения во владение общества и отсюда—новому распределению по периферии между отдельными индивидами. Великая *государственная касса* должна составлять, так сказать, *сердце* государственного организма, посылающего, с одной стороны, при посредстве бесчисленных каналов свое плодотворное и питательное содержимое в органы и ткани государственного тела, а, с другой стороны, всасывающее его снова в себя из такого же множества каналов или жил. Без ненавистного коммунистического „дележа"—деление все же будет происходить в некотором роде в каждое мгновение, и, таким образом, установится то состояние, в котором осуществятся прекрасные уже не раз цитированные нами слова: „Один за всех и все за одного".

„Возвращение после смерти частных лиц всего ими приобретенного государству,—говорит *М. Норday*,—создает почти *неистощимое* общественное имущество *без упразднения индивидуального владения*. Каждый индивид владеет тогда своей собственностью и общественной точно также, как бы он имел имя, личное и родовое, т. е. фамилию... Работая для себя, индивид в то же время работает и для общества, на пользу которого когда-нибудь пойдет *излишек* того, что он приобрел, над тем, что он израсходовал. Общественное состояние представляет собой необ'ятный резервуар, из которого устраняется при помощи избытка одних недо-

статок других и сглаживаются посредством раздела имущества, снова возникающие после каждого поколения и укрепляющиеся наследственностью, которые делают их все более резкими".

Совершенно *отличной* от этой программы *социальной реформы*, которая должна быть проведена мирным путем, является программа *социал-демократии*, которая, по крайней мере, в Германии в настоящее время стоит во главе всего социалистического движения и питает открыто выражаемую надежду со временем перестроить в своем духе государство и общество. Эта надежда эфемерна и, конечно, такою и останется. Главный упрек, который можно и должно сделать социал-демократии, заключается в том, что она вообще слишком суживает понятие социальной реформы и социального вопроса. В самом деле—великий общественный вопрос, охватывающий *все* человечество, она превращает в узко ограниченный *рабочий вопрос*, который, как это видно при более подробном рассмотрении, касается лишь определенного класса рабочих. Общие человеческие права и интересы заключают в себе, само собой разумеется, также и права и интересы рабочих, тогда как обратное не имеет места, и права и интересы рабочих (в более тесном смысле) не заключают в себе общих человеческих прав. Весьма иллюзорной, как будет показано подробнее, является и надежда социал-демократов, что они, исходя прежде всего и в силу практических оснований из интересов и прав несущих физическую работу классов и опираясь на них, со временем достигнут того, что возьмутся и за общие человеческие интересы или даже решат весь великий социальный вопрос.

Истинным отцом теперешней социал-демократии является *Фердинанд Лассаль*, который, выступив в начале 60-х годов, нанес удар почти всюду возникавшим тогда рабочим просветительным обществам и учреждаемым по *Шульце-Деличевскому* образцу союзам потребителей, производительным товариществам, обществам взаимного кредита и, благодаря обещаниям будущих благ, привлек на свою сторону рабочую массу. Он все еще почитается множеством социал-демократов наряду с *Карлом Марксом*, на которого следует смотреть, как на духовного отца всего движения,—в некотором роде апостолом или святым, хотя теории его давно уже признаны ложными и более или менее оставлены даже теперешней школой социал-демократии. В особенности великая надежда *Лассаля* на *всеобщую подачу голосов*, при помощи которой он полагал осуществить все свои планы, оказалась совершенно иллюзорной. В Германии мы имеем уже более тридцати

лет всеобщую подачу голосов или *всеобщее, равное, прямое и тайное избирательное право* для выборов в высшее представительное учреждение немецкого народа или в *рейхстаг*. Но что достигнуто за это долгое время социал-демократическими вождями с помощью неслыханной до сих пор агитации? То, что относительно небольшое число их сторонников (которые, во всяком случае, энергией и талантом в известном смысле возмещают свою малочисленность) добилось в немецком рейхстаге места и голоса, несмотря на то, что, например, влияние *католической* выборной агитации было более чем втрое сильнее.

Во всяком случае, недавно социал-демократическая партия направила все свои силы к тому, чтобы перенести агитацию в деревню и привлечь на свою сторону массу сельского населения, имеющую при всеобщих выборах обыкновенно решающее значение. Но почти совершенно определенно можно предсказать, что при преобладании *консервативных* стремлений сельского населения с его политической апатией этот опыт будет неудачен. Если же это будет не так и если рано или поздно социал-демократы действительно добьются ожидаемого ими успеха и если явится хотя бы только надежда на него,—то имущие или находящиеся у власти классы общества заранее позаботятся о том, чтобы было введено такое изменение или ограничение всеобщего избирательного права, которое сделало бы невозможным подобный результат. Весьма наивна вера социал-демократов в то, что господствующие классы общества позволят свернуть себе шею, руководствуясь всеобщей подачей голосов; никто добровольно не даст победить себя. Поэтому проведение социал-демократической реформы в конце-концов возможно только с помощью *насилия*. Но и в этом случае господство ее не могло бы быть продолжительным, так как господство необразованных над образованными—нелепость и возможно лишь *временно*. Еще греческий философ Ксенофонт произнес достойное размышления изречение: „Познание выше силы мужей и коней“.

Прибавим к этому, что организация государством общественных работ, к чему стремится социал-демократия, есть чистая утопия и всегда останется такой. Человеческая работа в ее совокупности представляет слишком сложный и разнообразный регулируемый отношением предложения и спроса механизм, чтобы им можно было управлять по бюрократическому образцу. Если же, несмотря на это, ввести подобное управление, то в результате получилось бы и должно было бы получиться невыносимое господ-

ство *бюрократии*, тирания и ограничение личной свободы, которые были бы в десять раз хуже теперешнего стеснения, вытекающего из монархическо-бюрократического управления. Великий американский земельный реформатор Генри-Джордж, у которого, конечно, никто не станет оспаривать глубокого знания политико-экономических отношений, не колеблясь, определяет подобную организацию работ сверху прямо как египетское рабство.

Подобным же образом несомненный социалист *Т. Герцка* называет „тиранию такого порядка работ невыносимой“ и признает свободу и справедливость несовместимыми с такого рода неслыханным „жесточайшим гнетом“. К тому же „проявляемая таким образом социальная справедливость была бы смертью всякого прогресса и цивилизации. В обществе, где все должно работать для того, чтобы быть сытым, не могло бы быть ни науки, ни искусства, ни свободы, ни счастья“.

Таким же невозможным, как организация общественных работ, является и получение всего заработка самими рабочими, как того требует социал-демократия. Это прямо-таки непонятное требование. Где же при таком положении дела вознаграждение (умственной или физической) работы предпринимателя, фабриканта, основателя дела? Где вознаграждение за риск? Где обеспечение на случай кризиса? Где проценты на занятый капитал? Где вознаграждение того изобретательного или организаторского гения, который является, во всяком случае, душой всего дела. Неужели, например, разносчик и наборщик газеты или литературного журнала, обязанного своим возникновением и процветанием деятельности даровитого, талантливого писателя и предприимчивого издателя, должны принимать такое же участие в доходах этого предприятия, как и его основатель и руководители? Неужели поденщик-каменщик, не имеющий при постройке дома никакой другой задачи, как класть камень на камень, должен в той же мере участвовать в доходах готового дома, как архитектор и капиталист, давший нужные для постройки деньги? Кто же стал бы вообще, в виду подобного принуждения, заниматься еще делами или основывать фабрики, для которых ему была бы необходима помощь наемных рабочих? И какой капиталист был бы настолько простодушен, чтобы давать свои деньги на такие предприятия, в которых он зарабатывал бы не больше каждого поденщика? Все упреки, которые делает социал-демократия капиталистическому способу производства и, так называемой, системе заработной платы, обыкновенно имеют силу лишь по отношению к *крупным про-*

мышленным и к таким предприятиям, где имеют значение *только* рабочие руки и капитал, между тем как всюду, где предприятие или фабрика существует, благодаря творческой деятельности индивида, большая прибыль или неправильно названная так „прибавочная ценность“ является вполне заслуженным предпринимателем или организатором вознаграждением.

„Совершенно непонятное заблуждение всех до самых последних социальных школ,—говорит *Герцка*,—заключается в том, что для защиты права рабочего на всю прибыль они считали нужным доказать, что один только труд продуктивен. Предприимчивость же, а также земля и капитал—не продуктивны. Это могло бы измениться лишь в том случае, если бы рабочий был своим собственным предпринимателем, хозяином и капиталистом“ и т д.

Во всяком случае, социал-демократы хотят заменить отдельного предпринимателя государством, которое должно доставлять все средства производства. Но при этом они забывают, что государство несет те же убытки или подвержено тем же опасностям, как и частный предприниматель. Ведь государство не колдун, которому стоит только взмахнуть волшебным жезлом, чтобы извлечь сокровища из недр земных, или же который может повторить чудо Христа с хлебом и рыбами,—а лишь совокупность всех граждан, и то, что оно дает одному, оно должно брать из кармана другого. Только государство, получающее, благодаря земельной ренте и ограничению наследственного права, необычайно большие денежные средства, может быть, было бы в состоянии удовлетворить столь обширные требования. Прибавим к этому, что получение всего заработка рабочими, чего требуют социал-демократы, не может даже считаться особенно большим счастьем для отдельного рабочего. Если бы фабрика, дающая работу нескольким сотням людей, приносила ее владельцу или основателю даже очень большую чистую прибыль, то эта чистая прибыль, кажущаяся, во всяком случае, весьма значительной в руках одного человека, будучи равномерно разделена между всеми рабочими, могла бы лишь очень незначительно улучшить их благосостояние.

Социал-демократы столько говорят о вредном влиянии *классового* государства и классового господства, но сами они стремятся к еще более широкому классовому господству, возвышая промышленных и фабричных рабочих в привилегированный общественный класс, которому должны быть более или менее подчинены все силы государства. Сверх того, они совершенно забывают, что их проекты выгодны всегда только для относительно меньшей части трудо-

вого населения и что остается весьма значительная часть, которой, вообще говоря, государству совсем не приходится помогать доставлением, так называемых, средств производства, так как они ей совершенно не нужны. Подумаем только, например, хотя бы о весьма большом классе прислуги и о столь многих других отраслях человеческой деятельности, которые не укладываются в этот шаблон. Кроме того, этот шаблон, как уже сказано, годится только для существующих уже отраслей фабричного производства, не нуждающихся ни в чем другом, как только в капитале и рабочих руках, тогда как применение его при новых или развивающихся отраслях фабричного производства может быть весьма опасным или даже вредным.

Как словом „рабочий“, так и словом „пролетарий“ социал-демократия очень злоупотребляет.

„Не трагикомично ли, действительно,—спрашивает *Бакгауз*,—желание сделать пролетариат, господствующим классом? *Классом*, хотя классовый строй именно возбуждает страшную ненависть социалистов и коммунистов! И еще *господствующим* классом, хотя они не желают терпеть господства ни одного класса! Не является ли неразрешимым *противоречием* это желание сконцентрировать высшую политическую власть в руках пролетариата и передать в его распоряжение все орудия производства. Как будто бы многие другие элементы гражданского общества, не принадлежащие ни к пролетариату вообще, ни к пролетариату, как господствующему классу, попросту не существуют или, если и считаются существующими, то могут быть рассматриваемы, как живые мертвецы, безвольные, бесчувственные или безголовые... Во всяком случае, пролетариат, как таковой, не мог бы выполнить назначаемой ему роли, не потеряв своих свойств пролетариата. Действительно, было бы в высшей степени забавно видеть властелинов общества в „пролетариате“,— в бедном, жалком, кое-как перебивающемся рабочем населении, которое может служить государству не деньгами, а лишь своими детьми, и т. д.“.

Нет, действительный, настоящий социализм, в противоположность этому ложному социализму, не желает господства отдельных общественных классов или предпочтения какого-либо одного круга занятий. Он хочет освобождения всего общества (со включением сюда лиц, занимающихся и *умственным* трудом, которым часто приходится еще гораздо хуже, чем исполняющим физическую работу) при помощи большого уравнения имущества и средств, которыми каждому индивиду приходится вести борьбу за существо-

вание. В сущности же, все мы рабочие или должны были бы быть таковыми, за исключением сравнительно немногих, которые живут насчет накопленного их предками жира. Кто не работает, тот не должен и есть. Однако, при этом отдельный индивид не должен превращаться в рабочую машину, как в социал-демократическом государстве, а должен пользоваться полной *свободой* и самостоятельностью, так как только соединение *экономического* освобождения с *политической* свободой дает решение социального вопроса. „Социал-демократия, напротив, означает, как уже показывает само название, лишь перемену господина в социальной области. Вместо многих мелких господ, должен быть *один* господин—весь народ. Конечно, этот всеобщий властелин имел бы то крупное преимущество перед маленькими тиранами, что поставил бы себе целью благо всех, между тем как они думают только о своем собственном благе. Но свобода предпочтительнее даже самого благожелательного господина и т. д.“ (*Герцка*).

Если подумать обо всем этом, то невольно надо придти к предположению, что вожди социал-демократического движения смотрят на него скорее, как на средство для своих целей, чем как на настоящую политику будущего. Они слишком умны и проницательны, чтобы не понимать громадной *разницы* между мирной социальной реформой и насильственной социал-демократией. Но они зашли слишком далеко по проложенному *Марксом* и *Лассалем* пути, чтобы отступать и смотреть на управляемые или руководимые ими рабочие массы в известном смысле, как на орудие осуществления в будущем своих планов.

При таких обстоятельствах, обсуждая социал-демократическую программу, не остается ничего другого, как придерживаться того, что о ней известно *официально*. Такое изложение имеется в обсужденной и законченной *программе социал-демократической партии* на с'езде ее в Эрфурте (14—21 октября 1891 г.). Если беспристрастно исследовать эту программу, то она прежде всего вызывает удивление частью сравнительной умеренностью выставленных ею требований, частью же требования эти ничего не выражают, излишни или противоречивы. Да и вся программа в корне своем всецело построена на принципах *Маркса* и *Лассаля*, хотя они уже давно признаны несостоятельными.

Если мы бросим ретроспективный взгляд на пункты социал-демократической программы, то мы принуждены будем сознаться, что они частью *невыполнимы*, частью более или менее *уже приведены* в исполнение, частью же *совпадают* с давно признанными

и отчасти уже осуществленными требованиями буржуазного либерализма или политической демократии.

Напротив, *моя* программа *социальной реформы* ясна, прозрачна и легко осуществима без применения насилия, как только удастся мирным путем убедить большую часть людей как в ее справедливости, так и в ее полезности и необходимости. Поэтому выбор между обоими способами общественного освобождения, как мне кажется, не является трудным.

Впрочем, автор не хочет распроститься с социал-демократией, не признав за ней той заслуги, что, с одной стороны, благодаря агитации она обратила внимание обширного и имеющего большое значение класса людей на необеспеченность и неудовлетворительность его положения, а, с другой стороны,—давала вообще неоднократный толчек к обсуждению и разработке социального вопроса. Даже и без разрешения социального вопроса в социал-демократическом духе эта заслуга принесет свои плоды в деле грядущего осуществления лучшего будущего для человеческого общества.

Валентин Рожицын.

Дарвинизм и современный марксизм.

Во всех марксистских работах о дарвинизме в его отношении к марксизму неизменно отмечается 1859 год, как знаменательно единовременный момент появления двух работ—Дарвина и Маркса, где теория эволюционизма и теория исторического материализма находят свою первую точную формулировку. Законы развития природы, с материалистической точки зрения, были открыты в то же самое время, как толкование истории с материалистической же точки зрения. Природа и общество в один год двумя разными мыслителями были как бы открыты в своей материальной форме, исключающей возможность всякого метафизического или религиозного подхода к об'яснению их явлений.

Дарвинизм всегда принимался научными социалистами, как одна из тех побед естественной науки, которые в высшей степени содействуют укреплению и усилению социализма. Так действительно и было. До сих пор в революционизировании умов рабочей массы пропаганда дарвинизма имеет не менее сильное влияние, чем пропаганда коммунизма.

Фридрих Энгельс, в такой же мере глубоко преданный духу и букве ученик Маркса, как свободный от схоластики буквы учения, взятого в оторванности от тех явлений, какие оно должно об'яснять, имел огромное чувство уверенности в об'ективно неизбежной победе социализма, как науки и на почве науки. Энгельс безбоязненно говорил: каждое новое открытие в изучении природы и истории гораздо больше дает социалистической науке, чем десятки теорий, использовывающих для своего построения эти открытия; факты гораздо более содействуют социализму, чем вредят ему сотни идеалистических теорий.

Энгельс был прав. За все столетие минувшего культурного развития нельзя назвать ни одного подлинно великого научного открытия, которое не было встречено с радостью социалистами и которое не наводило ужаса на религиозных мыслителей. Социализм за последние пятьдесят лет неустанно пропагандировал научные завоевания в народных массах, как священники неустанно вульгаризовали, извращали и подделывали науку.

Глубоко веря в революционизирующую силу науки и не сомневаясь в том, что ее путь — путь материализма, Энгельс шел за Марксом в его понимании диалектики Гегеля. Как известно, Гегель полагал, что логические законы человеческого разума воспроизводят в себе логические законы мирового разума, отражая в себе его диалектику. Метафизический взгляд на природу предписывает разуму иные законы мышления, чем диалектика, а так как развитие путем противоречия свойственно самой действительности, то всякое не диалектическое мышление есть мышление метафизическое, не отражающее в себе, а искажающее законы движения природы.

Придавая природе не гегелевское духовно-мистическое, а марксово-материалистическое содержание, Энгельс был уверен, что точное отражение природы в познающем ее в научных формах человеческом разуме приводит к диалектическому материализму. Поэтому Энгельс не сомневался в том, что заключительные выводы всякой науки о природе, добытые экспериментальным, а не спекулятивным способом изучения, усиливают миросозерцание диалектического материализма, даже вопреки личной классовой воле исследователей, еще не освободившихся от предрассудков буржуазного идеализма. Могучий научный оптимизм Энгельса вполне оправдал себя.

Современная наука почти стоит на границе технического овладения процессами жизни. Общественно-техническое овладение заключается в том, что дарвинизм нашел свое полное приложение в области индустриального селекционизма, то есть в области промышленного производства животных видов путем искусственного подбора, путем использования для практических производственных целей явлений полового подбора и борьбы за существование, стихийно происходящих в природе.

Человек стал творцом новых видов растений и животных. Только узкие рамки частновладельческого хозяйства задерживают целый ряд опытов над трансформацией растений и животных, опытов, которые будут иметь неисчислимые полезные следствия при коммунистическом хозяйстве. То, что невыгодно и слишком дорого для частного предпринимателя, будет чрезвычайно выгодно и обойдется дешево обществу, построенному на организованном мировом хозяйстве. Коммунистическое мировое хозяйство вполне овладеет методами производства живых существ, включая сюда и самого человека, в направлении создания наиболее полезных и совершенных живых видов.

Пользуясь законами, открытыми Дарвиным, капитализм уже сейчас перестраивает живую природу земли, повсюду истребляя бесполезные растения и диких животных, заменяя их культурными и вновь культивируемыми растениями, видоизменяя породы животных, размножая полезные виды, уничтожая вредные, преобразуя бесполезные в полезные.

Гораздо труднее и медленнее совершается научно-техническое овладение процессами жизни. Огромными успехами электротехники современное человечество обязано тому факту, что ученые сначала сумели построить механическую модель электромагнетического явления, а затем применили эти модели к производству—превратили их в технические средства извлечения, использования и изучения электрической энергии в виде движения, тепла и света.

Механическая модель живого вещества и тем менее живого существа до сих пор не построена. Однако, уже теперь исследователь может переместить живое вещество в искусственные условия своей лаборатории, подвергать его видоизменениям. Процессы жизни могут быть приостановлены, возвращены обратным путем движения в сторону омолаживания; группы клеток могут быть отделены от целого организма и получить возможность лабораторного роста и развития. Механизм жизни может быть изучен во всех своих проявлениях без умерщвления и, следовательно, в самом процессе своего движения. Современная наука не имеет принципиальных возражений против возможности изготовить белок из неорганических элементов, механическими приемами организовать его, заставить расти путем воздействия на него электричеством и введением в его состав неорганических веществ и дать развитию желательное направление.

Загадка жизни, как все познавательные загадки, разрешена в процессе производства, а в науке—в процессе производства механических моделей естественных явлений. То, что научно стало возможным, благодаря Дарвину, становится общественно-возможным, благодаря коммунизму.

В то время, когда возникало учение Дарвина, можно сказать, только одна общественная группа оказала ему содействие в смысле массового распространения этой последней тогда фазы развития материалистической науки о природе, вопреки ожесточенному сопротивлению церкви. Этой общественной группой был международный социализм.

Последовательные дарвинисты, в конце концов, не могли не сойтись с последовательными марксистами. Покойного профессора

Тимирязева привели к коммунизму не его политические взгляды: как известно, он до конца жизни остался довольно умеренным демократом-республиканцем с сильным отпечатком наивного либерализма. Как личность, как политически-мыслящая личность, проф. Тимирязев никогда не в состоянии был бы овладеть марксистским мышлением настолько, чтобы провозгласить свою солидарность с большевиками, как последовательными материалистами.

Материализм в науке был тем моментом соприкосновения с марксизмом, который поставил проф. Тимирязева на коммунистическую точку зрения в понимании общественной жизни. В то время, как другие ученые сопротивляются собственным выводам или пытаются сделать из них извращенные религиозные и реакционно-политические умозаключения, проф. Тимирязев, как последовательный дарвинист, свободно признал необходимость полных и законченных материалистических выводов из материалистических посылок.

Таким образом, дарвинизм не только победил, но победил в полной солидарности с марксизмом.

Эпоха антинаучных возражений против дарвинизма кончилась. Началась эпоха возражений научных, исходящих из основ эволюционизма, но дающих им иное толкование, иное направление. В настоящее время можно говорить о трех главных способах научных возражений против Дарвина. Одна группа мнений относится к специальной области наблюдений над жизнью живых существ. Здесь спор идет прежде всего о границах дарвинизма. Как известно, сам Дарвин чрезвычайно расширял свои принципы, добытые им путем наблюдения над жизнью растений и животных; по его собственному мнению, эволюционизм есть миросозерцание, об'ясняющее явления живой природы так же, как и мертвой природы, общественной природы так же, как и космической природы.

Дарвин не возражал бы против тех современных социологов, психологов и астрономов, которые полагают, что отношения между людьми, между мыслями в человеческой голове, между астральными телами в небе можно об'яснить теми же самыми законами эволюции, подбора, борьбы за существование и выживания наиболее приспособленных, как в мире животных и растений. В частности, мнение Эрнста Маха, что явления в природе и мысли в уме развиваются по экономическому принципу наименьшего сопротивления, наименьшей траты энергии и наибольших результатов, представляет собой известного рода дарвинизм в механике и психологии.

В общем, можно считать установленным, что всякая попытка вывести дарвинизм за пределы той группы явлений, из наблюдения над которыми он возник, клонится к превращению его в реакционную теорию. Дарвинизм в социологии соответствует классово-буржуазной идеологии самого Дарвина, но противоречит дарвинизму, как частной форме материализма в науке. Дарвинизм в психологии не противодействует возрождению идеализма, а содействует ему, как это видно на примерах ярких психологистов—Р. Авенариуса, Эрнста Маха и А. Богданова.

Другая группа возражений против Дарвина исходит от противоположной стороны.

Если можно сделать грубо-эмпирическое обобщение, то следовало бы сказать, что почти каждая научная теория, возникшая в 19-м веке, носит в себе черты своей буржуазной ограниченности, требующей ее дальнейшего последовательного развития за пределами этой классовой ограниченности мышления, а, с другой стороны,—каждая буржуазная теория встречала яростное противодействие со стороны идеологов того общества, которое непрерывно разрушалось капиталистическим способом производства.

Это обобщение будет не грубым, а даже слишком тонким' имея в виду ту грубость, с какой нападали на дарвинизм уязвленные ею в своей классовой гордости запоздалые эпигоны феодальной культуры. Разумеется, дворянство смотрело на борьбу за существование между отдельными личностями, как на мещанский способ доказать право буржуазного выскочки вытеснить от распоряжения властью и общественным богатством феодала, знатного своей старинной породой.

Совершенно ясно для буржуазного дарвиниста, что каждая последняя фаза в развитии вида более ценна, чем архаически устарелая форма. Для дворянства, наоборот, новизна рода—свидетельство его вырождения, а древность рода—доказательство драгоценности сохранения старой крови и старого мышления. Дарвинизм был оскорблением, пощечиной дворянству, и так оно его и приняло: не рассуждая о нем, не критикуя его, а отвергая, как плебейскую теорию.

История не дала дворянству ни времени, ни умственных сил, чтобы подвергнуть дарвинизм научной критике. Ко времени полной победы дарвинизма в науке революции победили дворянский консерватизм в политике и устранили дворянство вместе с его сословной обидой против „торжествующего мещанства". Един-

ственная форма дарвинизма, какую применило дворянство, заключалась в продаже своих дочерей и сыновей, вместе с фамильными гербами разбогатевшим евреям-капиталистам для их сыновей и дочерей на предмет финансово-карьеристского полового подбора...

Сословная феодальная интеллигенция, то есть мыслящее духовенство, гораздо больше и дольше задержала распространение дарвинизма в народных массах при благосклонном попустительстве буржуазных ученых, которые считали возможным только проповедь „дешевого дарвинизма для бедных",—неомальтузианства для английских рабочих, чтобы отучить их от чрезмерного деторождения, препятствующего успешной борьбе за существование, вследствие размножения низших классов за пределы отпущенных им „природой" средств пропитания.

Дарвинисты—и сам Дарвин—сохраняли религиозный нейтралитет. Поэтому с самого начала борьба вокруг дарвинизма стала борьбой вокруг атеизма и велась между социалистами и священниками.

Победа социалистов над священниками не такая большая ценность для развития науки, но очень большая ценность для устранения препятствий к распространению уже достигнутых научных завоеваний. Священники не выдвинули ни одного аргумента, который был бы сколько-нибудь значим для науки, как таковой. Но они всеми силами противодействовали революционизированию трудящихся масс пропагандой дарвинизма, а в этом социализм был чрезвычайно заинтересован и затратил огромное количество усилий на сопротивление духовенству. Усилия не пропали даром.

Школьная наука, массовое просвещение давно уже стали дарвинистскими. Само духовенство приспособилось к дарвинизму. Средневековая схоластика знала учение о двух истинах: если существует истина, противоречащая учению святой церкви, то она может быть признана истиной для светского знания и ложью для богословской науки. Современное духовенство знает другое схоластическое учение об истине: если существует истина, противоречащая святому писанию, то в самом святом писании можно всегда найти способы, во-первых, доказать, что эта истина есть ложь, во-вторых, признать, что она не противоречит святому писанию, а, в-третьих, утверждать, что она хорошо была известна богу, когда он творил мир, и святым пророкам, когда они описывали „генезис".

Применяя на практике дарвиновские законы „приспособления к среде", священники в первые двадцать лет развития дар-

винизма ничего не знали о нем, во вторые двадцать лет ожесточенно боролись с ним, а в третьи двадцать лет не менее ожесточенно приспособляются к нему.

Когда это произошло, исчезло по существу раньше резко бросавшееся в глаза разногласие между буржуазными сторонниками дарвинизма и богословами, вынужденно признавшими его. Вместе с тем, не могла не измениться позиция, занимаемая марксистами по отношению к дарвинизму.

В те годы, когда каждое возражение против дарвинизма немедленно подхватывалось и яростно использовывалось духовенством, как свидетельство его банкротства, было нелепо и бестактно давать духовенству в руки это оружие. Молодая теория крепла и развивалась в обстановке религиозного нейтралитета официальной университетской науки, ожесточенной ненависти духовенства и безусловной энергичной поддержки социализма.

Университетская наука установила положение: знание не разрушает, но и не поддерживает веры в бога. Официальный агностицизм скрывал в себе глубокое противоречие, которое от времени до времени взрывалось бурей, как это было в травле Геккеля иезуитами. Противоречие естественно-научного религиозного агностицизма разрешалось марксистами. Они говорили: дарвинизм—могущественнейшее средство борьбы против религии. Духовенство соглашалось с этим и поэтому боролось против дарвинизма.

Таким образом, возражения против дарвинизма в целом—по его эволюционному не диалектическому методу и в частностях, в особенности, в вопросе идеалистического об'яснения происхождения человеческого разума были невозможны по вполне понятным тактическим соображениям. Дарвинизм—могучая сила революционизирования умов народной массы, а революционизирование умов есть антирелигиозная пропаганда, как революционизирование жизни народных масс есть классовая борьба и, в конце концов, сама революция. Лучше всего революционизирует революция...

Однако, вопрос: не слишком ли узко сводить значение дарвинизма в развитии марксистской пропаганды к пропаганде антирелигиозной?

Энгельс отмечал, что всякое современное религиозное мышление это мышление идеалистическое и наоборот. Всякий идеализм возникает не из чистого размышления над явлениями душевной жизни и жизни природы, а является продуктом классовых навы-

ков и привычек мышления, закостеневших в историческом развитии и поддерживаемых идеологией господствующих классов в этой неподвижной архаической форме.

Без религии не было бы идеализма. Без религии первобытного дикаря не было бы религии современных богословов. Богословы только философствуют над теми явлениями общественного мышления и чувствования, которые порождали из себя идеи бога и духовной жизни. Без религии идеалистические пережитки потеряли бы под собою почву вследствие распространения материализма, который сам явился революционным отражением в мышлении революционизирующего процесса развития промышленной техники и соответствующей ей науки о природе.

Таким образом, можно установить знаки равенства между религиозностью, идеализмом и культурными пережитками прошлого, консервированными в классовых интересах эксплоататоров. Это— упрощенная и заостренно резкая формулировка вопроса. Но, к сожалению, научная работа постоянно свидетельствует о том, что ее движение неестественно уклоняется в сторону идеализма классовыми интересами, враждебными росту материализма, как основной формы научного мышления, даже, можно сказать, единственной формы мышления, облекаясь в которую наука в состоянии была в прошлом веке совершить свои великие завоевания.

Поэтому научная активность дарвинизма совпадала с его антирелигиозной активностью.

С тех пор, как духовенство отказалось от неравной борьбы с социалистическим просвещением на почве дарвинизма, с тех пор, как оно перешло на платформу самого Дарвина и эксплоатирует для своих целей официальный агностицизм, доказывая, что дарвинизм не подтверждает и не опровергает бытия божия, что сам Дарвин был религиозным человеком не вопреки, а благодаря своему учению, с этих пор не могло не измениться отношение марксизма к дарвинизму.

Дело идет не о пересмотре и не о переоценке. Старые марксисты, поддерживавшие точку зрения на дарвинизм, установленную Энгельсом в его надгробной речи над могилой Маркса, были вполне правы в своей оценке. Они знали слабые стороны дарвинизма, но для самой теории и для ее пропаганды было совершенно бесполезно подчеркивать их. В теории эволюционизма к тому времени не накопилось еще достаточно материала, чтобы он мог изжить свои слабые стороны, не колебля собственных осно-

ваний и не давая противникам в руки слишком дешевого и сильного оружия.

Теперь, когда священники говорят: мы согласны с Дарвиным и в его теории и в его религиозности, настало время выяснить, в чем же ошибался Дарвин, то есть с какими недостатками его теории согласились священники, выдвигая на первый план слабое и необоснованное в дарвинизме, чтобы эксплоатировать его для целей религиозного обскурантизма в противовес социалистическому просвещению.

В теории Дарвина следует различать следующие ее составные части: то, что было внесено Дарвиным в науку и осталось в ней об'ективной истиной, способствующей дальнейшему развитию знания природы и делающей это знание возможным только методами эволюционизма; то, что было привнесено Дарвиным в его теорию от буржуазно-классовой идеологии, от оптимизма торжествующего класса, овладевшего общественным богатством и общественным знанием и приспособляющего его к себе, сглаживая или игнорируя противоречия роста производства этого богатства и развития этого знания; третью часть составляют гипотетические построения Дарвина, частью оправданные позднейшими дарвинистами, частью отброшенные ими по молчаливому соглашению или в процессе ожесточенной научной полемики.

В науке остался дарвинизм, совпадающий по своему понятию с эволюционизмом, как учение Маркса совпадает с марксизмом, а марксизм тождествен с научным социализмом или историческим материализмом. Дарвинизм—это одна из областей приложения материалистического метода к об'яснению природы, заполняющая прежний огромный пробел в системе природы. Не в философии природы, не в натурфилософии, а именно в системе природы, которую Энгельс считал единственно возможной для об'яснения явлений в отличие от приемов классической философии, так называемой, систематической философии.

Дарвинизм не был сам по себе системой природы, всеоб'емлющей системой науки, охватывающей все явления в природе, в космосе и на земле, в обществе и в духовной жизни человека. Урезывая дарвинизм пределами об'яснения происхождения и развития животных видов и растений, как способа об'яснения развития жизни вообще, марксисты были беспощадны. За исключением ревизиониста Вольтмана, они решительно отказали дарвинизму в праве быть социологией, устанавливать законы общественных явлений, взаимоотношений и развития.

Это не могло помешать развитию биосоциологических теорий, но отвело им определенное место в науке,—в составе реакционной социологической англо-американской школы.

Ограниченный подчиненной методам его об'яснений группой фито-зоологических явлений, дарвинизм обнаружил огромную способность к внутреннему развитию и к внутренней критике. Правда, ортодоксальные дарвинисты теперь сравнительно редки. Дарвинизм был унаследован целым рядом больших ученых, из которых каждый в состоянии был бы открыть дарвинизм, если бы он не был открыт самим Дарвиным, и, во всяком случае, каждый из них необ'ятно расширил поле наблюдаемых и изучаемых фактов. Дарвинисты перешли от типа одинокой личной работы к большим „фабрикам экспериментов". Кабинеты ученых заменились государственными институтами, где ученый больше напоминает инженера, окруженного массой техников-рабочих, чем одинокого гениального мыслителя, днем изучающего жизнь и привычки дождевых червей, а вечером читающего библию.

Как всякое большое открытие, дарвинизм был не столько основан на фактах, сколько сделал возможным их обоснование теоретическим рассуждением, которое сложилось у Дарвина прежде, чем он приступил к подбору и классификации фактов. Ориентирующие точки зрения у Дарвина установились задолго то того, как он построил свою теорию таким образом, что его читателям стало казаться, будто не факты подобраны согласно теории, а теория вытекает из фактов.

Отсюда—схематизм теории Дарвина. Она представляет собой абстрактное обобщение, в рамки которого укладывалось множество явлений, прежде чем они были об'яснены и часто вопреки тому об'яснению, которое они в действительности получили. Дарвин применял много гипотез, из числа которых оправдались далеко не все; но даже неверные предположения сделали свое научное дело.

Несомненно, к числу гипотез относится теория происхождения человека.

Вообще, дарвинизм был проникнут глубочайшим оптимизмом. Как раньше была возможна теодицея, в смысле нравственного оправдания божественного миропорядка, так у Дарвина оказалась возможной „антроподицея", как научное оправдание разумности и вечности буржуазного общественного порядка.

Борьба за существование безболезненна и благостна. Она ведет все существующее по пути непрерывного совершенствова-

ния. Борьба между живыми существами происходит легко и радостно. Смерть наступает быстро, бессознательно и означает собой не нарушение стройности животного миропорядка, а утверждение его. Сила, приспособленность и высшее совершенство осуществляются одновременно и параллельно.

От ничтожного к великому, от малого к большому, от слабого к сильному, от беспомощного к приспособленному, от бессвязного к организованному, от стихийного к разумному, от бессознательного к сознающему свои цели, от единичного к многообразному, от животного к человеку—проходит единая непрерывная линия количественной эволюции, не знающей ни скачков, ни переходов в свою собственную противоположность, ни перерывов, ни катастроф, ни обратного движения. Борьба за существование естественным путем осуществляет принципы целесообразности и разумности.

Все, что выработалось в процессе борьбы, целесообразно. Если правильно заключение от известного к известному, от известных фактов приспособления и подбора к таким же известным фактам возникшей отсюда целесообразности, то правильно умозаключение от известного к неизвестному, от наблюдаемого следствия приспособления к целесообразным причинам его возникновения. Если шея жирафа длинна и целесообразна, потому что выработалась в процессе приспособления к необходимости питаться листьями высоких деревьев, то кожа негров черна потому, что целесообразна, а целесообразна потому, что выработалась в процессе приспособления.

В действительности, неизвестно, в чем целесообразность черной кожи в тропическом климате, как неизвестно, почему в ряду поколений она стала черной. Однако, теория Дарвина не терпела скачков и внутри об'ясняемых ею фактов. Неизвестное автоматически подводилось под известное...

Все в живых существах развивается в процессе борьбы за существование, приспособления к среде и полового подбора, закрепляющего в последующих поколениях жизненный труд приспособления выживших лучших и самых сильных особей. Человек разумен. Следовательно, разум человека развился в результате природной эволюции и является следствием тех же естественных причин, как образование четырех рук у обезьяны.

Уже Сен-Симон мог сказать о происхождении человека несколько слов более ценных, чем схема Дарвина. Сен-Симон гово-

рил, что человек развился не вследствие естественного абсолютного общезначимого закона, а по причинам историческим. „Если бы случилось так, что на земле исчез бы человек, его место могло бы занять другое животное, попавшее в соответственные условия и вынужденное жить такими же общественными порядками, какими живет человек".

Согласно Дарвину, это именно невозможно. Все живые существа расположены в порядке строго соразмеренной в своих составных частях схемы. Живые явления в природе расположены с такой же точностью, как в популярном учебнике эволюционизма. Человек есть высшее существо, а каждое высшее развивается из предшествующего низшего. Отбор обезьян дал „питекантропа". Отбор „питекантропов" дал в своем результате человека. Дарвинистов мало смущал тот факт, что зоология не знает промежуточной ступени между обезьяной и человеком. Высшие обезьяны были подогнаны под тип „питекантропа". Низшие дикарские расы, с своей стороны, были искусственно сближены с „питекантропами". и достаточно было известного усилия научной фантазии, направленной в полном согласии с предвзятым мнением антропологов, чтобы в случайном скелете узнали достоверный, хотя и бесследно исчезнувший вид животных, промежуточных между обезьяной и человеком.

То обстоятельство, что обезьяна ниже развита умственно, чем слон или собака, тот факт, что исторически человеку предшествовала собака, нисколько не убеждал дарвинистов: они судили по черепам, по позвоночникам, по однородной восприимчивости крови к прививке болезней и видели в этом доказательство молчаливо предварительно условленного факта последовательной и непрерывной эволюции, предусмотренной абстрактной схемой необходимого и закономерного целесообразного совершенствования видов.

Происхождение человека, в сущности, об'яснил не Дарвин, а Маркс. Современные естествоиспытатели знают, что виду человека, как „разумного, культурного, общественного существа", предшествовал зоологический тип человека, стоявшего ниже собаки по умственному развитию. Это существо превратилось в культурного человека не в силу естественных законов совершенствования, а потому, что возникла промежуточная среда между человеком и природой: общественное пользование технической силой огня и орудиями производства. Превращение человека в

культурное существо было следствием его приспособления к этой культурной среде, развившей его умственные способности.

Для философского понимания представляет огромные трудности усвоение истины, доступной и ясной социологу: не ум человека создал технику, а техника создала ум человека. Человек не создал культуры, а сам был создан ею.

Приспособление к окружающей среде исторически приняло у человека-животного форму пользования огнем, а пользование огнем заставило человека развить свой ум, совмещая много разнообразных действий, следствием которых было образование культурного общества, основанного на совместном хозяйственном использовании явлений природы. Приспособление к общественной производственной среде положило начало превращению человека-животного в человека культурного.

Мы тем менее можем сейчас без оговорок принять дарвиновскую теорию происхождения человека, что современные исследования в области истории и хронологии земной природы установили довольно прочную зависимость между этапами развития человека и катастрофами, которые все-таки совершались в природе, как ни стремился Дарвин распылить их в постепенной эволюции под влиянием тончайших и медленно действующих разлагающих сил воды и ветра.

В настоящее время можно установить несколько эпох роста человеческого существа параллельно с развитием его зоологических соседей. Эти эпохи находятся в прямой связи с ледниковыми периодами. Первый период развития человека—предварительный, в архаическом мире природы, в третичную эпоху, во время господства животных видов гадов и ящеров. Вторая эпоха—звериное существование после катастрофы тепловой энергии в земной атмосфере, когда сумма тепла сократилась настолько, что возникли прямые предшественники ныне существующих зоологических видов. Третья эпоха—сожительство с собакой и пользование, как инструментами, необделанными или грубо обработанными камнями и частями тела других животных. Четвертая эпоха—пользование общественно-экономическими формами эксплоатации технической силы огня. Только после этого начинается пятая эпоха, непосредственно предшествующая исторической и переходящая в развитие тех семи тысяч лет, на протяжении которых нам известно государственное и частно-собственническое общество.

Таким образом, утверждение, что теория Маркса начинает свое применение там, где кончает свое действие теория Дарвина,

не совсем точно. Как общественная теория Мальтуса определила собой направление естественно-научных воззрений самого Дарвина, так общественная теория Маркса существенно влияет на современный дарвинизм, модифицируя схематизм основателя эволюционизма.

Несомненным затруднением для безоговорочного принятия взглядов Дарвина является его эволюционизм.

Эволюция—понятие многосмысленное. Во-первых, это второе обозначение понятия дарвинизма, не вносящее в него ничего нового, ничего специфического. Во-вторых, эволюционизм—это учение о развитии вообще, не предусматривая методологических форм понимания развития. В-третьих, эволюционизм — частная форма теории развития, обозначаемая так в отличие от диалектического и метафизического учения о развитии.

Это требует пояснения. Энгельс употреблял термин диалектическое мышление в более узком смысле слова, как частную историческую форму диалектического мышления в гегелевском смысле. С другой стороны, он не менее часто называл диалектическим мышлением мышление антиметафизическое.

Метафизическая теория развития или—что почти то же самое—религиозная и идеалистическая сводится к следующему положению: идеальные субстанции, отвлеченные сущности, получившие начало не на земле и не по земным природным причинам воплощаются в истории природы в своих данных формах. Формы меняются, но сущность остается неизменной. Материальная форма идеальной сущности есть нечто случайное, несущественное, дополнительное, но истинная сущность абсолютна, вечна, метафизична, идеальна.

Метафизик может признать, что религия принимает разные исторические формы и подвергается влиянию экономических факторов. Но идеальная сущность религии абсолютна и вечна, хотя и открывается только в своих несовершенных земных формах. Человек исторически развивается и видоизменяется, но идеальная сущность человека, его духовное богоподобие неизменно и метафизично.

В противоположность этому метафизическому взгляду, по которому материальное бытие представляет собой движущуюся или неподвижную тень абсолютного духовного явления, Энгельс считал диалектическим всякий взгляд, который, во-первых, считает подлинной сущностью вещей их материальное содержание, а,

во-вторых, полагает, что формы материи изменчивы и что новые явления так же постоянно возникают вновь, как исчезают. Разумеется, в этом смысле дарвиновская теория была враждебна метафизике.

Иное значение имеет дарвинизм, если принять диалектику в точном и узком смысле ее определения. Диалектикой называется такой логический метод мышления, который исходит из предположения, что методология науки должна выражать в понятиях материальные отношения. Материальные отношения выражаются в непрерывном развитии, в переходе бытия в небытие и наоборот, при чем всякое явление есть не вещь, а процесс, развивающийся в борьбе внутренних противоречий. Движущая сила противоречия означает собой развитие внутри явления противоречащего ему начала, которое проявляется в моменте превращения количества в качество. Количественное явление, превращаясь в качественное, становится своей собственной противоположностью, образуя исходный момент для нового противоречия. Диалектическая логика позволяет разбить каждый процесс на две фазы: образование внутреннего противоречия, противопоставление тезиса и антитезиса; разрешение противоречия, образование синтеза, при чем логически расчленяемых фаз может быть не только две, но три, четыре и пять, в зависимости от сложности явления и его развития.

В такой формулировке диалектика, естественно, становится тем более враждебной духу самого Дарвина, чем ближе она к содержанию, типу и характеру исследуемых им явлений.

Дарвин и его ближайшие преемники ставили своей целью устранить всякую теорию, которая понимает развитие, как рост противоречий, разрешаемых естественными катастрофами и революциями. Достаточно того, что он сам, Уоллэс и вся вообще английская школа эволюционизма полагали, что всякий рост явлений вообще можно свести исключительно к количественным изменениям. По Дарвину, количество нигде не превращается в качество. Высшее явление отличается от низшего только количественной сложностью, не образуя с ним никакого генетического разрыва. Закон диференциации и интегрирования неорганических, органических и сверхорганических (социальных) тел, установленный Спенсером, предполагал собою исключительно количественный рост сложности в единой цепи развития. Схематизм самого Дарвина в значительной степени обусловлен стремлением установить абсолютную непрерывность эволюции без скачков и перело-

мов, в порядке непрерывного количественного совершенствования и прогресса.

Внезапные потрясения и резкие колебания системы, конечно, возможны и в природе и в обществе, но, по мнению эволюционистов, они не рождают из себя новых явлений, а проявляют исключительно свое разрушительное действие. Всякая катастрофа в природе, всякая революция в обществе, вносит хаос, дезорганизацию, разрушение в установленную систему, и по миновании ее действия органическая эволюция восстанавливает свое медленное и неуклонное движение в направлении к цели, совпадающей с конечной причиной явления.

Всякое развитие есть непрерывный и последовательный прогресс. Так формулированный метод дарвинизма исключает собою метод марксизма. Однако, собранный и обработанный Дарвиным и его школой материал фактов с большим трудом поддается его формально логическому закреплению в этой схеме. Тезис античного диалектического мышления о том, что борьба есть мать бытия, приложим к эволюционизму. Борьба за существование означает собой непрерывное развитие вследствие противоречий между потребностями живого существа и возможностями удовлетворения этих потребностей в окружающей среде. Каждое возникающее таким образом противоречие разрешается приспособлением живого существа к среде, то есть применением к борьбе за выживание его естественных способностей.

Полное приспособление никогда невозможно, и противоречие возникает и решается непрерывно. Таким образом, в самом дарвинизме заключается способ преодоления той ограниченности, какую внес в него буржуазно-эволюционистский ум Дарвина.

Казалось бы, что в таком случае достаточно совершить, так сказать, переименование предметов, чтобы устранить методологическую неприемлемость дарвинизма для марксизма. На самом деле это не так.

Наука исследует не только существующее для непосредственного опыта, но и недоступное ему. Дождевых червей, движение планет можно изучать сейчас. Но протистов червей, положение солнца в системе светил миллионы лет тому назад изучить из непосредственного опыта нельзя. Тем не менее, астроном с математической точностью в состоянии указать расположение солнца среди знаков зодиака в каждый момент прошлого. На основании этого оказалось возможным применение астрофизических методов к определению хронологии древности.

Астрономия дала возможность сказать, когда египетские жрецы впервые стали определять восход Сириуса. Этим была установлена первая точная историческая дата, относящаяся ко времени за семь тысяч лет тому назад. Локайер и Пенрозе определили годы постройки некоторых египетских храмов, ориентированных на точку восхода солнца в самый длинный день года.

В этих случаях прошлое узнается с математической точностью, совершенно независимо от каких бы то ни было методов. Однако, в большинстве случаев мнения о естественно-научном прошлом природы устанавливаются в прямой зависимости от принятого метода. Если череп человека найден в слое, имеющем свой возраст, то геохимическим способом можно так же точно установить время смерти этого человека, как точку восхода солнца шесть тысяч лет тому назад над египетским храмом.

В большинстве наблюдений над прошлым приходится делать методологические обратные умозаключения. Если верно, что современное нам явление образовалось эволюционным или (по другому мнению) диалектическим путем, то так же верно это будет по отношению к явлению, давно исчезнувшему и неподдающемуся его введению в опыт никакими приемами. Если возникает вопрос о том, каким образом возникли исполинские природные ущелья, то ответ дается непосредственно на основе метода. Кювье говорит: ущелье возникло в результате натуральной революции. Уоллэс говорит: ущелье возникло вследствие натуральной эволюции.

По мнению одного, произошла более или менее быстрая катастрофа части земной поверхности. По мнению другого, миллионами лет вода подтачивала камень и уносила его в виде мельчайших частиц. Непрерывный и огромной длительности рост количественных признаков без всякого качественного перелома дал ущелье, которое еще миллионы лет будет образовываться или сглаживаться.

В настоящее время нет возможности сомневаться в том, что земля переживала катастрофические моменты, вследствие изменения суммы тепла и влажности атмосферы. Это были катастрофы животного мира, насильственно прерывавшие их эволюцию и дававшие ей другое направление. Метод Дарвина терпит крушение на фактах, а, вместе с тем, терпит крушение та часть его эволюционных схем, которая возникла не из наблюдения над фактами, а путем введения неизвестных явлений в состав эволюционно-непрерывного органического развития без переходов количества в

качества и без превращения явлений в их собственную противоположность.

Пересмотр теории Дарвина на основании методов, гораздо более близких к диалектике, чем к эволюционизму, как это сделала мутационная теория де-Фриза, уже отчасти совершен. Задача марксизма теперь: такая критика дарвинизма, которая позволила бы устранить из него эволюционистские пережитки схем и догматов, заменяя их об'яснением на основе диалектического метода.

Ревизионизм в отношении марксизма неправомерен, потому что имеет своей целью устранение социально-классового революционного содержания его мысли. Ревизионизм в дарвинизме преследует аналогичную цель—устранения классово-буржуазных моментов, внесенных бессознательным влечением самого Дарвина к условным принципам и положениям, выше которых он подняться не мог.

Первым моментом, подлежащим устранению, является то же самое, что было у Геккеля, когда он пытался на материалистической основе дарвинизма построить естественную научную религию. Дарвин так далеко не шел. В силу классовой традиции, он наивно и верно исповедывал бога библии и евангелия, едва-ли отдавая себе отчет в том, что его вера противоречит всему, что он создавал и строил в науке в течение всей своей жизни. Спенсер был более последователен, когда он об'явил себя агностиком, будучи органически, абсолютно нерелигиозным человеком.

Никому из последователей Дарвина не приходило в голову считать религиозность свойственным самому учению фактом или необходимым для построения науки о естественном подборе. Дарвин был религиозен не в силу внутренней потребности своей теории, а в глубоком противоречии с нею. Именно это противоречие заключает в себе огромную ценность, огромный прогресс.

Механические материалисты 18-го века были, в общем, враждебны религии, но они представляли себе вселенную, как механизм. Так как механизм не может развиться сам из себя, но требует своего строителя, то механические материалисты, вопреки собственной антирелигиозности, вынуждены были принимать понятие о боге, как о перводвижущей механической причине мирового развития. Только Юм был достаточно проницательным скептиком, чтобы, с условной вежливостью заявив предварительно, что нет никаких сомнений в об'ективном существовании бога, последовательно доказывать затем, что в составе человеческого научного и

нравственного мышления бог не имеет никакого места, поскольку идея о нем не является дикарским пережитком в современности.

Дарвин не делал особых усилий, чтобы углублять противоречие своей суб'ективной религиозности и об'ективного атеизма. Построив с величайшей последовательностью лестницу живых существ и выяснив механические законы их превращения и роста видов, он предположил то, что совершенно не нуждалось в предположении: в первое белковое слизистое вещество, впервые получившее механическую способность к органическому росту, бог вложил заранее возможности бесконечного многообразия видов, которые возникли потом и осуществились не по воле бога, а в силу законов естественной эволюции.

Разумеется, эта невинная религиозная предпосылка ничего не устраняла и ничего не об'ясняла: снять религиозно-личные предрассудки дарвинизма так легко, что, насколько мне известно, ни один из последовательно-материалистических пропагандистов дарвинизма не считал нужным опровергать его основателя в этом пункте. Таким образом, дарвинизм выполнял и продолжает выполнять свою антирелигиозную функцию, а, вместе с тем,—функцию антиидеалистическую. Никакая идеалистическая система не может ни принять, ни отвергнуть дарвинизма: по отношению к нему в идеалистических течениях мысли установилась позиция враждебного и недоверчивого нейтралитета.

Однако, в системе дарвинизма, в самой глубине ее, в составных раздельных частях элементы идеализма есть. Дарвин был идеалистом, когда полагал, что человек развился в своем основном характеризующем его умственном признаке вследствие естественной эволюции, а затем его ум окреп в процессе общественной борьбы за существование, изобретая, создавая и совершенствуя свою общественную и техническую среду.

Таким образом, получалось, что сознание человека определяло собою его общественное бытие. Иначе дарвинизм мыслить не мог, и это было следствием попытки распространить его положения на чуждую ему область общественных отношений. Человек есть продукт общественной и общественно-технической среды не только в своем развитии, но и в своем возникновении.

Хотя дарвинизм был глубоко исторической системой природы, но в об'яснении Дарвиным происхождения человека было недостаточно этого историзма. Только марксизм в состоянии был систему природы в историческом понимании настолько прочно обо-

сновать на диалектике развития, чтобы исключить элементы, противоречащие историзму.

В чем смысл историзма? В чем противоречие ему дарвиновского схематизма?

Дарвин полагал, что каждое живое явление, исторически данное, было абсолютно необходимо, но не в смысле диалектической необходимости бытия и возвращения в небытие всякого явления, а в смысле его необходимой и абсолютной закономерности.

Мог ли не образоваться на земле животный мир четвероногих, млекопитающих, высших позвоночных, обладающих мозгом и нервной системой? Да, при данных условиях исторического развития земли не мог не образоваться. Но если бы в истории жизни земли не было бы ледниковых периодов, то возможно, что развитие живых существ пошло бы исторически иным путем.

Мог ли не появиться человек? Могло ли его место занять какое-нибудь другое существо? По мнению Дарвина, нет, потому что человек—необходимое, абсолютное, естественно закономерное звено в цепи развития жизни. На самом деле, только частные противоречивые условия жизни некоторых животных видов привели их к использованию искусственного тепла путем применения огня, а пользование огнем создало техническую обстановку жизни людей, под влиянием которой они образовали не животное стадо, а культурно-хозяйственный общественный союз.

Мыслимо, что на другой планете развитие живых существ могло создать такие противоречия, разрешение которых побудило бы к созданию общественной среды и к развитию мозга под влиянием этой среды — какую-нибудь породу птиц или даже насекомых. Фантазия Уэллса о муравьях-людях на луне, вынужденных спасаться от ночного холода внутрь почвы и создавать соответствующие механические общественные сооружения, не лишена отвлеченного научного правдоподобия. Тем более, что Уэллс, вопреки своему метафизическому типу мышления, невольно поместил своих муравьев-людей в типично-мануфактурное общество и соответствующую ему культурную обстановку, основанную на высшей специализации физического и умственного труда без применения к технике машин.

Не может не быть устранен оптимизм Дарвина. Он полагал, что все идет по пути прогресса в сторону непрерывного совер-

шенствования. На самом деле, развитие живых существ происходит не в отвлеченной обстановке, где действуют исключительно законы полового подбора и борьбы за существование, но в сложной природной обстановке, постоянно меняющейся и постоянно пересекающей противоречивыми и резкими линиями путь внутреннего развития живых существ. Борьба за существование может давать и действительно дает в высшей степени нецелесообразные эффекты, если те же органы применяются в новой среде. Наряду с прогрессом возможно вырождение, регресс, побочные линии. Одним словом, там, где Дарвин начертил прямую, точную линию, там опыт открывает бесконечное пересечение линий, их разветвление, переплетение, движение в разные стороны.

Этим фактом устраняются все буржуазно-классовые предрассудки Дарвина, основанные на его глубоко-индивидуалистическом мышлении. Помимо всех коррективов, внесенных исследователями социальных инстинктов животных, помимо новой науки фито-социологии, изучающей общественные явления среди растений, марксизм, хотя он отказался распространять на мир животных законы человеческой социальной жизни, совершенно выбросил из об'яснения общественных отношений „борьбу за существование". Поскольку в общественном мире происходит борьба между индивидуальностями, она означает собой борьбу не людей, а экономических категорий. Люди в своей борьбе только символизируют в личных столкновениях общественно-экономические конфликты и противоречия форм производства. Внешнее сходство фактов капиталистической индивидуальной конкуренции не дает права подводить их под законы дарвинизма.

Этими чертами характеризуется марксистское освобождение дарвинизма от его исторической буржуазно-классовой ограниченности. Так совершилась ревизия дарвинизма марксистами и заострение его выводов на последовательном атеизме и материализме. Нет сомнения в том, что величайшие неудачи дарвинистов преследовали их в тех случаях, когда они не решались выявить атеистическое содержание эволюционизма и приспособляли к нему какую-нибудь естественную религию.

Едва ли можно представить себе что-нибудь более уродливое в научном смысле этого слова, более натянутое и искусственное, чем религиозная декларация Геккеля: „Повсюду в свободе природных отношений, обращая свои взоры на беспредельность вселенной или на ее составные части, человек встречает, с одной стороны, свирепую борьбу за существование, а, с другой,—„ре-

лигию". Потребностям многих людей соответствовало бы иметь, кроме пышных храмов, замкнутые дома для размышлений, чтобы там погружаться в самих себя. Как, начиная с 16-го века, папизм вынужден был уступить много своих церквей реформации, так теперь большинство церквей должно перейти в распоряжение мо-истов".

Благочестивые мысли Геккеля о создании новой научно-реформационной церкви дарвинистов не могли вызвать ничего, кроме заслуженной насмешки, и никто в большей степени, чем сам Геккель, не содействовал росту атеизма и материализма, культурные следствия которых в полной мере использовал и использовывает коммунизм.

СОДЕРЖАНИЕ.

Стр.

М. Равич-Черкасский—Предисловие 3
I. *Фр. Энгельс*—О дарвинизме 9
II. *Людв. Вольтманн*—Отношение Энгельса к дарвинизму . 15
III. *К. Тимирязев*—Ч. Дарвин и К Маркс 19
IV. *Э. Эвелинг*—Чарльз Дарвин и Карл Маркс (параллель) . 25
V. *Эрнест Унтерман*—Биологическое и экономическое разделение труда 37
VI. *Людв. Вольтманн*—Биологический и экономический материализм 49
VII. *Антон Паннекук*—Марксизм и дарвинизм 55
VIII. *Карл Каутский*—Социальные инстинкты в дарвинизме и марксизме 71
IX. *Эрнест Унтерман* — Марксизм, дарвинизм и диалектический монизм 91
X. *Иосиф Дитцген*—Дарвин и Гегель 107
XI. *Энрико Ферри*—Дарвинизм и коллективизм 129
XII. *Ахилл Лориа*—Социальный дарвинизм 155
XIII. *Иозеф Дине-Динес*—Марксизм и новые веяния в естествознании 169
XIV. *Генрих Геркнер*—Дарвинизм и социальная политика . . 177
XV. *Людв. Бюхнер*—Дарвинизм и социализм 193
В. Рожицын—Дарвинизм и современный марксизм . . 231